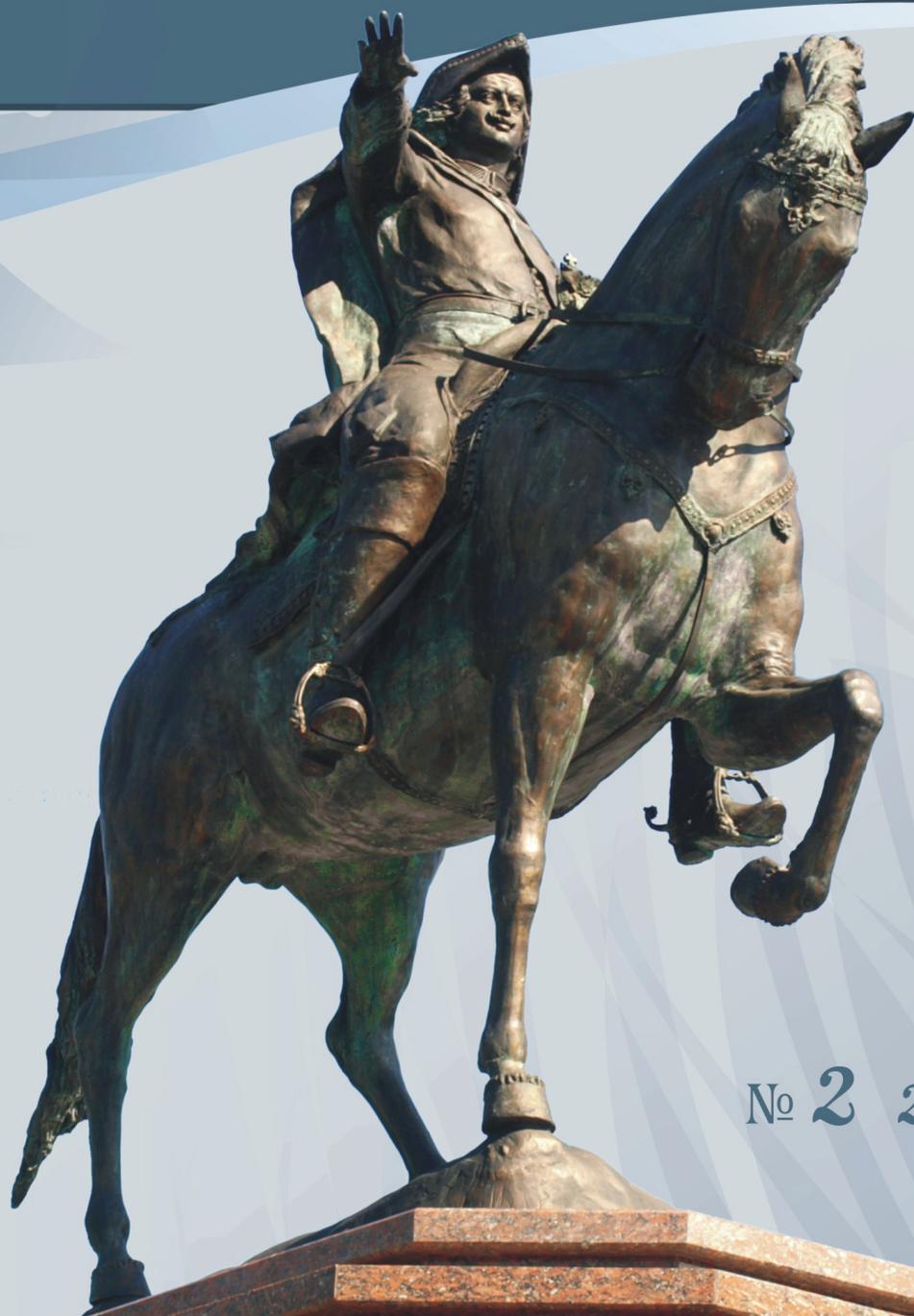


ISSN 1992-4127

Бийский Вестник



№ 2 2013

Бийский Вестник

Литературно-художественный,
научный
и историко-просветительский альманах

издаётся с 2003 года

№ **2** (38) 2013

Издательский Дом "БИЯ"

Главный редактор
Виктор Буланичев

Литературный редактор
Людмила Козлова

Зам. главного редактора по творческим вопросам
Светлана Соловьёва

Зам. главного редактора по вопросам развития
Сергей Чепров

Ответственный секретарь
Дионис Буланичев

Редакционный совет:
А.С. Жарков, Г.В. Леонов, Н.М. Нонко

Редакционная коллегия:

А.Ю. Аврутин (Минск, Белоруссия), А.М. Бойников (Тверь), С.А. Гонцов (Москва),
С.А. Донбай (Кемерово), А.Б. Кердан (Екатеринбург), В.Я. Курбатов (Псков),
М.И. Лаврентьев (Москва), С.А. Минаков (Харьков, Украина),
А.В. Новосельцев (Елец), Н.В. Переяслов (Москва), Ю.П. Перминов (Омск),
В.В. Сдобняков (Нижний Новгород), М.С. Сосницкая (Милан–Москва),
А.В. Старцев (Барнаул), В.И. Шемшученко (Санкт-Петербург)

*«Бийский Вестник» в Интернете: pressa.ru, adl-22.ru
Электронный адрес: biyavestnik@mail.ru*

Альманах зарегистрирован:

Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Сибирскому федеральному округу,
№ ФС 12-0419 от 19 июля 2005 г.;
Centre International de l'ISSN, 20 rue Bachaumont 75002 Paris France.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
За достоверность фактов, точность приведённых цитат,
цифр и другой информации ответственность несут авторы.
Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.
Ответственность за информационные обзоры несут авторы-составители.
Материальных вознаграждений за публикации нет.

ISSN 1992-4127

© Издатель: Издательский Дом «Бия», 2013

В СЛУЖЕНИИ РУССКОМУ СЛОВУ

Наши гости – поэты журнала «Новая Немига литературная»

Кажется, это было вчера. Презентация первого номера нового журнала в конференц-зале республиканского Дома прессы, ликование русскоязычных литераторов республики по поводу обретения наконец собственного издания, злой шепоток недругов, упорно продолжавших считать, что в русскоязычной и русскоязычной Беларуси литература должна создаваться исключительно на белорусском языке... Так или иначе, новый республиканский литературно-художественный журнал «Немига литературная» с 1999 года начал свое шествие по городам и весям. Кстати, само название журнала тоже было выбрано не случайно. Как известно, некогда легендарная, упоминавшаяся еще в «Слове о полку Игоревом», река Немига уже много десятилетий течет под землей, упрятанная в железобетонные трубы. Так и русская литература в республике долгие годы считалась как бы не существующей, а ее представители являли собой своего рода «людей из коллектора», творчество которых не замечалось десятилетиями... Был период, когда после распада СССР книги русскоязычных авторов Беларуси вообще не включались в издательские планы, и даже Пушкин издавался, как... иностранный автор. Так продолжалось даже после всенародного Референдума 1996 года, конституционно уравнявшего в правах русский язык с белорусским...

Впрочем, время брало свое. Взвешенная политика Президента нашей страны Александра Лукашенко, не раз заявлявшего, что русский язык тоже является языком белорусского народа, не могла не дать своих плодов. Постепенно книги русских писателей Беларуси вновь стали выходить в государственных издательствах, а лучшие из них – даже включаться в школьную программу.

И тут нельзя не отметить, что значительная часть лучших произведений русских писателей Беларуси прошла свою

апробацию на страницах «Немиги литературной». С первых дней своего существования журнал взял курс на поиск новых дарований, особенно из глубинки, которым до этого попросту негде было публиковаться. Очень быстро вокруг издания сложился тесный круг авторов, искренно преданных русскому слову и традициям русской литературы, но при этом не забывающих, что их Родина – Беларусь. К белорусской тематике обращаются и авторы журнала, живущие за пределами страны, но биографически связанные с ней. Скажем, немало лет прожившие в Минске известные российские прозаики Иван Сабилло и Николай Коняев активно включились в работу редколлегии журнала, удачно поддержали и поддерживают своими произведениями его художественный уровень. Издание считает своим долгом знакомить жителей Беларуси с лучшими достижениями своих российских коллег, а потому на страницах журнала можно прочесть произведения В. Шемшученко, Н. Рачкова, А. Шацкова, В. Сдобнякова, И. Голубничего, М. Замшева, В. Ефимовской, А. Романова, Е. Полянкой, Е. Юшина, В. Хатюшина и многих других известных российских литераторов. Но, разумеется, основная журнальная площадь уделяется авторам из Беларуси. За четырнадцать лет журналом открыты сотни новых имен, немало авторов стали членами Союза писателей Беларуси и российских творческих Союзов.

И все же было несколько публикаций, которые можно назвать знаковыми в творческой истории издания. В 2000 году именно «Немига литературная» опубликовала документально-художественную повесть Владимира Якутова «Александр Лукашенко» – первое в истории нашей страны правдивое биографическое повествование о главе нашего государства. В номере первом за 2003 год журнал поместил повесть Александра Чекменева «Волки», до того целых четыре десятиле-

тия пролежавшую в столе у автора. А два года назад с большим успехом прошла премьера фильма, снятого на киностудии «Беларусьфильм» по этому произведению. Уже в «Новую Немигу...» передал для публикации свою киноповесть «Болгарией спасенные» Чрезвычайный и Полномочный Посол этой страны господин Петко Ганчев. Произведение публиковалось с продолжением в четырех номерах. Журналом был опубликован и новый перевод гениального памятника отечественной литературы – «Слова о полку Игоревом», выполненный замечательным московским поэтом, секретарем Союза писателей России Николаем Пересловым.

Сегодня коллектив авторов, сплотившихся вокруг журнала, являет собой сплав опыта и молодого задора. Давно окрепли и набрали силы голоса Валентины Поликаниной, Светланы Евсеевой, Юрия Фатнева, Сергея Трахимёнка, Анатолия Андреева, Александра Соколова, Валерия Гришковца, Аллы Черной, Татьяны Лейко, Владимира Василенко – признанных мастеров слова. И почти в каж-

дом номере журнала можно встретить имя нового одаренного автора. Например, восемнадцатилетней гомельчанки Маши Малиновской, уже успевшей стать победительницей нескольких серьезных поэтических конкурсов.

Впрочем, не все так гладко. Журнал из-за финансовых трудностей трижды приостанавливал свой выпуск, вынужденно менял учредителей. При смене одного из учредителей изданию пришлось даже частично изменить имя, сейчас он называется «Новая Немига литературная». Впрочем, разве на подобные неурядицы обращаешь внимание, когда знаешь, что читатель с нетерпением ждет очередного номера, а в редакционном портфеле – десятки произведений самобытных авторов из ближнего и дальнего зарубежья?

*Анатолий Аврутин,
главный редактор журнала
«Новая Немига литературная»,
член-корреспондент
Российской Академии поэзии
и Петровской Академии
Наук и Искусств*

Глеб АРТХАНОВ

Глеб Артханов (Алексеев Юрий Игоревич) – поэт, переводчик, автор нескольких поэтических сборников. По основной профессии – архитектор. Член Союза писателей Беларуси, Союза российских писателей, Санкт-Петербургского городского отделения Союза писателей России. Первый лауреат литературной премии им. Вениамина Блаженного, лауреат премии ежегодника «Молодой Петербург». Член редколлегии журнала «Новая Немига литературная». Живет в Минске.

В невысоком прозрачном бокале,
Где искрит синева на просвет,
Поведу я вино по спирали,
Чтоб на стенках оставило след.

Золотое круженье мадеры,
Своенравие бликов огня
Терракотовых в облаке сером,
И охряной слезы мельтешня, –

Их мельканье, игра, переливы
В синеве все желтей и желтей...
Так они невозможно красивы,
Что о них говорю без затей!

Я лицо окуну в ароматы
Древних склонов, что солнцем полны,
И дыханьем соленым объята
Виноградно-зеленой волны,

И вдохну эти слоги живые,
Обниму их сияющий лик,
Чтоб дарил мне слова зоревые
Златокованный отчий язык.

Опять о главном говорить не смеешь,
Опять не смеешь – и не говоришь,
Опять молчишь,
Немотствуешь,
Немеешь,
Потом опять немотствуешь,
Молчишь.

Но разве другу выскажешь за чаркой,
О том, что смерти стал бояться вдруг?
Она с размаха ударяет жарко...
Но от тебя и сам таится друг...

Прихвачены на нитку на живую,
Мы здесь укреплены едва-едва...
Уйти во тьму, в пучину штормовую –
Какие безнадежные слова!

И шепчет только жаркий ком в груди –
И шепот холодит навывлет спину –
О том, что полыхает впереди,
И что осталось меньше половины.

Анатолию Аврутину

Да кто я такой, чтобы буквы складывать в строчки?..
Да кто я такой, чтобы это читали желать?..
И что я сказать-то могу, кроме бредней сорочьих?
Кругом же не дурни, чтоб бредни чужие читать.

Поэтому я и молчу и пишу понемножку.
Ведь в собственном доме и слышать меня не хотят.
Когда достаю свою душную душу – гармошку,
Кричат: не туда, вот болван, он опять не попад!

Ах, если бы я не туда, а то все ведь туда же.
Ведь писано и переписано все, что ни есть.
На нас ведь на всех одинаково давит поклажа.
И наглухо горло забила мышинная шерсть.

И пусть колокольца мои прозвонили к вечерне,
И пусть припозднился я нынче во вражьих гостях,
Еще отплюемся с тобой мы от всяческой черни,
Еще мы попляшем с тобой на мышинных костях.

И будем мы буква к буквке ладить и ладить,
И будем за чаркой друг другу читать и читать...
В ковчежек сосновый положишь ты эти тетради,
Когда от всеобщей начну уплывать,
Уплывать.

Кто ты?
Я давно никто.
Где ты?
Я не знаю.
Щеку мокрое пальто
Холодит по краю.

К месту тропки не найти
Не бывал там сроду.
Никакого на пути
Не встречал народу.

Что ж ты ищешь?
Ничего здесь никто не сыщет.
Безымянно у него
Имя...
Ветер свищет...

Ни во сне,
Ни наяву
Не сыскать дорогу...
Кто ж ты?
Имя назову
Только у порога.

ЮРОДИВЫЙ

А он о своем все рассказывал детстве, –
Как мама его укрывала
Бессильно и нежно от будущих бедствий
И прятала под покрывало.

И он до сих пор, если что-то случалось
В грозящих годах, как обычно, –
Отчаянно к маме в могилу стучался
И слышал ответ горемычный.

Сама я на это попала, сыночек.
Мне мама моя говорила,
Что спрячет меня от озяблости ночи,
И встает она из могилы.

Но нам не подняться, сыночек мой милый,
Совсем наша силушка взята.
А ты не умри бесполезно без силы,
И к нам не стучись виновато.
И слабых и сильных – их всех утянула
Какая-то хищность паучья.
Господь! – и его-то она обманула,
И не отпускает, и мучит.

Совсем мы увязли, приклеились к твари,
И жить нам совсем безнадежно.
А ты не поддайся. Хотя и ударит...
Упрись и иди осторожно...

И мне благодатность и мне утешенье,
Что ходишь со старой сумою,
Смирненно любое берешь подношенье
И в драке со смертью самою...

Татьяна ЛЕЙКО

Татьяна Александровна Лейко родилась в Свердловске (ныне Екатеринбург). С 1967 года живет в Белоруссии. Автор сборников стихов «Сентябрь обетованный» и «Ветра евразийские». Член союза российских писателей, Союза писателей Беларуси и Санкт-Петербургского городского отделения Союза писателей России. Живет в Минске.

На русском костяке, точнее, на костях
Построена страна, что свой спустила стяг.
И что теперь жалеть, обломки собирая,
И на Восток глядеть из Западного края!

Вопрос уже решен: мы умираем здесь.
Вот, скажут, был народ, да только вышел весь –
Кто дымом из трубы, кто для червей обедом,
И только путь души обобранной неведом.

Не поздно ли ползти к забытым алтарям?
Как в голубом снегу, сияет Русский Храм.
Прийти – и умереть, шагнув через порог,
И воспарить душой к тому, чье имя: Бог.

ПИСЬМА В РОССИЮ

Я пишу тебе письма на родину, где
Позабыли давно эмигрантов невольных.
Мы с тобою как щепки плывем по воде.
Кто за это ответит на Страшном суде?
Кто решал наши судьбы в парах алкогольных?

Я пишу тебе письма на родину – там
Мое сердце болит и душа леденеет.
И дыханье мое по бескрайним лесам
Зимним ветром летит, летним сумраком веет.

Мы уже пережили разлом и распад.
Дайте ранам зажить и умолкнуть рыданиям!
Вот теперь мои письма летят и летят –
Вас обнять перед самым большим расставаньем.

И все-таки Москва,
Москва была вначале!
Жаль, нежные слова
Печалью отзвучали.

Вокзальная молва,
Сердечное затмение...
Но все стоит Москва,
Как камера хранения.

Забрать бы чемодан,
Восторгами набитый!
Жаль, он навеки сдан,
Все шифры позабыты.

Июльская листва
От пыли еле дышит.
И все шумит Москва...
И никого не слышит.

Чувство родины... Чувство потери...
Чувство страха и чувство вины.
И открылись железные двери
Потерявшей рассудок страны.

Ни опоры, ни дали, ни цели...
Только память больших лагерей.
И уже никакой панацеи
Кроме этих открытых дверей.

И уходят, кому неугоден
Долгий путь, утонувший во мгле.
Будешь счастлив, богат и свободен...
Почему ж не на этой земле.

Что там в Питере? Дождь, вероятно.
Лишь Исакий блестит в полумгле.
Напиши мне, чтоб стало понятно,
Чем мы жили на этой земле.

Может, только серебряной нитью
Между сердцем и сердцем, когда
Увозили мечты и события
В непроглядную даль поезда.

Не рассыплются старые стены,
Нашу боль принимая на грудь.
И спасет от душевной измены
Достоевская желтая муть.

И надломленным душам не надо
От финляндских ветров уходить.
Разве только до Летнего сада
Дотянуть серебристую нить.

Юрий ФАТНЕВ

Юрий Сергеевич Фатнев родился в 1938 г. на Брянщине, но уже много десятилетий живет в Белоруссии. Автор около сорока поэтических и прозаических книг. Член Союза писателей Беларуси и Санкт-Петербургского городского отделения союза писателей России. Проживает в Гомеле.

СВЯТОГОР

Н.И. Родичеву

Я в Тимоновке спал. Брянск за туманом брезжил.
Десна вплетала в сны свет окон и светил.
И Свенский монастырь свечой полустгоревшей
Светился за селом. Костер луны чадил.
Язычник-дуб в костер совал сырые сучья.
Но не желал огонь развертывать знамен.
А может, трубку Петр забыл в дупле паучьем.
Курился из нее дым призрачных времен.
Нет, не паук плел сеть – игумен был искусней.
Дороден, льстив, а все ж, взгляд не сводя с чела,
Дым царский отгонял и ныл настырней гнуса:
«Превыше, государь, всего колокола...»
По дебрям рыскал Карл, а рядом царь российский
Под дубом учинял игумену разнос.
Но Меньшиков шагнул, шиповником забрызган –
И слово «шведы» вдруг ядром разорвалось!
Прочь трубка изо рта – сеть паутины в клочья!
Позорней смерти плен! В плену какой он царь?
Скакал, скакал, скакал он к Выгоничам ночью!
А вороны вслед: «Кар!» А вороны вслед: «Кар!»
...Стекала кровь огней, рисуя телевышку.
Наверно, здесь копьё оставил Пересвет.
На Площадь Партизан троллейбус мчал вприпрыжку
И плакался навзрыд, что пассажиров нет.
А в гушинском саду, где жил я на квартире,
Порой рождался стук, безмолвие разбив.
Крыжовник, все свои колючки растопырив,
Сграбастать был горазд сорвавшийся налив.
Но сон мой расколоть, как яблоко, не в силах
Дремотный плеск Десны, троллейбус, грузный сад.
Я в Тимоновке спал. И снилась мне Россия.
Но только где она – кто мог мне подсказать?
Без смысла я блуждал. Жил, как другие люди.
Впустую жизнь текла сквозь пальцы, как вода.
Не знал я, почему порою на распутье
Стряхнуть хотелось мне, как яблоки, года.
Пусть разобьются вдрызг, чтоб взглядом мог проникнуть
Я в сердцевину дней. И с них, как будто дань,
Собрал бы я для вас от мала до велика

На память о годах хоть горсточку семян.
Да, в гушинском саду, где спел дурманний август,
Россия снилась мне, мне снился Святогор.
И мучила меня, во сне душила ярость,
Что не сумел я встать на ноги до сих пор.
А люди там вверху не жили – копошились.
Хватали ордена. Играли в чей-то культ.
Здесь был я ни к чему. И чтоб не верил в милость,
Связали руки мне бесчисленностью пут.
И только память, нет, во мне не ослабела.
На косогоре дуб, курящий трубку ту...
Скакал, скакал, скакал какой-то всадник в белом...
Да, это Государь. Меня будил тот стук.
Я чувствовал – во мне История дремала.
Поднять бы веки ей, но кто-то мне мешал.
Кого-то наверху свергали с пьедестала.
А может быть, в саду тряс яблоню нахал...
Я в Тимоновке спал. И видел сон всегдашний.
Россия снилась мне. Не знал я, где она...
Но вдруг качнулась твердь. Горою вспухла пашня,
Как будто кто-то лез ввысь с гробового дна.
Как будто кто-то там живым был похоронен,
Какой-то Святогор, однажды впавший в сон.
И вот глаза открыл – над ним земля бездонна.
И то ли плач калик, то ль голоса времен.
Да, голоса по нем! И ворон окликает.
Просторен этот гроб, да все ж не по нему.
На ноги встал в гробу. А силища такая,
Что шлемом проломил он враз земную тьму!
Посыпались дома в туманные овраги,
Шарахнулась Десна из тесных берегов!
А это он восстал в ржавеющей рубахе,
Во все колокола под ней гудела кровь!
Невиданный собор, корнями перевитый...
Со шлема мох свисал. С плеч рушились леса.
И сыпалась земля откуда-то с зенита,
Слепые голоса без промаха гася.
Не верили они, что Святогор бессмертен...
Но в памяти своей, очнувшейся от сна,
До мига мог прочесть он все тысячелетья.
Народам распахнуть. Россия? Вот она!
Его скрывать в земле? Да что вы, в самом деле?
Не бойтесь. Он у вас не отберет палат.
И вороны с бровей лохматые слетели.
Довольно застить им его соколий взгляд!
Не ждите: одряхлев, согнется он дугою.
Аукает ему немереная даль.
В России Святогор не может быть изгоем.
Я знаю, где она... Я в Тимоновке спал.

ШАРМАНКА

Если беды
бьют под дых безбожно,
А таланта выжить – кот заплакал,
Остается инструмент несложный,
Грустная, как эта жизнь, шарманка.

Чем сидеть за воровство в кутузке
Или грабить возле моря дачи,
Я сыграю, говоря по-русски,
В этот ящик.

Побреду с шарманкой по Европе,
Побреду, седой, по белу свету...
Есть в России место дикой злобе –
Места нет в Отечестве поэту.

Африка, Америка услышит,
И со мной заплачет Ориноко.
Может быть, в сиятельном Париже
Отзовется чья-то собачонка.

В первобытных джунглях людоеды
Станут человечнее, быть может.
А Россия... кинется по следу,
Чтоб мою шарманку уничтожить!

Кони на Аничковом мосту
Слышу ржание грустное
Не из диких степей.
Здесь умеют обуздывать
Непокорных коней!

Эх, как гордые вздыбились
На чугунном мосту,
Как в предчувствии гибели,
Сбив копытом звезду!

Ждут всю ноченьку целую,
Чтоб украл их цыган...
Только ночи здесь белые,
Не хранящие тайн.

Не такое здесь видели...
Я не выдержу. Эй!
Как вас там? Укротители!
Не держите коней!

Сколько можно без повода
Виснуть на поводках
На глазах всего города?
Надоело им – страх!

Будет солнышко кубарем
Падать с грив на холмы.
Были – ваши и скульптора.
Стали кони – мои!

Дело ведь бесполезное
Караулить их жизнь.
В Диком поле поэзии
Им столетья пастись!

Им травую похрустывать,
Вспоминать свет огней,
Град, умевший обуздывать
Непокорных коней...

В Хоромном листопад, как будто в храме служба.
Торжественный хорал высоких голосов.
Всю жизнь спешил – и никуда не нужно,
На лавочку присядь. Ты к вечности готов.
И непонятно, что тебя чуть-чуть колышет,
Как будто речка Снов баюкает паром.
Ты – неизвестно кто. Случайно здесь. Так вышло,
Что где-то жизнь прожил, казавшуюся сном.
Ты думал, жизнь – стихи, а оказалась – проза.
И если вспоминать – не знаю, чем помочь.
Вот только путь сюда... И черная береза.
Нет больше для тебя в России белых роц.
И эта для тебя – нечаянная милость,
И эта для тебя – прощенная вина.
К концу судьбы своей она озолотилась,
Да только вот кора по-прежнему черна.
Ты ждал, что жизнь твоя немного посветлеет,
И в близкий свой успех поверил ты почти.
Ждать в жизни перемен – напрасная затея –
И черная береза на пути.
Ах, черная береза... Собирался
Послушать ты торжественный хорал.
В Хоромном листопад. Ждал этого он часа –
Шуршать, кружиться, золотую шаль
Набрасывать на дев... Ах, черная береза!
Ах, черная береза на пути!
Присядь на лавочку. Менять нам что-то поздно,
Навряд ли мы добьемся высоты.
В Хоромном листопад, как будто в храме служба.
Торжественный хорал высоких голосов.
Всю жизнь спешил – и никуда не нужно,
На лавочку присядь. Ты к вечности готов.
В Хоромном листопад, а это – не угроза,
А это – жизнь прошла. Не знаю, чем помочь.
Ну что же, уезжай. Ах, черная береза.
В России для тебя нет больше белых роц.

Вячеслав БОНДАРЕНКО

Вячеслав Васильевич Бондаренко родился 9 мая 1974 г. в Риге (Латвия). С июня 1991 г. живет в Минске. Автор 14 книг, изданных в России и Беларуси, в том числе кинороманов «Ликвидация» (2007) и «Кадетство» (2008), биографии поэта П.А. Вяземского в серии ЖЗЛ (2004, 2-е издание 2011), исторического исследования о Первой мировой войне в Беларуси «Утерянные победы Российской империи» (2010). Дипломант Всероссийской литературной премии «Эврика», номинант Всероссийской литературной премии имени А.Н. Толстого «Ясная Поляна». Работает ведущим программ дирекции информационного вещания Второго национального телеканала ОНТ. Член Союзов писателей Беларуси и России.

Трепещет слово на листке,
Старается остепениться,
Прижиться в выпуклой строке,
Со смыслом сумрачным сродниться.
И жаль его, но вечер нем
И строфы морщатся, ты слышишь.
И чуть помедлишь перед тем,
Как приговор ему подпишешь.

Нет больше мыслей для любезной тени.
Размокла в луже тоненькая связь.
Я лишь набор – глаза, тоска, колени.
Нестойкими словами заслонясь
От времени, слепой овчарки Божьей,
Что зубы, улыбаясь, кажет мне,
Стою, дрожа, в прокуренной прихожей,
Где лишь клопы да предки на стене.

Где век шумел и прадед правил,
Там ныне зной и пустота.
И жизнь свершается без правил,
Безбожна, ветрена, проста.
Ревут машины ночью лунной,
Рожают бабы на полу
И голос черни многострунный
Летит и падает во мглу.

Река, суровая как осень,
 Неспешная как ход часов...
 На берегу немного сосен
 Да неприветливый песок.
 Что небо, что вода – едино:
 Тяжелый, твердый серый цвет.
 Лишь бурые ошметки тины
 Да бледной лилии просвет.
 Все совершенно, прочно, плотно.
 Все на грядущие века.
 Как пыль на дедовских полотнах
 И Баха добрая рука.
 ...Так думал мальчик. Ну а ныне
 Не так он думает совсем.
 В чужой, оплавленной пустыне
 Почует он и глух, и нем.
 И что на месте рек вчерашних,
 И что там будет через день,
 И где приют его домашних –
 Какая, право, дребедень!
 Ни сил, ни слез, ни постоянства,
 Ни благотворной седины –
 Лишь опаленные пространства
 Да скучные скупые сны.

МОЛИТВА

Поклон тебе, святая осень!
 Ты снова смотришь молодцом.
 Давай о чем-нибудь попросим
 Икону, черную лицом.
 О внуках, старости оплоте,
 О детях, горести уму...
 А коль не хочешь – о болоте,
 Прильнувшем к дому моему.
 Пусть ширится оно привольно,
 Не поглощая ничего,
 Пусть улыбается неволью
 Всяк, кто посмотрит на него.
 Там можно встретить тварей малых,
 В преданьях с головы до пят,
 Там до поры на листьях палых
 Стихи доверчивые спят.

О, как мне хочется туда,
 Где день приветствуют вороны,
 Где белобрысы поезда,
 Нахальны люди, злы перроны.
 Там не до прозы и стихов,
 Там даже трезвые – хмельные,
 И рядом спят клочки грехов
 И добродетели больные.
 Там лоб несчастный холодят
 Две убегающие нитки.
 И молча на меня глядят
 От горя серые пожитки.

Как-то иначе все виделось.
Мир набекренил фуражку.
Волк ли навстречу иль сивый лось –
Окна выходят на Пряжку.

Страсть притворилась куцею,
Счастье помалу угасло...
Слушай свою революцию,
Ешь ее с хлебом и маслом.

Хочется так, чтобы заново,
Чтоб без мещанства, квартирки...
А на поверку – Степановы,
Васины, Петьки да Ирки.

Неба высокого хочется,
Моря бездонного сразу...
А на поверку – хохочется
Воблам, ежам, дикобразам.

Выход?.. Конечно, имеется.
Ключ на кушетку... И помер.
Ты ведь успел, разумеется,
Сдать ускользящий номер.

И полетел, успокоенный
Общим бессчетным потоком.
Просто обычным покойником,
Неким Сан Санычем Блоком...

Снег под утро не тает.
Отогнешь пелерину –
Холодок проступает
Болевой и картинный.

На асфальте разводы
Без намека на страсти.
Как войдешь в переходы,
Так почудится «здрасте».

Голубей постоянство.
Их ворчащие нутра
Размыкают пространство,
Охладевшее к утру.

И, печально оскалясь
От налогов к получке,
Видит дворник-китаец
Зарубежные тучки.

Анна ВАСИЛЬЕВА

*Анна Евгеньевна Васильева живет и работает в Минске.
Публиковалась в журнале «Новая Немига литературная», альманахе
«Невские строфы». Автор двух поэтических сборников, член Союза
писателей Беларуси и Санкт-Петербургского отделения
Союза писателей России.*

Строгая графика зимнего утра –
Только чертеж акварелей весны.
Все в канцелярии просто и мудро,
Необъяснимы лишь вещи сны.

Кроны деревьев, как реки весной –
Черные линии в белых снегах.
Все, что когда-то случится со мною,
Раньше я видела в призрачных снах.

В раме окна, как послание свыше,
Веток сплетение, стайка синиц
И на соседней заснеженной крыше
Ветром навеяна пара страниц.

Кто-то ведет меня этой дорогой
Или сама выбираю я путь?
Ни акварелью, ни графикой строгой
Раннее утро уже не вернуть.

Все меньше друзей – сплошь приятели.
Пытаюсь себе объяснить:
Не ссорились и не предатели...
Разорвана тонкая нить.
Извилистая и опасная
Дорога сквозь холод и грязь.
Казалось, что прочная, красная
В судьбе нашей ниточка-связь.
Не ждем друг от друга сочувствия,
И прячем усталость и боль,
Не слышим бывшего созвучия,
У каждого главная роль.
Свидетели, а не участники
Все чаще мы в жизни друзей.
Сдана нами юность в запасники,
А после – и память о ней.

Вновь звонок из Парижа:
«И в Париже скучаю!»
Солнце ниже и ниже,
Я закаты встречаю.
По дороге к Голгофе
Стала злою и колкой.
Свежесмолотым кофе
И французскою булкой
Пахнет утро весною.
На ветру возле Сены
Ты стоишь не со мною.
Я усталые вены
Наполняю тоскою.
Дождь весенний по крыше,
В ночь лишь окна открою –
Я с тобою в Париже.

Почему прилепилась, не знаю
Телом всем и душой, а сейчас
По живому себя отрываю.
«Ты» и «Я» оторвалось от «Нас».
И зачем пришивала так прочно
Лён суровый и тоненький шёлк?
Шов двойной расползается, точно
Длинный поезд, который ушёл
Без возврата в зелёные дали.
Ты молчишь. Огорчён? Удивлён?
Тонкий шёлк мы с тобой разорвали
И в руках, словно флаг, белый лён.

Этот город с набухшими венами
Узких улиц, с потоком машин
Околдует любовью, изменами,
Ослепит блеском ярких витрин,
Отшлифует как камни прибрежные.
И огнями по темной реке
Фонари уплывут в неизбежное,
Растворяясь в ночном далеке.
Ты вернешься домой, где под ивами
Над рекой тишина и покой,
Где вы были когда-то счастливыми,
Станешь воздухом... Светом... Рекой...

Из тишины и мягких хлопьев снега,
Летящих как покой и благодать,
Рождается симфония побега
И хочется мечтать и бунтовать.
Открыть окно и выпустить гардины
Во двор, как парус белый, высоко
Они взметнутся и до середины
Достанут неба быстро и легко.
Морозный воздух комнату наполнит,
На подоконник, как на нотный стан,
Снежинки лягут, музыка напомнит
Моря и очертанья дальних стран.
Проснись скорей и закажи билеты
Туда, где солнце золотит холмы,
Где море лижет парапет нагретый,
Где только мы с тобою, только мы!

Никто меня не понимал,
Казалось всем, что я слепая,
А я предвидела финал,
Когда по лезвию босая
Бежала к пропасти. Полет!
Над бездной – яркие мгновенья.
Тот, кто любил меня поймет –
Полет рождает вдохновенье.
Мне боль – как старшая сестра,
Она всегда рождает чувство,
Коснется острого пера,
И пробуждается искусство.

Елена АГИНА

Елена Агина (Вагина Елена Александровна) по основной профессии – художник. Но литературой занимается профессионально уже несколько десятилетий. Член Союза писателей Беларуси. Автор нескольких книг и многочисленных публикаций в периодике. Живет в Гомельской области.

Ивану Бисеву

Брат мой сентябрь, зачем это странное время?
Кануло лето, а снегу еще рановато.
Сад по ночам отрясает сладчайшее бремя
Яблок последних с июльским густым ароматом.

Память светлеет. И ближе прозрачные дали.
Кажется, шаг лишь – и жизнь до конца прояснится.
Но холодеет. И астры почти что увяли,
А у листвы опадающей запах корицы.

Брат мой сентябрь, беззвучный хорал листопада
Трогает больше, чем Бах в кафедральном соборе.
Жизнь паутинкой трепещет на солнце и рада
Мелочи каждой, уже не стесняясь, что вскоре

Время наступит, когда не покажется странным
Сон предпочесть неоконченным строкам сонета...
Слышишь, в саду осторожные бродят туманы
И оседают на яблоках перед рассветом.

Брат мой сентябрь, к чему все слова укорижны?
Осень все явственней в звуках пастушьей жалейки.
Хлеб на столе. И всего-то осталось от жизни –
Несколько яблок на синей садовой скамейке.

Вечер придет. Полистаю немного Рубцова.
Сон и усталость возьмут незаметно свое.
Веки сомкнутся. И тихо из бездны былого
Тихая родина снова меня позовет.

Тихая родина сосен немолкнувшим шумом
Властно смирившая сердца надменного дрожь
Тем, что созвучен моим вечерующим думам,
Голос твой с голосом леса соснового схож.

Сонм насекомых ночных возле лампы роится.
Только лишь вздох между взмахами крыл мотылька –
Весь этот мир. И спросонок какая-то птица
Глухо кричит у протоки в кустах лозняка.

*Уличным маэстро,
не дотянувшимся до вершин...*

Где ни судьбы, ни родины, ни воли,
И только тень измученных дерев
Лежит на стеклах, где и вечер болен,
В тоске безлюбой истин не прозрев,

Куда идти? Какому бездорожью
Доверить эхо собственных шагов,
Чтоб поутру с похмельной зябкой дрожью
На те же круги возвратиться вновь?

И пить вино дешевое. И снова
Вверять себя сомнительной судьбе –
Творить без имени, без славы, и иного
Уже не мыслить жребия себе.

Бродяги, музыканты и поэты,
Художники и прочий смутный сброд,
Давно вам по колено воды Леты,
Не то что море... Все ж недостает

Мне вас порою, уличная фронда,
Вас, завсегдагаи грошовых кабаков,
Когда осточертеет спесь бомонда
И тупость кабинетных дураков.

Но, сломлены талантом или водкой,
Судьбой или житейской маетой,
Бредете вы нетвердою походкой
У вечности проситься на постой.

И часто за полночь, когда не ходит транспорт,
И друг за другом меркнут фонари,
Прошу луну: сестра, помедли гаснуть –
Друзья домой, быть может, не дошли...

Поверивши судьбе и все начав сначала,
Построим тихий дом в деревне у Глушца.
Там будет жить любовь, мой пес, твоя гитара,
А рядом будет сад и сосны у крыльца.

И потихоньку жизнь наладится, и снова
Нас станут навещать из города друзья,
И я забуду боль, и призраки бывшего
Не потревожат нас по памяти скользя.

И, может быть, когда над кромкой леса ало,
И вечер спустится, заиндевело-сед,
Увидев свет в окне, снег отряхнет устало
И к нам зайдет на чай задумчивый сосед.

Я разолью вино домашнее в бокалы,
Вы будете курить, присев пред очагом.
Гитару ты возьмешь. И ночи будет мало
За чаем и вином, шансоном и Сайгё...

И много дней пройдет. И сменит зиму лето.
И много минет лет. И станет взрослым сад.
Состарится сосна, что над крыльцом воздета,
И память заболит, как жизнь тому назад.

И в этот самый день, сама того не зная,
Я больше не смогу тебя, мой друг, любить,
Уже не захочу ни ласки, ни вина я,
Ослабнет, задрожав, невидимая нить.

И в этот самый день все песни станут стары,
И я не подниму уже усталых век,
И тихо кану в ночь под перебор гитары
Послушать, как идет по Дятловичам снег...

Валентина ПОЛИКАНИНА

Валентина Петровна Поликанина родилась в г. Кричеве Могилевской области. Закончила филологический факультет Белорусского государственного университета.

Автор многих поэтических книг. Член Союза писателей Беларуси, Союза российских писателей, Санкт-Петербургского городского отделения Союза писателей России и Международной федерации русскоязычных писателей. Лауреат Специальной премии Президента Республики Беларусь в номинации «Художественная литература» (2006), первой премии конкурса Союза писателей Беларуси на лучшую книгу года «Золотой Купидон» (2008), российской литературной премии им. А.П. Чехова (2009), международного литературного конкурса «Литературная Вена – 2011». Указом Президента России награждена медалью имени А.С. Пушкина.

Еще печет. Не отболело...
Не стерлось сумраком ночным.
Оттенки серого на белом
Так удивительно точны.

Еще немного лихорадит
Еще не выстужен соблазн.
Еще невинности тетради
Так далеко до грешных глаз.

Еще бессловье дразнит жестом
Разгоряченности у рта.
Еще на тайну совершенства
Скупая смотрит немота.

Завяжи мне глаза... Я иначе тебя не забуду.
Столько память хранит, сколько выпадет ей на роду.
Завяжи мне глаза, и тогда я беспомощной буду,
И в круженье людском заблужусь, и тебя не найду.

Завяжи мне глаза... Пусть закончится наша коррида:
От истерзанной раны до сжатого болью плеча.
Завяжи мне глаза, чтобы я потеряла из виду
Все, что в мире есть ты: и улыбку твою, и печаль.

Завяжи мне глаза... Пусть смеются надменные лица.
Пусть друзья не узнают: я лишняя в этой гурьбе.
Завяжи мне глаза, чтобы я, как подбитая птица,
Не смогла пролететь и мгновенье навстречу тебе.

Пуст мамин дом. В дверях затвор непрочен.
 Но образ чистый светел, как всегда.
 И смотрят мамы праведные очи
 Сквозь жизнь и смерть на все твои года,
 На почерк твой, что рвется безутешно
 В надгробных начертаньях сжечь вину,
 На твой надрыв, на твой приезд поспешный,
 На волосы твои, на седину...
 Хлебнешь печали, лишь беды не трогай.
 Все души ходят к близким напрямик.
 И ты, почувяв позднюю тревогу,
 Прозреешь – и увидишь в тот же миг,
 Что зло растет из трещины убогой,
 Что грешный мир теряется во мгле,
 А мать идет над грязною дорогой –
 По воздуху идет, не по земле.
 Идет она, как светоч, как спасенье,
 Над горестным смешеньем черных вод,
 От Рождества идет до Вознесенья –
 Плечами подпирая небосвод.

Памяти ушедших друзей

Еще душа не отлетела:
 Ее грехи не отцвели,
 Еще она кружит над телом,
 Над белым саваном земли;
 Еще спешит всмотреться в лица:
 Ей не мерещатся враги;
 Еще, как раненая птица,
 Кромсает воздух на круги
 И ткет, невидимая людям,
 Кайму к небесному ряду;
 Еще она болит и любит
 Всех ближних, чувствуя вину;
 Еще глядит в земное братство,
 Пускаясь в безоглядный плач;
 Еще стремится разобраться
 В своих зигзагах неудач;
 Еще она полна раденья
 К твоей душе – и держит речь
 В твоих полночных сновиденьях,
 Тебя спеша предостеречь;
 Еще, как белый пароходик,
 К причалу силится пристать;
 Еще по дружбе в дом заходит
 С тобой о жизни поболтать.

Живем не так, встречаемся не с теми,
 Не то творим, душою не горим,
 Не те умом затрагиваем темы,
 Не те слова друг другу говорим.
 Легко бранимся, миримся натужно,
 Скитаясь в одиночестве своем,
 И лишь о Том, кто нам и вправду нужен,
 За пять минут до смерти узнаем.

Юрий САПОЖКОВ

Юрий Михайлович Сапожков – поэт, литературный критик, переводчик. Родился в 1940 г. на Рязаницине. Последние полвека живет и работает в Минске. Автор многих поэтических сборников. Член Союза писателей Беларуси. Редактор отдела поэзии журнала «Нёман».

РАСПЛАТА

Я птиц любил.
А их ловили кошки.
Но кошки ластились,
и я им все прощал.
Скворечни вешал, не жалел и крошек,
Но все же птиц и небо предавал.
И вот итог моих ошибок прежних:
Сам ненароком когти проглядел.
Живу один, пустой, как та скворечня,
В которую никто не прилетел.

НОЧНАЯ ТИШИНА

Жизнь катится, чуть прогибая оси.
Сентябрь, октябрь, ноябрь на перелом.
В который раз уже трёхтомник осени
Выходит в свет огромным тиражом.
Вновь так желанна в городе большом
Мысль о побеге в деревеньку дальнюю –
Там звуки носят мягкие сандалии
Или бесшумно бродят босиком.
Очнулся дождь и перешел на шепот.
Он что-то шепчет мне о ноябре.
Морозец ночью сможет ли заштопать
Зияющие лужи во дворе?
Я привожу в порядок мысли давние
По праву возраста...
Я очень тороплюсь:
Вдруг, как минер, не выполнив задания,
На тишине бессониц подорвусь!
Какая ночь!
С одной звездой-пробоиной.
Мне говорил знакомый старшина:
«Страшна, конечно, тишина до боя.
Страшнее – после боя тишина...»
Жизнь катится...

ОТЕЦ

Отец мой там, где листья всхлипы
Над свежерашенной оградой,
Отец мой там, где корни липы
Вчера обрублены лопатой,
День новый ясной мыслью начат:
Там холодно, темно и влажно.
Но там отец, и это значит,
Что уходить туда не страшно.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Незримая есть в жизни полоса,
Подвластная закону ускорения,
Когда очередные дни рождения
Начнут мелькать, как спицы колеса.
Становится вместительней твой дом,
Обильнее питьё и угощение.
А разговор о возрасте твоём
Искусен, будто мостик над ущельем...

НАТАЛЬЕ ГОНЧАРОВОЙ

Я камня на неё не поднимал.
Не убивал язвительною речью.
Поймите, наконец, – на Чёрной речке
Ведь он её под пулей оправдал!
Наедине подумайте об этом.
И острый камень да минует цель.
Не суесловьте о жене поэта:
Он вас не может вызвать на дуэль.

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Уйти от старых берегов,
Как уходил уже когда-то...
Есть в обиходе моряков
Понятье – точка невозврата.

Теперь уже в последний раз!
Что впереди – успех, утрата?
Есть в жизни каждого из нас
Такая точка невозврата.

И, как ни медли, предстоит
Тебе решить – что ложь, что свято,
Расслышать, что душа велит
Пред этой точкой невозврата.

Когда назад уже не сметь,
И время надвое разъято.
И что-то гонит, как на смерть,
Тебя за точку невозврата.

Мария МАЛИНОВСКАЯ

Мария Юрьевна Малиновская родилась в 1994 г. Гомеле. Студентка филологического факультета Гомельского государственного университета. Лауреат многих литературных премий. Член Союза писателей Беларуси, Южнорусского Союза писателей и Санкт-Петербургского городского отделения Союза писателей России.

Автор четырех поэтических сборников.

Живет в Гомеле.

Как выкричать из тоненького стержня
Такую муку? Как тебя просить?
Прошу всё злей, всё злей и безутешней...
Ну как ещё? Натянутая нить

Пока дрожит, пока не рвётся... Мама!
Хоть эта нитка режет мне язык,
Прошу тебя, бессильно, больно, прямо –
И против воли слышишь этот крик.

Его не сдержат мертвенные строки:
С просящим звоном лопнет, лопнет нить!
И стихнут просьбы, и пройдут тревоги,
По звону точно не начнут звонить.

Пусть закончится жизнь, пусть слова разметаются по снегу,
Я вчера написала, что сердце тебе отдаю,
Всеблагому молчальнику, самому строгому постнику,
Со щипцов раскалённых вкусившему горечь мою.

Пусть закончится всё, пусть закончатся в небо деревья
Или жизни, – лети, я тебе не закрою пути.
Установишь и Там величайшее бескоролье –
И что прежде любил, что служил мне когда-то – прости.

Пусть и нет ничего – лишь бескрайние белые заметы,
А под ними бескрайний, губительно чёрный провал.
Забываешь не ты – это я исчезаю из памяти:
Не могу, чтоб ты так, по живому, меня забывал...

Пусть не веришь и сам ни обетам своим, ни обличью,
И что было внутри сведено воедино – к нулю,
Существо ты несчастное, дай я тебя возвеличу –
До живой, неменяемой... силы, с которой люблю.

Я заблудилась в высоких колосьях,
Точно дорога в колёсах-полозьях,
В чьих-то единственных в мире шагах...
Пьётся мне только из милого следа –
Стать бы дорогой с колосьями света,
Чтобы плашмя простереться в ногах...

Купол поехал, оплавилось золото,
В слёзы, как вдребезги, ярость расколота.
Нет, не в скитаниях – в остолбенении
Я заблудилась, клонюсь, ослеплённая, –
Это последняя кротость влюблённая
И завершающий акт поклонения.

День рассыпается в ясном помоле,
Вновь золотится пречистое поле...
Кротость последнюю в землю отдам.
Тронута светом, навеки, без срока
Поступью женской уходит дорога,
Вдаль – по единственным в мире следам...

Есть не только люди без сердец –
И сердца иные нелюдимы.
Можно стать как брат и как отец,
Но нельзя – как друг и как любимый.

Есть иной – неписанный – закон,
На него ни ока, ни перста нет:
Каждый может стать таким, как он, –
Мне таким, как он, никто не станет.

Если променял на сатану
Или – что едино – на сутану,
Проклинать нельзя, но – прокляну,
Можно стать такой же, но – не стану.

Нет уже ни сил, ни воли, боль же
Видится отдельно, наяву...
Ни искать, ни ждать не буду больше –
Только остров этот подорву.

Все часовни, все скиты монашьи,
Перед ширью русской – эту узь...
Подорву – за веру – в дали наши,
За твоё «Я знаю. Не боюсь».

Всколыхнутся скованные воды,
Затрещат и разлетятся льды,
Алтари и храмовые своды.
Колокол пробьёт из-под воды...

Прерванный на сотом «Аве Отче»,
Местный старец, всё слабей гребя
И вмерзая в беспросветность ночи,
Сдавленно закончит: «Чтоб Тебя...»

Страшен север лютостью осенней,
Но, чудесно к берегу влеком,
Ты поймёшь: молился о спасенье,
Сам не понимая – о каком...

Елена КРИКЛИВЕЦ

Елена Владимировна Крикливец родилась в Витебске. Преподаватель кафедры литературы Витебского государственного университета им. П.М. Машерова. Член Союза писателей Беларуси, Санкт-Петербургского городского отделения Союза писателей России. Лауреат VII Международного Пушкинского конкурса для учителей русского языка и литературы стран СНГ и Балтии. Автор сборника стихов «На грани света».

Тургеневский кружился листопад,
глубокий пруд без меры осыпая.
Сюда пришла я просто наугад,
доверчиво,
за солнцем,
как слепая.
И был каким-то вяжущим покой,
и мысли без конца и без начала.
Над этой неподвижною водой
я очень долго, помнится, стояла,
в руках кленовый листик теребя,
как барышня из N-ского уезда...

...Вдруг заглянула,
может быть, в себя,
а может быть, в чернеющую бездну
и отшатнулась.
Только горький крик
застрял в груди
и небо потемнело.
О том, что мне открылось в этот миг,
я никому поведать не посмела.

...Блестит на окнах тонкая слюда –
мороза филигранная работа.
Но вновь и вновь мне хочется туда,
где черный пруд и листьев позолота.

В лицо швыряла вьюга хлопья снега.
На сотню километров – ни души.
Он об одном просил сейчас у неба:
чтоб память, будто свечку, затушить,
чтобы стряхнуть все мысли так же просто,
как снег с пальто –
движением одним –
о детях,
что свои свивают гнезда,
о друге
и о той, что рядом с ним.

Свершилось.
Только белая дорога,
и ветер,
и бесчинства февраля...
Унять озноб. Освоиться немного –
и можно этот путь начать с нуля.

Он был один.
Душе обиндевелой
любая боль, пожалуй, не страшна.

Хотелось бы сказать, что вьюга пела...
Да вот не пела – плакала она.

Сколько раз в темноте разбивалась о камни,
завершался полет острой болью в крыле...
И бессильно за воздух цепляясь руками,
я пыталась суметь
устоять на земле.

Только боль утихала во мне понемногу,
и звала в высоту непонятная страсть...
И, конечно, внизу оставалась дорога,
на которую снова придется упасть.

Я боюсь,
что однажды не выдержат крылья,
безнадежно вдали замигает звезда,
и, упав,
захлебнусь я дорожной пылью...
Страшно мне...
а на небо смотрю иногда.

И когда замечаю летящую стаю,
тихо зависть в душе шевельнется опять,
но в промерзшую землю все глубже врастаю,
потому что хочу
научиться стоять.

Скромный дворик живет, как и прежде:
лай собачий и шум тополей...
Но знакомых встречаю все реже
и уже не считаю «своей».

Только помнят скамейка кривая
и зеленый соседский балкон,
как смеялась я, в куклы играя,
или злилась на что-то тайком.

И, быть может, порой обижала
ту, которой надежнее нет.
А она как ни в чем не бывало
из окошка звала на обед.

Принимая из теплых ладоней
необъятную миску борща,
я тогда, в этом стареньком доме
научилась любить и прощать.

Александр НОВОСЕЛЬЦЕВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

(окончание, начало в №1 2013)

13

Встречи в деревенском автобусе

Еду в Елец из Озерок зимним пустым автобусом. На Петрищевском повороте стоит парень лет тридцати: новая куртка, усики, кроссовки – несмотря на мороз, шапка на затылке, острый нос. Заходит и, сев на переднее сиденье, вполоборота и вполголоса – водителю:

– Здоров, Колян.

Водитель на это никак не реагирует. Есть что-то общее между водителями, продавцами, даже кассиршами в бане, не говоря о вахтерах в общежитиях и больницах, весь вид которых говорит: «Я – на троне. Не мельтеши». Такие даже ручку поцеловать не всякого смертного подпустят. Парня это не волнует, и он продолжает:

– А я тебе махаю, когда ты у в Озерки ехал, а ты не остановилси.

Реакция у водителя та же. Парень, облокотившись о спинку своего сиденья, смотрит вперед, моргает. С минуту молчит, затем, не повышая голоса, рассказывает:

– Вчерась приключения. Лезу это я у холубятню. Хляжу – крышка приподнята. Ну, я ее откинул, хляжу – на полу ляжать два холубя и кот рыжай выскаквая: успрыгнул на mine. Ну, я ево за хвост вытаскваю, да раза чатыри об стенку. Кинул яво, малому своему хворю: «Выкини на помойку». Хляжу, а он – живой, шавелитси. Ну, я узал топор, холову яму отрубил.

Сидит, моргает. Водитель молчит, смотрит на дорогу. Любитель голубей поморгал, через минуту спрашивает:

– Ты ня знаешь, mine ничаво ня будить, ежли к mine у сарай хто залезя или возля, а я яво уработаю? – Водитель

рулит. Голубятник продолжает: – Тут к mine малай залез один. Вышел я у во двор, а он у mine возля бани крутитси. Ну, я узал охлоблю и пару раз по спине охрел. Тот хворит: У mine собака сбяжала, я собаку свою ищу. А какая яму собака, у бане? Бреша!

В городском автобусе, бабка:

– Ой, шчо ж ты стоишь как камянной, хоть чуток поторониси.

После безуспешной попытки подвинуть соседа, кряхтя, снова зашевелила плечами:

– Ды шчо ж ты никак не подвинисси?

Рядом стоящая тетка со сбившимся платком глядит на нее через руку:

– Да ты нажмай сильнея... Жмани яво, жмани!

На базаре при автостанции:

– А вот яблочки морозвые! Кому яблочка морозово! Диривенская, с ябланыки, с ветацьки.

Водитель Пальна-Михайловского автобуса, стоя на бампере, протер лобовое стекло. Спрыгнул, проверяет билеты у подходящих пассажиров. Внимательно посмотрел на стекло, вновь забрался на бампер, опять трет. Из-за низенького здания автостанции выворачиваются две фигуры. Неуверенными шагами, покачиваясь, идут к автобусу два мужика, им лет по сорок. Один, меньший ростом, с трудом держит равновесие, но не падает: дружок поддерживает. У автобуса останавливаются. Дружок, длинный и менее пьяный, изо всех сил старающийся показаться трезвым, дергая головой, спрашивает:

– Эт-та... На Михалл... – собравшись, повторяет: – На Миха...лвку?

– А шчо, не видишь? – показывает шофер на трафаретную надпись за лобовым стеклом.

Длинный утвердительно кивает, доставая подбородком до груди, роется в карманах; набрав горсть мелочи, протягивает шоферу. Тот сверху отвечает:

– Билеты у кассе. Стою еще десять минут. Успеешь.

Длинный, не споря, утвердительно машет одновременно рукой и головой – понял, затем подводит друга вплотную к автобусу, кладет его руку на бампер, и пока тот смотрит сквозь него остановившимся взглядом и вытягивает губы, длинный говорит ему:

– Колюха, стаи возля, – и уходит за билетами.

В автобусе, ждущем отправления на Чернаву, сидят рядом дородная тетка, одетая «как городская» и сухонькая сморщенная, но шустрая бабуся.

– Микитишна, как там мои у деревне?

– Да ничаво, картохи убрали у середу. Ленька жанилси. Уж друхая неделя пошла.

– Да ну? Пичиникин?

– Ды какой Пичиникин! Трахвивав, твому Вовке племянник троюрнай. У Пичиникина малому уж друхой ход, а сам нииде не работая, дома сидить, только телевизир хлидить. И усех дялов-та.

– И как свадьба-то была?

– Ой, сва-адьба была-а... больша-ая, человек с палсотни набярётся. Гастей – са усех валастей. С ево стороны родня своя, чернавская, да с Казаков, да ищѐиц и с Измаковай... Свадьба бахатая, бряхать не буду, колбаса была – усяковская. Ажник двух сортов.

– Кто ж невеста то, чернавская?

– Куды там! Елецкая.

– А живут иде ж.

– Там, у ней жа, у хораде. Улица Сошейная.

Тетка сидит, что-то думает, потом поправляет:

– Шоссейная.

– А я табе и хворю, Сошейная. У Засоснай. У их свой дом. Кирпишной! Я у них была, как сватать ездили. Просторнай, хазом топють. Комнатей однех три аль чатыри. Как заходишь – вот так калидор, а вот тах-та комната... Комнатей – со счету собьѐсси. Бахатаи, бряхать ня буду...

Автобус качнулся на правый бок – это водитель весело взбежал по ступенькам, привычно сел в свое кресло, нагнувшись, оглядел салон в висящем перед ним зеркале, шумнул:

– Ну чего, бабки, усе сели? Подымите руки, кого нету!

– Усе тута, усе! Пояжжай, сынок, с Богам! – по-свойски, как внуку, отозвалась бабка и перекрестила его в спину. Он глянул в зеркало, подождал секунду, скрипнул складнями дверей и шумно завел двигатель. Наклонив голову к уху соседки, бабка всю дорогу делилась с ней деревенскими новостями.

Прямо перед ними два деда перебирают знакомых. Один, глуховатый, слушает, иногда подвинув ухо ближе или переспрашивая: «как, ково?» Другой громко говорит прямо ему в ухо. Иногда лишком громко, тогда бабка толкает его в плечо:

– Будя табе долдонить-та! Не у тѐмнам лясу!

Дед примолкает, чуть поворачивает в ее сторону голову, косит глаза, примирительно отвечает:

– Ну, буровь. Он жа глухой!

– Ну, тада дюжей яму, дюжей. И прям в уху.

Дед продолжает говорить соседу:

– Ты Ивана Николаича Красова из Берѐзовки знал?

– Как?

– Красова, говорю, Ивана Николава? Кра-са-ва! Так вот, он всю жизнь все делал сам. Три войны отломал: финскую, потом эту, и ишо, какая с японцами была, чуток прихватил. Жена у яво всю жизнь учительницей отработала, так у ней толечко одни тетрадки да книжки энти в руках были – сроду ничего по дому она не делала. Все он, все Иван Николав! Так

у их, значить, коза была. Манькай они ее звали. «Как-как!» Мань-кай, говорю! Не хуже, как жану мою. Как жану, говорю! И доил ее Иван Николав. «Ково, ково» да не жану жа – козу говорю! И ты знаешь, как он ее доил? Сроду не поверишь: поставить ее на стол и доить, а та стоить – хучь бы грамм шелохнулася. Пока всю вымя ей не выпростаить – усё стаить. Сам прямо на верандочку выходя, кличет: «Маня, Маня!» – она и бжжить – прыг к яму на стол! Там у яво завягда чуточку солички припасено, она ее лизать. А он тубареточку подвинет – и доить. Ты понимаешь! Я ж о чем табе толкую – прям на столе! Никто не догадалси так-то доить, он один. Ишь как человек приспособилси! Ну, дошлай жа был! Уморисси глядеть – та, как он с ей... А что – удобно! Яво так за глаза и звали – Дошлай!

Снегу навалило столько, что в город и не выбратся. Иду, рассчитывая на ноги, добрался за четырнадцать километров по дороге, превратившейся в снежную целину до самого большака. На большаке в автобус по дороге подседа старуха на восьмом десятке лет, с сумками напереметную, и сразу увидела знакомую:

– Манька! Здарова!

– Ды слава Богу! Куды напялилась-та?

– Ды у горад. У сабес. Другой день шастаю за справкай. Мож ноне дадут.

– А! К им попади толька!

– Ни гвари! Учарась сунулась идтить: суляла-суляла, ды назад. Снегу-та намяло – видала?

– Ды ой, прям страсть Божия!

– У вас у Трасном столько жа?

– Нет, усё мима... Усё мима – ды к вам.

Вдеревне у нас, при одной из усадеб, живет таджик-сторож. Редкий по совестливости и спокойствию характера малый. В один из вечеров очередного выходного заезда собрались

мы интеллигентной деревенской компанией, и, слово за слово – зашел почему-то разговор о неуважении у нас, русских, к людям старшего возраста. Зашел на огонек и этот таджик-сторож. Глядя на него, кто-то вспомнил, как бывал у них там, еще в советские времена, в Азии, в турпоездке, и запомнилась такая картина: в автобусе старик уступил место старушке, потом, когда она вышла, он снова сел, но вошла женщина, потом девочка – и он всем уступал им место. И это таким удивительным для нас образом показывало, каково уважение к женщине на востоке, и какая у них в этом смысле иерархия. При этом наша компания взялась ругать всех наших, что-то вроде – у нас вечная картина в автобусе: старуха стоит, а парень-здоровяк сидит, развалился, жвачку жует, и в окошко смотрит и так далее. Картина известная.

Таджик наш, удивляясь, кивал головой, мол, да-да, как у вас у русских нехорошо. И, будто в подтверждение взялся рассказывать свою историю о том, как он автобусом ехал из Москвы сюда, в деревню – а это почти шесть часов. И вот таким был короткий его рассказ:

– Да, я ета фсо время удивляюсь – как ета женщина места у вас не дают? Я из Москва ехаль автобус сюда. Сель, водитель пясот рублэй на билет даль, сижу на своя места. Палявина дорога ехаль, автобус тармазиль – женщина старушька пасадиль. Она денга шафёр даля, а места свободный нет. Она сумка тижёлий поставиль на праход и стоит, никто места не дает. Я всталь, говорю: бабушька, садись. Она селя, гаварит: ти кто такой? Я говорю – челявек проста. А какой ти нация? Я говорю: какой разница – проста челявек и фсо.

Тут я сделаю отступление. Нам, сидящей и слушающей компании, до того неловко стало за нашу нацию: пока сами себя ругали – это бы еще ничего, а тут вдруг человек другой нации нас прямо как котят – носом. И бездушные мы, и грубые, и невнимательные... Ну, знаете – элемент самоедства – таджик, над которыми даже по телевизору

смеются в открытую, место уступил. Он – «просто челявек» а мы... кто мы такие после этого! Ну, и так далее. Чтобы найти хоть какую-то возможность сгладить эту неловкость, спрашиваю у него:

– И что, Анвар, ты так и ехал стоя.

– Да, палявина дороги стояль.

Сидим, молча казнимся каждый отдельно за всю нашу нацию. Знаем, что он ведь не рисуется, и не преувеличивает – просто рассказал, как было. Молчим... Казнимся... И тут он говорит финал этой истории.

– Я пешком достояль. К остановка подъехал, я вишель. А водитель мне остановил, говорит – эй, парен! Иди суда. Я падашель, он мне в рука денга дает. Мои денга – пясот рублей за проезд. Всо, гаварит, иди. Сдаша не нада...

Вот и вся история. Не знаю, как у знакомых, а у меня, ей-Богу! – душа на место стала... Скольких я их видел, таких мужиков, как этот водила!

Серега, деревенский сторож, рассказывает о знакомом мужике-неудачнике из соседней Знаменки:

– Да яму всю жизнь не вязло. На свадьбе напили пьянай. Тут торт подали, а он уж ляжить, голову поднять не может. Он тогда голову подвинул поближе к торту и прямо по столу рукой в рот сгрябал. Все поумирали со смеху, вся свадьба. Он трактористом у колхозе. Корову переехал трактором. Пахал, а корова на поле ляжала, он и переехал. Выскочил – и ломом её поддявает, поднять хочет.

– И что, поднял?

– Да где! Он уж ее на Т-40 переехал. А сам с ломом. Чего он ее не увидел? Тыщу так и отдал хозяевам. Еще теми деньгами. А потом яво посадили.

– За корову?

– Нет. Он мужику уголь привез. Они выпили хорошо. Загнали трактор, он тележку поднял и энтого мужика углем засыпал.

Автобус на елецкой автостанции ждал отправления в соседний райцентр. Был предпраздничный день, народу к автобусу собралось много, особенно ребят из техникума и училища, желающих на выходные попасть домой. Чего греха таить – часто желающих уехать больше, чем мест, а уехать хочется всем, и тут вся надежда на контролера – принципиальный попадетсЯ или такой, что рукой махнет – а! хотите – стойте. Ну, и водитель, конечно, подкальмит. Автобус долго не отправлялся – контролер, посадив всех «обилеченных», долго и громко разговаривала у дверей автобуса с ребятами-безбилетниками, просящими в один голос:

– Теть, да мы хоть стоя... Ну теть...

– Подождете следующий, он через полчаса пойдет.

– Ой, ну теть, у нас тогда петрищевский уйдет, он впритык как раз.

– «Впритык»... Раньше надо приходить...

– Теть, у нас же занятия были... – клянчили несколько голосов.

– Занятия у них! А другие без делов, что ли! Мне что, из-за вас людей высаживать?! – Она опять говорила про следующий автобус, и разговор шел по третьему кругу. Автобус стоял.

Пошумев на безбилетников, контролерша ушла в автостанцию, а водитель все что-то не решался ехать, сквозь зубы говоря стоящим у дверей ребятам:

– Отошли бы чуток, я бы вас там посадил... Первый раз, что ли?

Но, видно, контролер решила что-то узаконить и с остальными желающими, и потому ушла в автостанцию. Время шло, автобус все стоял. Сидящий в автобусе народ стал нервничать:

– С этой контролершей сроду так.

– Чего стоим то? Поехали, что ли!

– Давай, братан, крути баранку!

– Да он, видать, эту лупатую контролершу ждет. Решает она там чего-то! Решальщица.

– Знаю я ее, злобинская. Будку на материных харчах наживала, в город

подалась. Теперя её на кобыле не объедешь.

– Водила! На автобус из Плоского опаздываем!

Водитель уже впустил ребят-безбилетников, но все что-то медлил. И тут сидящий впереди меня мужик, крепко сжимая перед собой высокий верх сиденья синими от наколок руками, вдруг неожиданно громким, сиплым, голосом выкрикнул:

– Дайте, я её щас пойду порву, я ее... – Никто не держал его, он даже не привстал с места, а лишь нервно стучал кулаком по сиденью и резко ругал эту контролершу: – У, курва с котелком! Порву ее щас, только дайте мне её!

Водитель лязгнул дверями и тронул.

Уже когда приехали в Становую и на остановке ждали пересадки на деревенский автобус, я узнал его: это муж женщины, у которой я брал молоко. Она незаметно сидела с ним рядом. А он, худой, сухой, порывисто вставал со скамейки и то ходил около остановки, шагая широко расставленными ногами, то опять садился. Снова вставал, сипато и негромко, но как бы для всех говорил, направляясь за остановку:

– Пойду пос... – и вернулся, подтягивая штаны засунутыми в карманы руками. К перекрестку подъехала машина. Из нее вышел милиционер с зачехленным ружьем в руках, высоко задранном верхом фуражки, заломленной на затылок, и вразвалку пошел в сторону райцентра. Отошел уже порядочно, тогда кто-то из мужиков сказал:

– Вишь, пощё-ё-л! Фуражка как у Пиночета. Это зять Вальки Чумаковой пошел. Такой вредный, гад!

Хрипатый, с прищуром глядя вслед, тут же громко откликнулся:

– Подсидеть его, суку, где-нибудь всем вместе, да отметелить!

Он взялся снова нервно ходить, широко расставляя ноги, в четыре шага отмеряя остановку, как камеру, и каждый раз, когда подходил к ее углу, то заглядывал за него, и все смотрел в сторону медленно удаляющегося милиционера и катал желваки, едва слышно рычал:

– У-у, су-чара... Пиночетина... – Казалось, еще немного, и он сорвется. Но в это время подошел автобус.

Он так и просидел все полчаса, пока мы ехали до деревни, как окаменевший, ни разу не повернув головы: лицо худое, глаза в темных узких очках, тонкий нос и губы в профиль вытянутые как у уток, какими их рисуют в мультфильмах. А руки в наколках нервно сжимали исцарапанную металлическую трубку ручки на спинке переднего сиденья.

14

Встреча четырнадцатая

Уроки воспитания

До подмосковного городка, где живет мой приятель, путь недалекий, но добираться к его дому все время приходится по-разному. Метро, электричка или автобус. Рабочий поселок на краю городка, с перемешанными в нем постройками – тут и частные деревянные домишки, с сараюшками и покосившимися заборами, и двухэтажные, безо всяких удобств, щитовые постройки, с прогнившими и обвалившимися карнизами. Среди них глыбами торчат панельные многоэтажки с лестницами, разрисованными и расписанными высказываниями молодежи, пропахшими смесью запахов кошек, сырости и кухонного чада, несмотря на постоянную проветриваемость из-за разбитых окон. Эту окраинную неустроенность с лихвой окупает вид с верхнего этажа: внизу дворы ветхих двухэтажных домов послевоенной постройки, дальше – пруд, строчка улочки деревенских домиков с огородами и за ними – лес, тянущийся на север до горизонта, за которым серой, дымной полоской видится недалекий берег Москвы, обрывающийся у кольцевой скалами многоэтажек.

Нить разговора извилиста и непредсказуема; трудно понять, откуда берется у нее начало, где и когда будет конец. Жена приятеля Мария как-то

сразу ведет свой разговор, словно и не прекращался он с того раза, как месяц назад я гостил у них. Увидев нас в дверях, она лишь посетовала мужу, как обычно сетуют хозяйки, встречая приходящего с ним неожиданного гостя:

– Сереж, ты хоть бы позвонил, предупредил бы, что ли, что у нас гости будут, я бы прибралась, а то у нас беспорядок.

Мы досмеиваемся очередной истории, начатой еще в лифте, что сглаживает первые минуты неловкости, раздеваемся, заходим в кухню, откуда пахнет свежим жареном. Сергей, отвлеченный телефонным звонком, выходит в зал, и долго там кому-то что-то объясняет, а мы уже с полчаса сидим с Марией на кухне, и я слушаю ее рассказ, первое слово которого неприметно потерялось еще в самом его начале...

– ...Да он и не курил никогда. А вот Петя наш пробовал разок, так на всю жизнь запомнил. Он еще в садик ходил, ему годика четыре или пять было. А тогда еще жвачки такие продавались, в виде сигарет. А им-то, ребяташкам, интересно. Они видят – окурки, они их и в рот, а кто побольше – понимают, так и поджигают и – вроде как взрослые – «курят». Вот и Петя наш с ними. А Сережа в тот день так необычно рано домой вернулся и его увидал. Приходит домой и Петю приводит. Злой такой – увидел, что Петя-то наш на улице с окурком, и за руку его домой заводит. Петя – я уж вижу, испугался, отец-то его по дороге уже строго так отругал. Я думаю – что-то делать надо, не бить же его. Вот собрались мы, я и говорю: ну что ж, Петя, ты, значит, уже и курить начал... Он – молчит – перепугался. Ты же, говорю ему, знаешь, что люди-то разные бывают, и есть такие, кто на улице живет, бездомные – больные и грязные. Они курят и бросают, а ты окурки эти в рот берешь, вот и ты теперь нечистый, раз курить начал. И если куришь, то тебе с нами жить, как мы живем – нельзя: есть из чистой посуды, спать на чистой постели. Будешь теперь вот тут, в коридоре, жить. Я ему

постелила в коридоре какие-то тряпки на полу, дала миску старую и кружку с отколотыми краями. А Петя у нас такой всегда аккуратный – все чтоб у него было чистенько, да аккуратненько, а тут, значит, мы ему все, что похуже, да негоже. Ему уже этого-то одного достаточно. Показали ему эту постель, чашку, кружку поставили, и спать пошли. Не били, ничего, только отделили его. И свет везде повывключили. Легли, лежим. Слышу, плачет он. Плачет-рыдает. У меня у самой слезы, сердце прямо разрывается, и сама не знаю – выдержу или нет, а держаться-то надо...

Предлагая чай, Мария отвлеклась, и чуть «продернула» нить разговора:

– Чай-то зеленый пьете? Тогда вот мед в чашке.

Подает дымящуюся большую кружку, подвигает чашку с медом:

– Вот, Вам побольше кружку. Вы, знаю, много любите пить. – И, вздыхая, продолжает: – Эх, вот так бы меня если воспитывали. Я-то росла чистым ребенком, а меня три раза били родители, за то, что я гуляла с ребятами. Да разве битьем толку добьешься? Наоборот! Я первый раз, когда с парнем допоздна гуляла, домой пришла, а они меня бить! Так ведь толку-то никакого! Я ведь себе ничего не позволяла, а они прямо с порога – бить меня. У меня только мысль одна, когда я потом возвращалась домой – скорее бы меня побили – и все. А потом – снова. Да у меня еще больше задора становилось – я вот возьму, да завтра еще позже приду! Они-то за ночь наждутся меня, испереживаются, накопят в себе, и деру мне. А ведь стоило им в первый-то раз поступить иначе – и все было бы по-другому... Я, когда первый раз с парнем-то гуляла, домой не шла, а летела, как на крыльях: вот, думаю, сейчас домой приду, маме расскажу, какой он хороший, да как мне хорошо, да с мамой и поговорю. А мне вместо доброго разговора доброго полена родители мои приготовили. Вот так и пошло. А ребят у меня было много, но вот что удивительно – никто ни разу себе ничего не позволил. А уж

каких только прожженных у меня не было! Это я сейчас раздалась, а прежде худенькая была, хорошенькая. Я-то всегда активная была, комсоргом, а тут обо мне какую только славу не пускали, да мои же и подружки! Я, когда училище закончила, отправили меня на Урал, в одно село на практику. А в нем парень жил, о нем я еще в Свердловске слух слышала: ой, да как ты туда поедешь, да там такой-то-сякой живет, да он там всю округу в страхе держит! Мол, и тюремщик он, и за изнасилование он сидел, и чуть ли не убийца. Все село его боялось. Он, и правда, отчаянный был. А как меня увидел, стал мне внимание оказывать. Подружки мне тоже в один голос: – Да ты что! Он же насильник, ты от него подальше держись, зарежет еще. А он, вижу, не такой, как о нем говорят. Приходит ко мне чистенький такой, рубашка на нем белая всегда, выглаженная. Все зовет меня гулять. А я тогда в столовой работала, ему отговорку – мне некогда, дел у меня много. Он и говорит: что тебе нужно помочь – скажи только, я все для тебя сделаю. Ну, я, чтобы не идти с ним, чего только не придумывала! С неделю он мне и воду носил, и дрова колот – и все в белой рубашке. А как на другой вечер придет – и опять на нем рубашка белая да наглаженная. И ни слова плохого от него, никаких намеков даже.

Потихоньку разговорились с ним – а я все не хожу гулять-то с ним, когда он звал. Вот уже все дела он переделал. Мне уже и придумать-то ему нечего. А он тихий такой, робкий даже, и, чувствую, мне самой-то разговаривать с ним интересно. И вот как-то в разговоре речь зашла о лошадях. А я ему сказала, что люблю лошадей – страсть! И что ты думаешь – вот он на другой вечер пригоняет двух лошадей! Где уж он взял, я не знаю – может и украл, я только тогда об этом и не думала. Поедем, говорит, кататься. А на них даже седел нет, одеялка какая-то на одной – и всё. Я и не удержалась – до того захотелось покататься. Садись, садись, – говорит, – вот на эту, она посмирнее. Да как же

я поеду, у нее и повода-то нет. Садись, говорит, она тебя слушать будет. Подвел ее к скамейке, я прямо со скамейки на нее взобралась. А она, действительно, послушная, я припоровилась, ногой чуть направляю ее – она и поворачивает куда надо. И так мы с ним прокатились всю ночь. Катались, разговаривали. И – кто бы поверил – он такой добрый и наивный оказался – ну, как ребенок! Ну, а от деревенских-то не скроешь! Шептаться начали: Видишь, она с кем гуляет! Мы с ним идем по улице, а тетки, да бабки стоят, так он им из-за моей спины грозит так кулаком: мол, попробуйте только скажите про нее что-нибудь, – он думает, что я не замечаю. А мне смешно! И вот вижу я – ну совсем не тот он человек, каким его люди обрисовали. Да и попал он, видно, в тюремщики, по наговору или по ошибке – мало ли чего не бывает в жизни. Засудили человека, да славу по нем пустили, вот и готовый преступник, каким он сроду не был. А наивный! Вот гуляем с ним. Он то молчит, счастливый такой, а то вдруг остановится, на луну поглядит, да спросит: а ты не знаешь, отчего на луне пятнышки такие темные? Господи, наивный такой, да простой! Я ему и рассказываю – это, мол, кратеры, а это – лунные моря. Он слушает как дитё! Так и ходили, и он не то, чтобы под руку меня взял – и к мизинцу моему ни разу не прикоснулся, а не то, чтобы намекнуть на что-то.

И вот тогда поняла я, что нельзя верить наговорам, а надо прежде самому узнать человека, да к человеку по-человечески и относиться – тогда поймешь его. А я уж потом поняла, что он в жизни-то, наверное, ни от кого и слова хорошего не слышал, а как увидел, что я его слушаю, и внимание к нему есть, так он и раскрылся. Он оказывается, столько про свой край много знал! Столько мне всего рассказывал, что ни в какой книжке-то не прочитаешь. А как он травы знал! Каждую травиночку – как она называется, да от чего, от каких болезней. Дело-то весной было, так он все говорил: вот, погоди – сирень зацветет... А я что? Я-то, думаю: сирень – ну и сирень! А тут

в мае сирень зацвела, и мы ночью опять на лошадях поехали – он место знал, где целая роща сиреневая. И вот подъезжаем мы к роще, а она под луной как облако белое, въезжаем мы в рощу эту, в это сиреневое облако, а запах такой стоит, и соловей поет, ну, – красота такая! А лошадь моя, видно, запах этот почуяла, да как понесла! Они, лошади, к запаху чувствительны, а тут такой неожиданно сильный запах. Летит она, я упала на нее, а ветки сверху хлещут! Мне и страшно и смешно. А лошадь несет и несет, и чую, вот-вот я упаду – еду-то без седла. Так он догнал мою лошадь и прямо кинулся ей под ноги, да схватил. Как она его не затоптала только – не знаю, сама я почти без памяти от страха была. Только чую, остановилась. Гляжу – он лежит и ногу у лошади не отпускает, пока она совсем не успокоилась. Потом встает, а рубаша на нем разорвана, штанина прямо пополам, и ногу, видно, рассадил об корни.

Так мы с ним и проходили всю весну, и он ни разу меня не коснулся, и намека даже никакого не сделал. А в начале лета практика моя кончилась, мне нужно было уезжать. И вот он пришел и сделал мне предложение. У меня сердце прямо под горло подкатило: думаю, как же мне ему отказать, такому, чтобы не обидеть. Я тогда ему говорю: Хороший ты человек, Володя, и тебе соврать я не могу – у меня на сердце другой, как же я обману тебя? Попрощались мы с ним хорошо, и слов он мне хороших и добрых наговорил. Отлегло у меня на сердце – ну вот, слава Богу, и не обидела его. Попрощались, ушел он. А назавтра мне уезжать, а он вдруг приходит – лица на нем нет, и синий почему-то весь. Я уж думала, что распрощались с ним еще с вечера. Господи, говорю, Володя! Что с тобой? А у него, оказывается, вчера брат пришел из армии, и родня вся собралась встречать его. А тут Володя мой после моего отказа пришел, да в сарае и повесился. Его углядели, да из петли вынули, а самого связали – им-то праздновать хотелось братово возвращение из армии. Им долго возиться с Володей не хотелось – а ну как он возьмет, да опять чего-нибудь

с собою сделает. Они его тогда связали и куда-то в чулан сунули связанного. А он там всю ночь просидел, связанный-то, они о нем на радостях и забыли. Он аж посинел от веревок, как они его сдавили. Гляжу я на него... и жалко его, а уж ничего не поделаю. Вот так мы и расстались. Уехала я. Но с ним иногда встречались. Он потом, рассказывали мне, еще одну девушку полюбил – и так же беззаветно, как и меня. Только она оказалась гулящая, да еще и замужем. Он-то познакомился с ней, ходил, дружил. Она на курсах была, а потом уехала к себе, в Мурманск, кажется. Так он приехал к ней, а у нее, оказывается, муж. Он и не знал, а все равно, говорит – выходи за меня замуж, я люблю тебя. Ну, у него с мужем драка вышла. Муж на него кинулся. А виноватый-то Володя оказался. Муж милицию вызвал, а та долго не разбиралась. Как узнали о нем: А! так ты за изнасилование сидел! Вот тогда тебе еще срок, как рецидивисту. А какой он насильник! Я же вижу – он человек редкий по доброте, он и девушку-то и не знает, как за руку взять. Разве ж такие насильники-то бывают? А жизнь человеку испортили. Теперь уже и не знаю, что с ним. А жалко парня...

Мария поставила вымытую посуду в горку, присела к столу.

– А чего это я вспомнила про Володю-то?.. А! Я ж про Петю нашего рассказывала, как он курить-то вздумал. Лежит он у себя там на полу, на тряпках, плачет, я вся слезами обливаюсь, уж подушка вся мокрая у меня, а муж спит уже. И думаю, пойти к нему – не пойти? Уже было собралась вставать, слышу – он затих, всхлипывает только, и тихонько шлеп-шлеп к нам в комнату. Я лежу, затаилась. Подходит он, рядышком встал, долго стоял, а потом так тихо рукой руку мою гладит:

– Мама, – тихо так говорит. – Мамочка...

Я не знаю, как я не заплакала тогда. Сделала вид, что проснулась:

– Чего, говорю?

– Я, говорит, мамочка, никогда в жизни больше курить не буду, только заберите

меня обратно к себе, я как все хорошие люди буду.

– Никогда? – спрашиваю, а сама строжусь.

– Никогда больше, мамочка, – и в слезы, и рыдать! Я его к себе, как котенка, прямо к себе под одеяло. Он ко мне прижался, плачет, да и я с ним. Он и затих потихоньку. К утру подушка высохла, а с ней и горе. И с тех пор Петя наш зелья этого в рот не брал.

Мария длинно вздохнула:

– Эх... кабы нас так воспитывали.

15

Встреча пятнадцатая

Актерские байки. Отвальная история из жизни провинциальных актеров

Актеры – это по сути свой цеховой круг. Неважно, из какого театра, какого города актер – цех есть цех. В нем крутится сотня своих, известных каждому, неизменных баек. Таких же обязательных и устойчивых, неувядающих, несмотря на быстротекущее время, как и в любом другом «цеху», – у моряков, слесарей или летчиков. Окажись они в кругу коллег, собравшихся из разных мест, и они будут терпеливо ждать финала очередной рассказываемой байки. Там никогда не перебьют на полуслове словами: а, это я знаю! Ждут, не перебивая, часто сдержанно, и вежливое похатывание – свидетельство о всеобщей посвященности в ее историю и финал – и это очень ценно. Особенно если это актерский круг – ведь везде, в любом кругу, есть хорошие, талантливые рассказчики историй, а есть – так себе.

Впрочем, начало актерских историй весьма типично: «Были мы как-то на гастролях в Новосибирске (или Мурманске, или Чухломе)... и далее следует не сценический, но обязательный вводный эпизод, как актеры, «набравшись» в гостинице, ресторане или в гримерке, чудили. Или – неперенный рассказ о курьезах на сцене. Например, о том, как один

из студентов актерского отделения не мог запомнить пяти слов из роли... Обычная, самая распространенная история начинается со слов: «пили мы как-то раз с (тут называется громкое имя из созвездия актерского небосклона)». И дальше рассказчик удивляется не мастерству игры «звезды», а его способности выпить безмерно и потом выходить на сцену и успешно играть.

Вечером в гостинице одного из провинциальных городов, после второго съемочного дня, актер из Тамбова Жунтеев давал «отвальную». Собрались его товарищи-актеры и двое из массовки, с которыми он за эти два дня успел сдружиться и плотно познакомиться за столом. О том, что режиссеру не понравилось что-то в Жунтееве, открыто не говорили – друзья-актеры не хотели травмировать его, а сам он до этого ничего им не рассказывал – просто делал вид, что уезжает домой по срочным делам, да и «премьера на носу», и он там «занят». А еще вчера все, утвержденные на роли, находились в радостном возбуждении: и от предстоящих съемок, и от предполагаемых гонораров за целую съемочную неделю, и были убеждены, что уж Виктор-то Жунтеев просто родился для роли, как значилось в сценарном плане «Лопухого – простоватого мужика» – и своим простоватым, готовым вечно улыбаться, лицом, и оттопыренными от природы ушами.

Об истинных причинах отъезда все были «ни гу-гу», но Жунтеев после третьего тоста, довольный вниманием собравшихся товарищей, сам заговорил о «болевшем», как о своем «разводе с режиссером».

– Ну, не сошлись! Не сошлись – и все... И вы понимаете, – громко говорил он своим большим ртом. – Четыре дубля отыграли, опять – «мотор»! опять – «начали»! Я из массовки выхожу и даю свою реплику. А он опять кричит свое: Стоп! – бежит ко мне и аж трясется. – Тут Жунтеев, представляя режиссера, морщит лицо, вытягивает губы и гнусавым голосом сдавленно кричит: – «Не надо мне Шекспира. Зачем мне

Шекспир? Зачем, говорит, мне Шекспира среди баб и мужиков разводите! Говори проще!» Это он – мне: Шекспира не разводите! Я в одном только Моршанском театре четырнадцать лет отслужил! Я Тригорина репетировал у Муховецкого! Я двадцать шесть лет по театрам служу, а он мне – «не надо Шекспира». Ему, видите ли, не надо! – тут Жунтеев вернул лицу благородные, негодующие краски и поглядел вокруг помутневшими глазами. – Вы видали, как я перед камерой говорил, а?

– Да, уж видели...

– Вот! Это ж киношка, суета, мелочь, дребедень. А есть – сцена, она диктует! Я двадцать шестой сезон на подмостках, – начал повторяться Жунтеев, – а он мне – не разводите Шекспира! Хм!

– С Шекспиром, это он, конечно, маху дал... – уклончиво проговорил «молодой любовник» Вадимов, крупный малый, игравший в массовке фильма роль конвойного из цепи красноармейцев.

– Да он сам-то Шекспира читал? Спросите вы его!

– Сомневаюсь, – поддакнул обычно спокойный Рыжов, внимательно глядя в пустой стакан, словно ища в нем что-то.

– На-плюй! – громко, поигрывая басом, раздельно сказал комик Комлев, дотягиваясь до бутылки. – На-а-аплюй, сын мой, – снова говорил комик, играя низами, и показывал на стаканы ладонью, растопыренной, как у памятника Юрию Долгорукому в Москве. – Наплюй и налей – но не наоборот. – Он высоко поднял голову и обвел всех внимательным взглядом с прищуром. – И не делайте серьезных лиц, госпо-а, они вам не идут. Налил?

Жунтеев с решительным лицом разливал, все вздыхали притворно, но весьма убедительно, и держали наполненные стаканы с серьезными, как на поминках, лицах.

– Не отчаивайся, сын мой! Отчаяние паче... паче... этого... – Комлев потечески положил руку на плечи Жунтеева. – Ибо сказано в Писании: «Аще занует душа, сын мой многогрешный, то – выпей и закуси». – Комлев посмо-

трел в стакан, наметил траекторию и, зажмурившись, опрокинул его, успев сказать перед этим: – Поехали.

Компания дружно выпила, почему-то не чокаясь. Шумно втягивали носами воздух и шумно выдыхали, словно на очки, когда их нужно протереть. А Комлев, развернув грудь и смешно скривив губы, продолжал изображать «провинциального актера»:

– Не журысь, Вита! Я тебя знаю много лет и ценю твоё усердие в выпивке и стойкий характер. Ты ж не мальчик, но муж! У тебя за спиной столько ролей, что этот эпизод в твоей жизни – ну полное ничтожество! А потому – на-плюй. Да-а-а... Поиграл и я ролей за свою жизнь... Бывало, выйдешь на сцену в первом акте: «При-и-е-е-хали!», а в последнем акте, в финале: «Уе-е-ехали!». Ролли-ища!! А в зале, в тишине, только слышно: «тц!», «тц!» – бутоны в цветах лопаются!! Роли-и-ща!! Цветы – охапками!!! За кулисами да-а-а мы тяжелого поведения! Да-а, приходилось поиграть...

Все жевали молча. А Жунтеев уже не мог молчать.

– А ты скажи, Комель, на ком репертуар нашего театра держится? А? Нет, вы поглядите! На тебе? На мне? Тебя и Рыжова вот таку-усенькими буквочками на афише, а зато ее величество мадам Муховецкая в примадоннах! А нас с Рыжовым буквочками маленькими. Это что – дело? А, Рыжов? – апеллировал он к Рыжову.

Но Рыжов закусывал и неопределенно кивал. Комлев длинно втягивал ноздрями воздух и, терзая пятерней грудь, басил:

– На-а-плюй! И налей!

– Он же все её, все её, преподобную. Как же – жена режиссёра! Ха! Нину ей дает играть! Ха-ха-ха! – Жунтеев мелко тряся от смеха. – Ей только бабку, даму пиковую в день отпевания... – ха-ха-ха!

– ...Изыди, сын мой!

Сказать, что шумно было за столом – не очень. Скорее – громко. Потому как голос каждого говорящего рассчитан был не на тесные стены гостиничного номера, а на привычную сцену. А другие

молчали, ожидая время собственной реплики; это – профессиональное, актерское. Но – из-за возраста, опыта и общего признания, все уступали Комлеву.

– Во-от. Вы знаете, что я, к примеру, курсы гримеров закончил при Большом. Да!!! А как же! У меня и корочка была. Я имел право тогда «образ Ленина» делать! Грим, представляете – сколько волос на один грим надо было прошить...

– Да какие там волосы у Ленина, он же лысый!

– Да ты что – «лысый!» – Комлев обвел вокруг головы, как спутник пролетел. – А тут-то у него волосы вокруг, и каждую волосинку нужно на место! Лысый! Я с этой его «лысиной» неделю сидел. У нас в спектакле «Великие вехи» Муховецкий роль Ленина Лешке Брюхову дал. Ты Леху помнишь Брюхова? – Комлев наклонился к Жунтееву, снизу заглядывая в его сонные глаза. Когда их глаза встретились, задремывающий Жунтеев глубоко кивнул и оставил подбородок на груди. Комлев невыразительно поводит щепотью у живота: – Царствие ему... Поехали мы с ним в Новосибирск – там был филиал пошивочной, где имели право шить ботинки, галстуки для роли Ленина.

– Ботинки? Какие ботинки? – заинтересовался Жунтеев, приоткрыл глаза и оторвал подбородок от груди.

– Да! А как же! А! – вы молодежь, представления не имеете. Времена-то какие были – тогда сам горком утверждал актеров на роль Ленина. Лешку тоже вызывали. Он целый день перед этим не пил. Муховецкий его к себе в кабинет затащил, вот так себе в ладонь плюнул – хп-тьфу! Ты ж его руку видел? – Толкнул он Жунтеева, тот кивнул и опять уронил голову на грудь. – Ему ж не режиссером, а мясником на базаре только... плюнул – и в кулак свернул вот так вот – и Лешке под нос! – Комлев, держа волосатый кулак под носом Жунтеева, грозным полупшепотом заговорил сквозь зубы. – Выпьешь хоть грамм – я тебе не только роль Ленина, я тебе роль пня в «Лесе» Островского не дам. От «ёлок» отлучу! Чтоб ни грамма мне!

Всё! Сели, приезжаем в Новосибирск, ботинки ему по ноге заказали, они быстро пошили, считай, за сутки, мы толком с ним и погулять не успели. Померили – ага, как раз. Ну, и едем в аэропорт – в Толмачево. А там еще три часа до самолета. Мы, как положено – в ресторан. В общем, рейс мы пропустили. А следующий самолет аж через сутки. Едем на вокзал. Билеты взяли – опять три часа до поезда. Ну, мы ж актеры, наше место в буфете. Пропустили мы и поезд. Опять сутки ждать. Тогда мы в другой аэропорт решили ехать, откуда местные рейсы летают. Вышли из вокзала, а Лешку, как назло, – приспичило. Он к забору подходит, пристраивается. Я ему говорю: Леш, ты погоди, мы еще и от вокзала-то не отошли, иди в вокзал, там сортир есть. Ну, он артачится, уже в роль вождя входит: – я «Ленин», кричит, а ты, товагищч, кто такой! Ваш мандат! Всё, он уже в образе, и картавит, как положено, а сам так плечиком плотненько к забору прислонился и своё мокрое дело делает. А тут как назло – милиция подходит и его тепленьким, прямо под белые руки. Я им: товарищи милиционеры, вы не трогайте его, это актер известный! Ему заслуженного через месяц дают. Ну, куда там – они его уже в воронок затаскивают. Я им – он роль Ленина играет, у нас самолет улетает, а завтра спектакль. В общем, они ни в какую не верят – какой, мол, Ленин? Я им из сумки реквизит достаю: лысину, бороду с усами, галстук, показываю – вот, говорю, грим Ленина. Вы чего, говорю, образ вождя забыли? Мы его сейчас в вашей памяти восстановим. Вот галстук в горошек, а вот и ботинки. Да он сейчас, через пять минут Лениным будет. Хотите? Вот, смотрите – и начинаю Леньку гримировать. Прямо тут же, у забора. Он уже сам стоять не может, я им говорю: вы его, будьте добры, поддержите, а то это же сложный грим. Его в стационарных-то условиях четыре часа гримировать, а он тут падает. Они и вправду интерес неподдельный проявили, держат его, а я гримирую. Леха хоть и пьяный, а как только я ему лысину наклеил и бороду, так он руку вытянул вверх и

вперед, и картаво заговорил: «Таваищи! Пэалитаэская эволюция свеэшилась! Уа! Вы, Дзеэжинский будете охэанять эволюционные завоевания, а вам, товагищч Кэжижановский, я довегаю склады с пэовизией. Только в соответствии с вашей ээволюционной совестью – ни-ни, ни кусочка, ни бутылки – это социалистическая собственность, пэенадлежит всему наэоду»... и дальше по роли чешет. Помялись они, только шепотом театральным нам: заткнись, пожалуйста и идите оба отсюда, чтоб только вас здесь больше не видели!

– И что, успели в аэропорт?

– На этот раз уже успели, я его кое-как дотащил. Денег – понятно – уже не было, а лететь надо – завтра спектакль. Я Лешку там, в аэропорту, опять начал гримировать, прямо в зале. Милиция вызывает начальника аэропорта. Тот увидел – Ленин на лавочке пьяный сидит, да я еще говорю ему – завтра премьера, ему Ленина играть, он скорее нас устроил в какой-то «кукурузник» местный, в нем даже скамеек толком не было, а какие-то бочки и ящики. Я Лешку между ящиками уложил, жду, когда самолет полетит. А самолет все не взлетает. Я выглядываю в иллюминатор – там механик ходит вокруг самолета, что-то стучал-стучал, какие-то гайки на крыле завинчивал и матерился. Ему летчик: «Ну, чего ты там»? Тот рукой махнул и говорит: «А! Хрен с ним. Летите так!»

– А! – проснулся Жунтеев и поднял голову от стола. – А этот знаете? Анекдот... Двое... Актеры... Один говорит – ну что?.. Пойдем на грамзапись? А-ха-ха!.. Пошли! Идут в буфет... Так. Валечка, нам два по сто – и на меня запиши! А-ха-ха!

– О! Кстати, мысль хорошая! Давайте по сто! Кто за, кто против – единогласно!

Голова Жунтеева опять упала на грудь.

– Ну что ж, – вздохнул Комлев, часто и медленно моргая и, уже предчувствуя утреннее состояние, смотрел в налитый до краев стакан. – На грудь так на грудь. Прошу принять на борт «груз двести». Все готовы? Не все? Ну, тогда отойдите от люка.

И опрокинул стакан в широко открытый рот.

Утром Комик тяжело вставал с растерзанной, смятой за ночь, постели, распатлав волосы и находясь в прострации, ехал на съемочную площадку. Глаза его были закрыты и выражали неподдельное, неактерское страдание на лице, и уже на площадке, отойдя в сторону, с глаз помрежа по актерскому составу, хлебнув пива, постепенно осмысливал взгляд, блестел воспрявшими глазами и, проверяя низы голоса, громко выдыхал:

– О! О! О! Да-да-да!.. Нет-нет-нет! – и, ослабляясь со словами: – Вот и низы пошли. Без пива нет низов. – И еще раз утверждался, громко, отрывисто выдыхая: – О! О! – И запел, возрожденный, готовый к новому дню. – Отец Онуфрий, обходя окре-е-естно-о-ости-и-и...

Доставал из кармана смятый листок с ролью, бубнил, время от времени заглядывая в него:

– Усьгинья! Устя! Иде мой картуз? Ты маво картуза не видалэ-й? Ды идей жа он есть-та?

Примеряя голос к новой роли, он медленно отходил в сторону, изредка косясь в сторону помрежа – не смотрит ли, заходил за куст все с теми же словами, на минуту затихал. А через минуту оттуда уже громко, низко доносилось:

– Кхм! Кхм! О! О! О! Да-да-да!.. Нет-нет-нет!

Назад он шел, и тянул, играя низами:

– Отец Онуфрий, обходя окре-е-естно-о-ости-и-и...

И когда с площадки доносилось раздраженное, усиленное рупором-«матюгальником»:

– Да где он! Комлев! Вика! Съемка же срывается! Деньги капаят, свет уходит! Где этого Комлева черти носят! Уволю! – он бежал к площадке, мелко семеня, и входя в роль, подавал реплику: – Устинья! Усьтя-а!..

На соломе в тени сарая, лежали незанятые в сцене актеры. Жевали соломинки, глядели на суету подготовки к очередному дублю...

– Свет ушел. Пока солнце выйдет, пока настроятся – это еще часа полтора.

– Не меньше...

– Надо удочки купить, моя сломалась.

– О! Да я тебе подгоню с гонорара – высший класс. Карбон! Акулу выдержит. А ты на что ловишь?

– Ну... если на карася на прудового, то я запариваю...

– Э! Стоп, стоп! В культурной компании разговор должен быть общим – гласит правило этикета. А вы про рыбалку.

– Стоп! Хорошо, я не возражаю!

– А! Ты не возражаешь? Тогда наливай!

– А, ты в этом смысле? Можно, конечно...

Из соломы вынималась бутылка.

– Та-ак... А ничего пошла, – Комлев вытянулся весь и губы вытянул, сверху оглядывая восторженным взглядом. – Так вот: теперь о рыбалке!

– Я ж тебе говорю... – Рыжов хотел перебить.

– Стоп, стоп! – Комик вытянул палец вверх и обвел всех взглядом, а потом перевел на Рыжова и назидательно, успокаивая. – Хорошо. О рыбалке. Так вот. У нас в Воскресенске почти вся труппа, я мужиков имею в виду, поехала на рыбалку. Народ мелкий, молодой, в рыбалке ничего не смыслит.

– А насчет выпить?

– Ну-у... обижаетесь. Актера не всякий обидеть может. Так вот. Рванули мы с ночевкой. Поездом. Подъезжаем к разъезду – а еще в поезде приняли на грудь, как положено. Выходим – темнота страшная. Это ж – Сибирь! Не Тамбов же. Фонарики забыли. Валерка говорит: ничего, тут недалеко, тропка через тайгу идет – прямо к озеру. Там такой таймень! Давайте выпьем и пойдем. – Погодите, с выпивкой, давайте до рыбалки доберемся – кто-то из молодых умников, вроде тебя, говорит. Нет, – Валерка говорит, – нельзя традицию нарушать, раз мы из поезда вышли, значит, первый этап преодолели – надо дернуть. Ну, надо – так надо. Дернули по единой. Идем. Я ногами дорогу нащупываю. Сначала вверх: ага, Валерка говорит, это мы на

сопку лезем, сейчас будет вниз. Вот уже совсем внизу – здесь, говорит, уже и озеро где-то рядом, я, говорит, эти места с закрытыми глазами насквозь знаю. Ага, вон и вода блестит, и твердо под ногами – видно, натоптали рыбачки, значит, местечко-то рыбное. Бросай, кричит, рюкзаки. Давайте за прибытие дернем. Я говорю: чего мы, надо же костерок развести, палатку поставить, закидушки закинуть – все как положено. Да ладно, Валерка мне: у нас положено за прибытие – успеешь! И уже бутылку открыл, колбасу на пенке нарезал. А кругом темнота страшная, все наощупь. Выпили, конечно. Я все же настоял: пойдем хоть забросим, может, за ночь что-то клюнет. Пошли мы, закидушки размотали, а ни хрена ж не видно, видно только, что вода впереди под ногами блестит. Закинули наскоро, только успели сторожки воткнуть – нас Валерка торопит: где вы там есть, идите, хоть раз в жизни выпьем по-человечески! В общем, до костра дело так и не дошло, и как вечер закончился – неизвестно. А только просыпаемся уже в палатке – и ничего не поймем – уже рассвело, и слышим только, что машина сигналист и такой мат кругом стоит! Очухиваемся, вылезает мы из палатки, и видим такую картину: палатка стоит прямо посреди дороги, а чуть пониже – лужа большая, и прямо через лужу эту, и через дорогу закидушки наши заброшены, сторожки стоят. А рядом машина стоит – ей ни нас, ни наши закидушки никак не объехать, и шофер матерится.

– А вот ты еще хотел про кума хотел рассказать.

– Про какого кума? У меня этих кумовьев, как собак... У меня жен в три раза меньше, чем кумовьев.

– Ну, этот... который в рекламе в пиве тонул. Чего-то про курево.

– А! Про Валерку? Про Рябчика-Солодилова? Ну-у... это известная история! Приехал он к нам на гастроли. Вечером после репетиции пошли мы к нему в гостиницу. Взяли с собой две штуки вискаря «Блэйка» ноль семь...

– Ой, ой, прямо блэйка?

– А чего? Он только как раз гонорар за эту рекламу, за пиво, получил. Ты знаешь, сколько актерам за рекламу платят! Он и взял «Блэйка» две штуки. По ноль-семь. Выпили. Мало оказалось. Он в карман – и дает мне двести долларов – тогда только доллары ходили. Еще, говорит, сходи, возьми. А я пока покурю. Я ему: да ты что, кум! Я сам угощу! Ты, считай, у меня в гостях, раз приехал. Правда, чего там у меня в кармане было – то... Он барина из себя вообразил, ногу на ногу: иди, говорит, и пальчиком так... Ну, я сбегал. Только взять успел, а в магазине – р-раз! и свет погас. Хорошо, думаю – успел, а то бы касса тоже накрылась, мне бы тогда не продали. Выхожу – ничего себе – во всем районе света нет. И ты знаешь, почему света-то не стало?

– Почему?

– Оказалось, Валерка захотел покурить, пошарился, а спичек нет. Он тогда берет откуда-то три гвоздя. Откуда он их только нашел! Два в розетку сунул, а третий – раз! И сверху. Представляете – фейерверк! Во всем районе свет погас, какая-то подстанция накрылась, зато гвоздь аж расплавился! А я в потемках захожу, кое-как его нашел – а он сидит, и – представляете! Курит! Успел, паразит, от гвоздя прикурить. И песню поет. Свообразно, так: А речка движецца и не движецца... А уся из луннага серебара... А песня слышицца, а и не слышицца, то, што на сердце у ме-ня... Ногу на ногу, во рту папироску как сигару держит. И это «ц» прямо с потягом: «движецца и не дви-же-цца». Ну, барин соломенный! Да еще в образе, и мне говорит: тебя только за смертью посылать! Как же мы, говорю, ваше благородие, с тобой теперь выпьем-то? Ты ж как демон – темноту сотворил кромешную! Э! – говорит. – Стаканы у меня уже в руке, по булькам нальем. А ты мне только скажи – ты хоть одного человека в жизни видел, который стакан с закрытыми глазами мимо рта пронесет! А мы с тобой – актеры! У нас рука должна быть набитая. Так и пили в полной темноте.

– Эх, братья мои, лицедеи! Где ж я только не пил, и где я потом не оказывался. Как-то раз после генерального прогона мы с Лешкой выпили, а оказался бимбер какой-то, и меня заклинило. И оказалось, пришли мы с Лешкой в храм. Как мы там оказались – я уже и не знаю. Пьесу какую-то репетировали, и нужно было службу церковную играть – я не помню. Пришли мы в храм, сами уже в лоскуты, уже почти «положение риз» приняли, и мне почему-то не понравилось пение певчих. Неточно, мне показалось, они как-то пели. Я тогда сначала взобрался на клирос к певчим и стал их «править», а когда батюшка попытался меня успокоить, то я громовым голосом стал петь «молитвы», которые, по моему мнению, должен петь батюшка. Это мне уже потом Лешка рассказал, он что-то еще помнил. Нес там какую-то ахинею из Шекспира, что казалось мне «поцерковнее». Да еще взялся спорить с батюшкой! Говорю ему: отец святой, напрасно ты меня ущемляешь, еще в святом писании сказано: «аще заныет душа, то выпей и закуси». Нет, говорит батюшка, здесь тебе ни «святых отцов» в православном храме, ни слов таких ни в одном писании. «Да как же нет!» – я распаляюсь. Дай мне книги – говорю ему – я их тебе сейчас же и найду. О-ой! Срам головушке. Меня бы, дурака пьяного, надо бы в тычки из храма-то, а батюшка как-то словами урезонил меня, я и сам ушел.

Я как на другой день очухался, да услышал от Лехи эту историю, думаю – а ведь надо пойти покаяться. Несколько дней мучился, все же пошел после премьеры, принимали тогда хорошо, я на этом душевном подъеме и пошел не в кабац, а в храм. Пришел:

– Так и так, – батюшке говорю, – грешен, ничего не помню, лукавый попутал.

Он мне тогда такую епитимью наложил:

– Налагаю на тебя, сын мой, воздержание... И отлучаю тебя, сын мой, от пития крепких напитков на год, – сказал батюшка, и мне показалось, что

он при этом чуть улыбался. Вот – что это означает это его «чуть улыбался»: снисхождение, понимание, простую усмешку или даже издевательство? – никак не могу понять...

– Целый год не пить?! – воскликнули собутыльники.

– Ну... целый год.

– И как? Выдержал?

Комлев вздохнул; длинно, тяжело, как может вздохнуть человек, переживший известие об утрате родного ему человека:

– А куда деваться... Измучился. Извелся. Исхудал! Ровно год! – но, видно, мучило его еще и другое.

– И мучила меня все это время мысль о том, что же могла означать эта улыбка батюшки? Так она, его усмешка, и стоит перед глазами. Он что, не верил мне, или сверху вниз тогда на меня смотрел – мол, что он, выдержит ли? Неужели вытерпит этот срок? Ему-то что? Он сказал: «год»! Одно слово! Легко сказать – «год». Ведь, если подумать, он мог сказать и «полгода», или «месяц, или «неделю». Хо! – неделю! Неделю-то пустяки, я бы почти и не заметил бы – мы в тайге как-то сидели почти две недели без выпивки, когда все попили. А он сказал – «год». Но, с другой стороны, он ведь и запросто мог сказать: отлучаю тебя от спиртного навеки! Навеки!! – представляете? А он так усмехнулся и, – Комлев при этом сделал такой снисходительно-разрешающий жест. – «Отлучаю тебя, сын мой, на год»... Да тут

даже и не то, что он сказал: «отлучаю на год», а вот эти загадочные его слова: «от крепких напитков». Я-то поначалу, как вышел, сам не свой, из храма, так только одно в башке сидело – год не пить. Го-о-од! Целый год! Куда ни пойду, что ни делаю – все передо мной его слова – «год»! Тут роль надо учить, а у меня этот «год». На сцену выхожу, мне реплику по ходу пьесы подают: «и что же вам ответил маркиз на ваше предложение», а я прямо на автомате отвечаю: «сказал – год не пить». Смотри как засело! Но – держись. А потом, когда потихоньку в себя пришел, стал вспоминать его слова, его интонации, задумываться над смыслом его слов, что же они в точности из себя представляют: не пить крепких напитков. Чуете разницу слов – «крепких». А пиво? Вот мука-то была. Пить или не пить – вот в чем вопрос оказался. Вот вам Шекспир, вот вам страсти вовсе не сценические!

– Да-а-а... – почему-то враз, и глубоким пониманием отозвались актеры, весь актерский цех.

– Ну, давайте по единой – и шабаш. – Комлев длинно, тяжело вздохнул, посмотрел на стакан, потом на уснувшего за столом Жунтеева. Похлопал его по спине: – Витька, Витька... спи спокойно, дорогой наш товарищ. Завис ты теперь, не судьба тебе третьи сутки домой в Тамбов выбраться. Тебе-то хорошо – отыгрался, теперь хоть выписься. А нам завтра еще играть. Мотор! Поехали!

Ирина НАБАТНИКОВА

Ирина Набатникова родилась в 1969 году в городе Термезе. Окончила педагогическое училище. Работает в детском саду. Живёт в Бийске.

Пишет давно, но в печати ещё нигде не «засветилась».

Это её первая публикация.

Поздравляем!

Резцом поверхность разровнял,
Под рост, заботясь, подгонял.
Из палисандра посох ладил,
Как будто руку друга гладил.
Опора нужная в пути,
Чтоб легче было Ей идти.

– Вот, мама, посох в помощь Вам,
Его я нынче сделал сам.
Он посмотрел в Её глаза
И взглядом мысли рассказал.

– Да, время вспять не потечёт...
Я, словно на твоё плечо,
Устав, на посох обопрюсь...
Уйдет усталость. Схлынет грусть...

ИЗДАЛИ

Я – маленькая.
Жалко мне до слёз:
Там, на кресте,
Распят Христос!

За то, что людям сострадал,
За грех их жизнь свою отдал.

– За что его палач убил?
Ведь и его Христос любил!
Я плачу, жалкая, кричу:
– Его я смерти не хочу!

Душе ребёнка не понять,
Зачем кому-то умирать.
И хочет он скорей расти,
Чтобы Христа с креста спасти.

Толпа отхлынула в молчанье...
И только долгий, скорбный звук,
Одно унылое звучанье –
Гвоздя вбиваемого стук.

Душа из мира улетала,
Стремилась прочь из этих мест.
Какая же рука тесала
И мастерила этот Крест?!

Та ночь грозою насыщалась,
Выл волком ветер леденящий...
Огнём Небесным очищались
Голгофа, Крест на ней стоящий...

ВОЛЕЦ

Расседлав, коня увели, –
Приручить никак не смогли.
Осталась открытою рана, –
Выкрали жизнь у цыгана!

Не понять «оседлым» позор
Воли, спрятанной за забор.
Так устроена кровь вольца –
По степи бродить без конца!

Ветра плач в вихрах ковыля,
Вдаль дорога зовёт, пыля...
Не удержит душу забор,
Где травую пахнет простор...

В небе табор зажёт костры,
Бурей кони храпят, быстры...
Отболела душа, не плачь...
К Богу ромал несётся вскачь!

У КРАЯ НОЧИ

Под небом зеркало разлито,
Как будто на краю земли.
За облаками звёзд не видно.
Туманы на воду легли.

И капли тяжелей металла
Стекают с мокрого листа.
За дальним кряжем рассветало...
Но здесь таилась темнота.

И в этой темноте сакральной
Скользили духи в тишине,
Как за кулисой театральной,
Слова нашёптывали мне.

Я, им внимая, с упоеньем
В себя событие приняла...

В ту ночь свершилось Откровенье.
К нему причастна я была....

Сергей КУЗИЧКИН

*Сергей Николаевич Кузичкин – прозаик.
Главный редактор альманаха «Новый Енисейский литератор».
Член Союза писателей России.
Живёт в Красноярске.*

СНЫ ПИНОККИО

Пиноккио попробовал открыть глаза. Огни, хлопки, торжественный вой сирены, большой зал и сцена, на которой стоял человек во фраке в окружении людей, говоривших хвалебные речи, – всё пропало. В одно мгновение. Было – и нет.

Влажные липкие веки не хотели разжиматься, и он потёр шершавыми пальцами сначала правый глаз, потом левый. На зрачки упал свет от горевшей на кухне неяркой лампочки. Сознание вернулось, и Пиноккио определил: он лежит на боку на диване в маленькой комнатке своего маленького домика, в брюках, в старом, давно не стиранном свитере с глухим воротником. Лежит на левой руке, затёкшей и онемевшей. Он пошевелил пальцами – от локтя к ладони мурашки забегали под кожей; кряхтя, повернулся на спину. Пружины старого дивана заскрипели. Пиноккио растёр затёкшую руку и заскрипел зубами. Когда под мурашками пробежало тепло, он, опираясь на правую руку, сел. За тёмным, незавешенным окном ветер порывами бился в неплотно закрытую форточку, придерживаемую загнутым расхлябанным гвоздиком, а дождь стрелял по стеклу порциями дробинки и, едва стихнув за окном, убежал на крышу, но быстро возвращался и снова стучал в стекло и переплёты.

Опять этот сон. Аплодисменты...

Дождь колотит, а снится, будто аплодисменты. Да и спал ли он? Был в какой-то полудрёме, только руку отлежал. А может, всё же уснул? Уснул ненадолго, впервые за двое суток. Кольнуло в правом боку, потом заломило поясницу. Пиноккио поёжился, почувствовал, что ему холодно. В доме печь не топилась дня четыре, а может, пять. Пиноккио

не помнил дни, он потерял им счёт, потерял к ним интерес. Он помнил, что не так давно начался октябрь, необычно холодный в этом году, то с нудным, весь день льющим дождём, то с каким-то свирепым ветром, то с дождём и ветром одновременно. С усилием поднявшись, сжимая и разжимая пальцы левой руки – продолжая разгонять мурашки, Пиноккио доковылял до кухни, ощущая под пятками через дырявые тонкие носки холодный пол. На столе, среди кусков зачерствевшего хлеба, поломанной полбуханки, надкусанных солёных огурцов и сальных шкурок, он не нашёл ни бутылки, ни стакана. Пустой стакан стоял на холодильнике рядом с будильником. Стрелки часов показывали начало шестого. Пиноккио определил: наступило утро – и заглянул в небольшую щель между холодильником и столом. Бутылка стояла там. Пиноккио подхватил её за горлышко затёкшей рукой, вытянул на свет. Там оставалось! Сантиметров на пять бутылка была наполнена. Веселая, Пиноккио попробовал вспомнить, почему он запрятал бутылку туда, но с ходу не смог, а напрягаться не стал – откинул пробку на стол, налил в стакан. Стакан взял сначала правой рукой, потом перехватил его левой, уже не чувствуя её затёкшей, сделал глубокий вдох, быстро перекрестился и быстро выпил. Спирт обжёг полость рта и, проваливаясь через горло к желудку, пошёл по пищеводу жгучим ручейком. Пиноккио схватил огрызок огурца, сунул в рот, помог рукой несколько раз сжаться непослушной отвисающей челюсти. Дожевав и проглотив солёного, он вернулся обратно в комнату. Подойдя к дивану, Пиноккио поправил замусоленную подушку, при-

лёг, на этот раз на правый бок, подогнув ноги калачиком, накрылся телогрейкой, до того скомканно лежавшей у него в ногах. Через минуту по желудку началось обратное движение. Организм стал отторгать выпитое. Пиноккио сжал зубы, с достоинством переживая внутренние толчки. Наконец в животе заурчало. Спирт прижился и теперь растекался и разлагался на составные его части. Пиноккио почувствовал пробегающую тёплую волну. Ему стало хорошо.

Восьмилетний мальчик шагал по городской улице на своё первое занятие к учительнице музыки и нёс в большой картонной папке ноты. Почему он знал, что мальчику восемь лет? А может, уже девять или даже десять? Он был уверен, что восемь. Девять мальчику должно исполниться в октябре, а сейчас август, он перешёл в третий класс, в июне его записали в музыкальную школу, а перед началом учебного года родители мальчика договорились с учительницей на несколько частных уроков. Накрахмаленный ворот белой рубашки стоял над воротником пиджака, волосы кудряшками падали на край воротничка, и если бы не школьный костюм, то со стороны мальчик был бы похож на маленького оперного певца или на юного Робертино Лоретти. Мальчика и прозвали Робертино. Ещё в первом классе, когда на первом же уроке пения он звонко спел: «А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер...» – учитель пения, отложив баян, сказал: «Ну, ты прямо как Робертино...», – а через неделю уже вся школа – ученики в лицо, а учителя за глаза, – звала мальчика Робертино.

Мальчик подошёл к высокому зданию, с усилием потянул на себя ручку большой тугой двери подъезда. Дверь, сопротивляясь, открылась лишь на несколько сантиметров, и мальчик не вошёл, а протиснулся в приоткрытое пространство.

В детстве этот сон ему снился часто и с подробностями. Улица, по которой шёл мальчик, и двор большого высокого дома,

куда он заходил, были ему знакомы – будто он сам не один раз проходил там. Он запомнил людей, шедших навстречу мальчику, помнил вывески магазинов с обеих сторон неширокой улицы, деревья, арку и двор с детской площадкой, песочницу, цветочную клумбу, два легковых автомобиля у подъезда.

Впервые он увидел этот сон, когда ему было восемь лет. Проснувшись, он почувствовал себя тем мальчиком и долго не мог прийти в себя, не понимая: где он и что делает в этом доме, пахнущем невысохшим бельём, висевшим над печкой и прямо над его головой, вдоль дивана. Ему захотелось побежать, догнать мальчика с нотами и сказать ему, крикнуть в лицо: «Это я, а не ты, должен идти на урок музыки! Я! Я должен быть на первом уроке!»

– Володька, вставай, я ухажу на дойку, покорми поросят, дай зерна курам и в школу собирайся! – привёл его в чувство окрик матери, и он понял, что уже не догонит мальчика с нотами, прозванного Робертино.

В детстве, да и в юности, мать, родные и двоюродные её сёстры, их мужья и их дети звали его Володькой, Володей, Вовкой. Одноклассники – Вованом. Учился Вован плохо. Особенно математика никак не давалась, позже потерялся в предметах по химии и физике. Как и некоторых других, учителя тянули его, оставляли «на осень», но переводили, давая возможность закончить восьмилетку.

Володя-Вован жил с матерью в посёлке, имеющем статус «городского типа» и находившемся в двенадцати километрах от районного центра. Население посёлка наполовину состояло из бывших политических и уголовных заключённых. Сразу после войны вдруг нагнали сюда военных, которые стали на окраине копать и ставить заборы. Не прошло и полугода, как появилась ниже по течению речки немалая по территории зона для заключённых и были выстроены солдатская казарма, в принципе тот же барак, и двухэтажный штаб управления, получивший в простонародье название

«управа». Новизна встряхнула до того, казалось, дремавший сибирский посёлок, а по сути тогда – деревню, жители которого (или которой) до того трудились на лесоучастке и на ферме, где содержалось небольшое дойное стадо, – второе отделение расположенного в райцентре колхоза. Вместе с зоной образовались свиноферма, леспромхоз, пилорама, гараж с десятком не виданных раньше здесь автомобилей – лесовозов. С конца сороковых до середины пятидесятых годов пилорама тарыхтела, не умолкая, днём и ночью, по дорогам посёлка с утра до ночи с рёвом лесовозы везли лес-кругляк. А ещё нередко было слышно на весь посёлок, как взывала над зоной по ночам сирена, лаяли до одури собаки и потом солдаты прочёсывали дома и огороды в поисках сбежавших зеков.

За пять лет до рождения Вована, почти в одночасье, большая часть осуждённых вдруг получила свободу, зону закрыли, в спешном порядке увозя куда-то не подлежащих амнистии заключённых, бараки переоборудовали под жилые квартиры, а в штаб-«управу» въехал поссовет. После реорганизации посёлок увеличился по площади едва ли не в два раза. В принципе, после того как убрали колючую проволоку и снесли забор, получился новый гражданский посёлок, вошедший в состав уже существующего, записанный в официальных бумагах как Ударник, но в быту продолжаемый именоваться Зоной. Многие из бывших зеков уехали, но немало и осталось жить в той же самой Зоне, в тех же самых перепланированных под квартиры бараках. Поляки, литовцы, латыши, украинцы, белорусы, евреи, поволжские немцы – кого только не было там. На другом конце посёлка целыми улицами жили татары и башкиры, обосновавшиеся здесь ещё до войны, а то и до революции. Улицы эти так и назывались: Татарская и Башкирская. «У нас тут как в Москве или в Одессе, а может, и того хлеще – разного народишку, – говорил некто Чугунов, по кличке Балабол. – Такая шпана союзная, что окна надо на ставни со стальными заглушками закрывать, не то, пока спать будешь,

рамы вынесут – и не услышишь, а к утру уже пропьют – и концы в воду».

Как узнал Вован позже, Чугун-Балабол сам сидел здесь за кражу. Пригнали его по этапу из Пензенской области, откуда он был родом и где научился обворовывать соседей. Отбыв своё, Балабол в родные края не поехал, а, оставшись в посёлке, устроился в жилищно-коммунальную контору и много лет руководил звеном ассенизаторов из четырёх человек. После освобождения женился на одинокой женщине с ребёнком, которая родила ему ещё двоих. Один из них – Сашка – стал приятелем Володи Вована. Володя не раз видел четвёрку людей с лопатами и мётлами на разных улицах посёлка – вычищающих помойки и туалеты, возглавляемую Чугуном-Балаболом. Люди в звене и машины для вывозки нечистот менялись, но Чугунок был незаменим. Неизменно, будь то зима или лето, он сидел в кабине автомашины, рядом с водителем, и давал своим подчинённым громкие команды. Бывало, правда, и сам выходил – махал киркой, раздалбливая заледеневшие помои, или бросал мусор большой совковой лопатой, успевая при этом рассуждать о быте, политике и текущем моменте. Володя много раз бывал в доме у Чугуновых, и каждый раз Балабол говорил без умолку, рассказывая жене и детям разные истории, применяя при этом ругательные слова и лагерные выражения. Какие слова были ругательными, мальчишки поняли через некоторое время, немного повзрослев, а тогда, от шести до девяти, они к месту и не к месту применяли выражения, услышанные от Балабола, за что не один раз Володина мать била сына по губам. Порой принародно.

От родных Володя знал, что отец, как и Балабол, отбывал здесь срок, а потом работал на ферме скотником. Там и познакомился с матерью, поселился в домишке, где жила ещё и бабушка. Когда Володя родился, отец, рассказывали, затосковал: стал говорить о своей родине – Брянщине, звать мать туда. А потом поехал – вроде бы узнать, что там и как, – и не вернулся. К матери позже сватались несколько

кавалеров, даже при Володе приходили, приносили водку и закуску – колбасу, селедку, иногда яблоки и конфеты, но мать больше на уговоры не поддавалась и говорила сёстрам и подругам: «Хватит с меня и одного брянского волка». Так что своего отца Володя не помнил.

В детстве он любил петь. На застольях, которые по праздникам и дням рождения устраивали родственники матери, его в разгар веселья ставили на стул и он пел. Пел то, что слышал и запоминал с малых лет. В основном – застольные песни, что горланили хором родственники: «Бежал бродяга с Сахалина...», «Шумел камыш, деревья гнулись...», «Ой, мороз, мороз...». Особенно, даже на бис, шёл «Камыш». Захмелевшим мужикам особенно нравилось в его исполнении то место, где были слова: «А поутру они проснулись, кругом помятая трава...», и его просили повторить. Он повторял. Ему хлопали и, смеясь, говорили матери: «Да он у тебя, Варвара, настоящий артист, отдай его в музыкальную школу». Но мать отмахивалась: «В музыкальную деньги платить надо, а где мне их взять? Алименты на него не получаю, а моей зарплаты на харчи бы хватило да на форму ему школьную».

В музыкальную школу ходила его одноклассница татарочка Венера – Венерка, как её звали дети. Всегда улыбающаяся, с двумя неизменными косичками, в тёмном школьном платье с белым воротничком, она играла на баяне на утренниках, и несколько раз учитель пения заставлял Володю исполнять пионерские песни под аккомпанемент Венеры. Володя пел до четвёртого класса, а потом перестал, несмотря на уговоры, а затем и угрозы учителя пения.

Пел Володя ещё и потому, что в то время сон про мальчика с нотами по прозвищу Робертино всё чаще и чаще снился ему.

А мальчик пел в хоре. Сначала он стоял во втором ряду на подставочке. Откуда-то снизу грохотала музыка, свет прожекторов словно возвышал сцену, на которой «подковкой» выстроились дети:

мальчики в чёрных костюмчиках и с «бачками», девочки в школьных платьицах.

«Сигнальщики-горнисты...» – сливались детские голоса с музыкой. Музыка на минуту затихала, и тогда стоящий в полукружье солист в пионерской форме трубил в горн, а потом снова взрывались музыка и хор.

Мальчику было уже десять, он стоял почти в самом центре «подковки» и с усердием тянул: «Навеки – наша правда, и память – навсегда!»

Сон этот повторялся нечасто, но приходил к Володе под утро не один раз в течение примерно полугода, и Володя запомнил лица некоторых ребят, трубочка, сцену и слова песни. Слова преследовали его днями, не оставляя ни дома, ни в школе. Поскольку учитель пения почти на каждый праздник включал в выступление школьной самодеятельности номер Володи с Венерой, то Володя, набравшись смелости, предложил ему попробовать «Сигнальщиков-горнистов». Учитель пения, называемый всеми учениками Пенником, был на деле хорошим профессиональным музыкантом, тоже из бывших зеков, несколько лет участвовал в лагерной самодеятельности, подбирал музыку к словам поэтов-невольников и имел опыт организации разного рода музыкальных мероприятий, а ещё чутьё на потребность публики, а главное – начальства. Поэтому, смекнув, в чём может быть его выгода, Пенник сразу вцепился в предложение ученика и буквально через пару дней к дуэту Володи и Венеры присоединился горнист. Номер, выданный новым трио на 23 февраля, вызвал всеобщий восторг и был признан лучшим. Эмоции переполнили директора школы, он распорядился наградить почётными грамотами исполнителей и пообещал отправить их на районный слёт пионерских дружин. Награждение намечалось на май, на день рождения пионерской организации, и оно состоялось, только без Володи, неожиданно для всех отказавшегося петь.

Как только не уговаривали юного солиста учитель пения и директор школы, чего только не обещали и чем только не страшали. Из уст преподавателей Володя узнал много нового о себе и окружающем его мире. И то, что от таланта до подонка можно преобразиться за пятнадцать минут, и что его «бедная и одинокая мать, выбивающаяся из всех сил, чтобы тянуть его, оболтуса», может тут же стать, мягко говоря, «бессовестной женщиной», едва ли не проституткой, и то, что школа собиралась отправить его с Венеркой летом в Артек, а теперь вопрос стоит об его исключении. Во время уговоров и угроз Володя молчал, опустив глаза. И это молчание dokonало директора с Пенником. Продолжающаяся более часа обработка закончилась тем, что по приказу директора Пенник вышвырнул Володю за шиворот из директорского кабинета в коридор, а потом, видимо, войдя в раж, обзлённый, уже без всякого директорского указания, вытащил его во двор школы, завёл за угол и дал ему под зад здоровенного, до боли, пинкаря.

Из школы его не исключили. Вызвали на педсовет мать: песочили её, довели до слёз. Володя не выходил из дому больше недели, пока не пришла учительница младших классов и не уговорила пойти в школу. На первый же урок заглянул директор; убедившись, что Володя в классе, ничего не сказав, удалился. На уроке пения Володя сидел молча, даже не пробуя, как другие пацаны, имитировать пение, и Пенник, отводя от него взгляд, не сделал в его адрес замечания.

Никто не знал тогда, да в принципе и не узнал потом, почему Володя перестал выступать. А дело было в том, что Володя, становясь взрослее, неожиданно для себя сделал вывод: его скромные успехи мешают Робертино. Володе казалось, что он своим стремлением петь отбирает у мальчика силу, ослабляет его талант. Эта мысль так крепко проникла в Володино сознание, что он решил больше не петь.

А мальчик уже стоял отдельно от хора на другой, ещё более светлой сцене, обращённый лицом к огромному залу, и

пел: «Что тебе снится, крейсер "Аврора", в час, когда утро встаёт над Невой?..»

И хотя мальчик был в том же самом тёмном костюмчике и той же «бабочке», он казался теперь серьёзнее и увереннее.

«Ветром солёным дышат просторы, молнии крестят мрак грозовой...» – подхватывал хор за мальчиком, а мальчик, казалось, взлетал над залом и летел, летел...

Летел вслед за песней.

Некоторое время Володя просыпался с чувством полёта. Ему казалось, что он вот только что был под облаками. Весь день он, сам не зная чему, радовался. Его даже не огорчали плохие отметки. Когда его вызывали к доске и задавали вопросы, на которые он не знал ответа, Володя молчал и улыбался. Учителя и одноклассники осторожно смотрели на него, но выводов, видимо, не делали. Да и не каждый день Володя был в состоянии полёта, и не каждый раз молчал у доски – иногда что-то всё-таки отвечал, и ему даже, бывало, ставили четвёрки.

Так вот, с натугой, дошёл Володя до восьмого класса, а там и, с горем и удачей пополам, получил свидетельство об окончании неполной средней школы. Его, Саньку Чугунова и ещё нескольких горе-учеников в школе настойчиво попросили в девятый класс документы не подавать, а идти в открывшееся не так давно в «зоновской» части посёлка ПТУ. По сути, их экзаменовали и выдали им свидетельства с условием. Они и пошли в ПТУ, где было три отделения. Парней учили работать на пилораме и ремонтировать автомашины, а девушек варить суп и стряпать пирожки. Вместе с Чугунком Володя записался в группу автослесарей.

Два года учёбы в профтехучилище прошли легко и запомнились Володе тем, что спрашивали там меньше, чем в школе. Запомнились обеды, а особенно их послеобеденный зимний футбол, когда они гоняли мяч по заснеженному полю, порой утопая в снегу, не глядя на время, иногда прихватывая практические занятия. Часто игру их заканчивал мастер

производственного обучения. Появляясь на стадионе, он сначала негромко, а потом криком призывал своих учеников закончить матч, а когда понимал, что крики бесполезны, выбегал на поле, перехватывал за несколько попыток мяч и загонял неостывших и потных игроков в автомастерскую. Никогда мастер их за это не наказывал и даже не ругал особенно. Так, бранился, улыбаясь.

За два пэтэушных года сны о мальчике редко посещали Володю. Он видел его несколько раз, но не в зале, а в каком-то репетиционном классе, с учителями. Это был уже скорее не мальчик, а юноша. Его уже не дразнили Робертино, а звали Димой. Дмитрием. Дима пел, останавливался и начинал снова. Володя чувствовал его волнение, боялся за его меняющийся голос. Дима жил строго, под постоянным наблюдением педагогов и врачей, ограничивал себя в еде, соблюдал режим и выдержал. Голос Димы не сломался, а, наоборот, окреп и выплеснулся в баритон. Перед самым уходом в армию Дима приснился Володе исполняющим романсы. Сцена была небольшая. Дима стоял у пианино, на котором играла молодая женщина. «Гори, гори, моя звезда...» – летели слова над умиленными немногочисленными зрителями, а потом – «Средь шумного бала...», «Очи чёрные», «Вдоль по Питерской...». А вот однажды он спел так, что...

Год после окончания ПТУ, до ухода в армию, Володя работал в автомастерской леспромхоза. Это было, пожалуй, самое романтическое для него время. Работа слесаря по ремонту автомобилей ему нравилась, нравился и коллектив – опытных и молодых. В принципе самый молодой был сам Володя, и так получилось, что он один из всей группы выпускников ПТУ работал по специальности. Его друг Сашка Чугунок, проявив неожиданное рвение к учёбе, окончив училище с повышенным разрядом, получил направление в техникум, большинство ребят из его группы, воспользовавшись случаем, по объявлению

военкомата пошли на курсы шофёров, а ещё несколько парней, достигших совершеннолетия, осенью ушли в армию. Володе до совершеннолетия оставалось больше года, и он, не ища обходных путей, трудился там, куда его направили. Как говорил часто встречающийся ему отец Чугунка – Балабол, дело у него было нехитрое: «Крути себе болты и гайки и плюй в потолок». Володя в потолок не плевал, но болты и гайки крутил, а ещё снимал и устанавливал на место двигатели, отдавал на расточку токарю и фрезеровщику валы, сам нередко становился к сверлильному станку. Через год он повысил квалификацию – выдержал экзамен на четвёртый разряд. А ещё за этот год он получил среднее образование. Двухгодичное обучение в профтехучилище полного школьного образования не давало. За первый – теоретический год и второй – практический учащиеся проходили курс по облегчённой программе вечерней школы за девятый и десятый классы. Но облегчённая программа была одиннадцатиклассной, и одиннадцатый класс нужно было заканчивать в вечерней школе, или, как её ещё называли, школе рабочей молодёжи, ШРМ. Охотников ходить в ШРМ-«вечёрку» было немного, поэтому преподаватели школы выискивали на предприятиях молодых людей, не имеющих среднего образования, и с помощью личного убеждения и с нажимом на руководство и профсоюзную организацию заманивали в школьные классы. Володю заманивать было не надо – послушав речь директора школы на профсоюзном собрании, он сам пришёл в школу рабочей молодёжи.

Нельзя сказать, что в «вечёрке» Володя проявлял рвение, но в школу ходить ему хотелось. Возраст учащихся 11-го класса колебался от семнадцати до пятидесяти. Более чем доверительное отношение преподавателей к ученикам выражалось в первую очередь тем, что двоек они не ставили, а в случае неответа на поставленный вопрос просили найти время почитать учебники и дать ответ на следующем уроке. И этот педагогический подход приносил свои плоды. Редко кто

из учеников «вечёрки» не мог дважды ответить на один и тот же вопрос.

Володя снова оказался в одном классе с музыкантшей Венерой. Венера после восьми классов уезжала в город и полгода училась в культпросветучилище, но что-то там у неё не получилось, и она вернулась домой, устроилась в вечернюю школу лаборанткой и совмещала работу с учёбой. Не один раз за осень и начало зимы Володя и Венера шли вместе из школы по тёмным улицам посёлка, несколько раз они задерживались возле дома Венеры на Татарской улице и, несмотря на дождливую или прохладную погоду, не расставались ещё часа по два. Один раз дело дошло до поцелуя. Правда, не долгого любовного, а короткого, скорее братского. Володя несмело поцеловал Венеру, а Венера позволила ему это. Оба сделали вывод, что их отношения уже готовы перейти на новый уровень и всё идёт к тому, что...

На другой вечер, провожая Венеру, Володя готовился не только к новому поцелую, но и признанию в своих чувствах, уверенный в том, что Венера его поймёт и не отвергнет. Однако порыв его был остановлен неожиданно появившимся отцом Венеры – Романом.

Не ответив на приветствие Володи, Роман, сверкнув чёрными, как антрацит, глазами, приказал Венере немедленно идти домой. Три дня её не было ни на работе, ни на уроках. Володя несколько раз проходил мимо её дома, но, как ни старался, ни увидеть её, ни узнать о ней ничего не смог.

Они встретились морозным вечером в середине декабря, и Венера рассказала Володе, что отец её не против лично его – Володи, но она, Венера, едва ли не с рождения обещана в замужество сыну то ли друга, то ли дальнего родственника отца, живущего где-то около Набережных Челнов. Венера ни разу не видела своего суженого, даже на фотографии, хотя про обещания отца слышала с детских лет. Большого значения словам отца она не придавала, но, как оказалось, всё было серьёзно, и дело откладывалось лишь до совершеннолетия Венеры. Восемнадцать

ей исполнялось в марте. Ждать весны Роман не стал и вызвал сватов сразу же после того, как понял, что Венера уже взрослая. За ней приехали в канун Нового года и увезли в далёкий татарский посёлок на берегу Камы-реки.

Примерно с месяц Володя тосковал сильно. В первые дни нового года было особенно невмочь – не находил себе места: уходил на лыжах в лес, бродил по посёлку, ездил в райцентр – посмотреть на большую ёлку, стоящую на площади между районным советом и райунивермагом. Хандра не проходила. Ему снилась и снилась Венера, смотревшая на него с укором, словно говорившая ему: «Ну зачем, зачем ты меня отпустил?..» И вот однажды ему снова приснился Дима... Даже, скорее, не он, хотя в этом сне он был главный, а песня... Там были такие слова:

*Нет солнца без тебя,
Нет песни без тебя.
В мире огромном
Нет без тебя тепла...*

И дальше – поразительно и прямо в сердце:

*В целом мире я один,
Я самим собой судим.
Я не смог любовь спасти.
Ты прости меня, прости...*

Володя просыпался в слезах и плакал. Плакал тихо, чтобы не слышала мать. Слезы лились ручьём, он не мог их остановить и вытирал, вытирал. Вытирал рукавом, носовым платочком, краем наволочки.

*Зов в памяти моей,
Зов звёздных витражей.
В сердце осталась
Музыка давних дней... –*

преследовали и преследовали его слова песни.

Окончания зимних каникул он ждал с нетерпением, и встреча с одноклассниками «вечёрки» несколько развеяла его

грусть. Почти все мужчины 11-го класса школы рабочей молодёжи были хоккейными болельщиками. Спорили на переменах, говорили о хоккеистах и командах, за которые болели. Самый старший в классе ученик – пятидесятилетний Василий Саввич, кладовщик леспромпхоза, – предложил споры упорядочить и «поиграть в прогнозы». Для этого он выписал в тетрадку весь календарь чемпионата страны по хоккею, разлиновал около десятка колонок и стал записывать желающих угадать счёт. Сначала в список Саввича попали два добровольца, потом ещё четверо, среди которых был Володя, а когда на уроках вполголоса, а чаще шумно на перемене Саввич начислял отгадавшим счёт призовые очки, все пустые клеточки в тетрадке кладовщика быстро заполнились. На стихийном собрании прогнозистов было решено: после окончания чемпионата дружно пойти в поселковое кафе и в складчину чествовать победителя конкурса. У Володи появился новый интерес, он переписал у Саввича календарь чемпионата, проставил свои прогнозы и по утрам стал слушать «Маяк». Первое время некоторые прогнозы Володи сбывались, и он даже был в числе лидирующей тройки, но уже во второй половине февраля далеко в отрыв по набранным баллам ушёл Саввич. Володя к этому относился спокойно, хотя особо яростные болельщики стали подозревать ведущего дневник прогнозов в махинациях. Впервые публично заявил об этом кочегар поселковой больницы Пётр Михайлович, называемый всеми Михалыч. Михалыч был немногим младше Саввича, а потому говорил с ним на равных.

– Чё-то ты там, мне кажется, мудришь, – сказал он однажды после того, как были объявлены результаты очередного тура и Саввич записал себе несколько призовых баллов. – Что-то очень часто стал отгадывать. Ты там, случайно, стиральной резиночкой, как у себя на складе, не балуешься?

Возмущённый Саввич остаток перемены с жаром убеждал всех собравшихся возле него, что он, «в отличие от неко-

торых, таскающих к себе вёдрами уголь с государственных кочегарок», никогда приписками не занимался и за двенадцать лет его работы кладовщиком «ни одна ревизия не обнаружила ни одного неучтённого им болта или гайки». На уроке Саввич молчал, о чём-то думал, а на следующей перемене поставил вопрос ребром: «Или все переписывайте прогнозы в свои тетради и ведите параллельный со мной подсчёт, или освободите меня от подсчёта вовсе». Большинство голосов (восемь против одного Михалыча) Саввич был оставлен председательствующим конкурса прогнозов, хотя несколько человек всё же решили последовать его предложению и поочередно на уроках переписали прогнозы себе в тетрадки. Остальные делать этого не стали, смирившись с тем, что Саввич лидерство никому не отдаст.

К апрелю Саввич действительно далеко оторвался от преследователей и победил в конкурсе. Отметить его победу решили накануне майских выходных, и вечером в пятницу группа прогнозистов и примкнувших к ним товарищей отправилась в кафе. Событие отмечалось шумно и весело, едва ли не до полуночи. Подвыпивший Саввич несколько раз просил развлекающих посетителей музыкантов (двух гитаристов и солиста) спеть им «Трус не играет в хоккей», но те уклонялись, ссылаясь, что не знают ни музыки, ни слов, и пели свои незнакомые учащимся ШРМ песни. В одной из них были такие слова: «Папа подарил, папа подарил, папа подарил ей куклу». Песня эта исполнялась за вечер несколько раз и откровенно раздражала не только Саввича и Михалыча, но и некоторых других, более молодых, посетителей кафе. В конце концов захмелевшие посетители стали выражать своё недовольство свистом. Официанты попробовали возмущавшихся успокоить и даже припугнуть милицией, но те не успокаивались («Не на тех напали, мы свои права знаем и всякую муру слушать не желаем»), требовали директора или администратора. Когда же человек, назвавшийся администратором, к ним

подошёл, Саввич с Михалычем настояли на прекращении музыки и удалении музыкантов со сцены. Музыкантов, под одобрительные возгласы посетителей кафе, после переговоров удалили, после чего удовлетворённая компания всё-таки хором спела «Трус не играет в хоккей». Чествование Саввича и торжества отечественного хоккея затягивалось и продолжалось бы до утра, но в половине двенадцатого официанты объявили: кафе закрывают. Неугомонный Саввич предложил взять с собой ещё пару литров водки и продолжить банкет у него дома. Инициатива большинством была одобрена, и шумная компания направилась через весь посёлок на одну из «зоновских» улиц, к дому Саввича. По дороге Саввич снова затянул было хоккейную песню, несколько человек её подхватили, но пение шло вяло, слова выкрикивались вразнобой. Видя, что патриотический подъём стал затухать, Саввич снова не растерялся и неожиданно для всех закричал: «Папа подарил, папа подарил...» – «Папа подарил ей куклу!» – подхватили в порыве все, включая Володю.

Володя впервые в жизни тогда выпил водки и захмелел тоже впервые. Ему было хорошо в тёплой, своей компании, у него приятно кружилось в голове, и он шёл вдохновлённый и радостный по улицам родного посёлка. Но несмотря на всеобщую эйфорию, компания по мере продвижения редела. Некоторые из её состава, уже сильно захмелев, отставали от общей группы и сворачивали к своим домам. Заметив это, недалеко от своей улицы остановился и Володя. Подумав, что ему, наверное, для первого раза выпитого хватит, он тоже свернул к дому. Отряд под предводительством Саввича, казалось, не заметил потери в своих рядах и шёл дальше, продолжая кричать о том, что «папа подарил ей куклу».

Володя тихонько, чтобы не разбудить мать, открыл двери своим ключом и юркнул к дивану. Уснул он быстро, и всю ночь снились ему кафе, Саввич с Михалычем, музыканты и официанты, а в ушах и в голове крутилась песня: «Папа

подарил, папа подарил, папа подарил ей куклу...»

Наутро Володя чувствовал себя нехорошо. Его тошнило, кружилась голова, и всё время хотелось пить. Впервые в жизни он выпил и теперь впервые болел, что называется в России, «с похмелья». Впрочем, что такое похмелье и как надо похмеляться, он не знал. Узнал позже, и потом не один раз в своей жизни проклинал он тот вечер, когда впервые выпил.

Но это было потом, спустя годы. А тогда, едва его отпустила хворь, он с упоением вспоминал посиделки в кафе, разговоры, песню о хоккее и шумную прогулку по улицам посёлка, и не один раз после этого мечтал он посидеть в такой же весёлой компании. В июне такая возможность представилась. Отмечали окончание школы. В честь такого дня его отпустили с работы. Накануне вручения аттестатов староста класса собрал со всех по три рубля. Володя не знал, зачем собирают деньги, но раз надо, то надо – сдал, не задавая вопросов. Вручение аттестатов проходило в кабинете литературы, а после всех пригласили в самый большой школьный класс – кабинет физики, где уже были накрыты столы. И тогда только Володя понял: будет обмывка аттестатов. Директор школы, завуч, все без исключения преподаватели и выпускники – общим числом застольная компания составляла около полсотни человек. Первый тост говорил директор, второй – завуч, на третий было намечено слово классному руководителю, но его опередил быстро захмелевший Саввич, начавший свою долгую речь с признания в любви школе, директору, всем поимённо учителям. Потом он перешёл на личности выпускников, начав с девушек и женщин, вспомнил своё детство и, наверное, говорил бы так, не смолкая, до заката солнца, если бы его не остановил завуч, тоже любивший поговорить не только на уроках.

Володя много не пил. После второй рюмочки ему вдруг взгрустнулось – вспомнилась Венера. Ведь она тоже могла быть сейчас здесь. Посидев ещё с полчаса,

Володя вышел на крыльцо с группой желающих покурить и незаметно ушёл.

Летом он был занят работой, ходил на тренировки местной футбольной команды, играющей в первенстве района, и два раза тренер выпускал его во втором тайме против футболистов райцентра. Голов Володя не забил, но старался, за что получал одобрение опытных футболистов, говоривших ему, что через год-два он станет хорошим игроком.

Ну, а в третий раз случилось Володе сидеть в большой компании и пить водку в октябре, когда в армию забирала первую группу призывников из их посёлка. Володя уже знал, что ему назначено на 12 ноября, и готовился: подписывал обходной в конторе леспромхоза. С подписями не торопился – ходил несколько дней и однажды, возвращаясь из конторы, встретил возле «зоновского» магазина Михалыча.

– Ну, тебя мне сам Бог послал, – сказал, увидев его, обрадованный Михалыч. – Я сына в армию провожаю – завтра уходит, а мне нужно целый ящик водки взять. Ты помоги мне бутылки по сумкам растолкать и до дому донести.

Они растолкали двадцать бутылок «Русской» водки в четыре небольших сумки и пошли в глубь «зоны», где рядом с трёхэтажными новостройками в своём доме жил Михалыч. Большой каменный дом, с летней кухней и баней во дворе, возводился параллельно с трёхэтажками, скорее всего, из того же кирпича, что и «небоскрёбы», а потому фона не портил, ладно вписываясь в их бело-кирпичное окружение.

Михалыч ещё по пути объяснил Володе:

– Повестку Толику только вчера принесли, что, мол, завтра заберут. Я не поверил, поехал в военкомат, говорю: «Почему такая спешка? Других вон за две недели предупреждают, а моего почему-то срочно: ту-ту – и труба зовёт. Неужто в спецвойска?» А военком мне: «Может, и заберут его в спецвойска, я не знаю, а пока срочно призываем потому, что заболел один из призывников райцентра, который должен был идти в этой коман-

де. Ваш сын был в резерве, его в команду пока не определяли – хотели в конце ноября, если понадобится, призвать». Ну, срочно так срочно – какая разница когда? Всё равно в армию идти надо, раз в институт не поступил. Поэтому, Вовка, и срочно водка в таком количестве нужна.

Рыжий Толик, сын Михалыча, был Володин одноклассник, но учился на класс младше. Володя его знал и несколько раз встречался с ним на футбольном поле, когда мальчишки их улицы играли против «зоновских».

В доме столы были накрыты, народ слонялся по двору и сидел на крыльце. Женщины лузгали семечки, мужики курили. Ждали водку. Собравшихся проводить Толика, по поселковым меркам было достаточно – около полусотни. Володя встретил некоторых педагогов и учащихся «вечёрки». Был и Саввич, приветливо помахавший Володе, когда всех пригласили за стол.

В тот вечер Володя впервые напился до беспамьятства. Как это получилось, он не мог потом понять. Помнил, что выпил две-три рюмки «под тост», когда говорили сначала Михалыч: «Служи, сынок, не подводи», потом Саввич: «Давай служи, Толян, как надо, не подводи отца», а затем и сам призывник. Призывник просил женщин не плакать: «Не на войну иду», – и призвал всех к танцам. Танцевали между стоящими вдоль стенок столами. Володя тоже выходил в круг, потом подсел к Саввичу, и они выпили. Потом его потянул к себе Михалыч, и они тоже выпили. После Володя выпивал с призывником и его приятелями, потом с какими-то приехавшими из райцентра девчонками. В общем, пришёл в себя он на веранде, лежащим на старом диване. Проснулся оттого, что замёрз. Возле дивана на полу лежали Саввич и ещё какой-то мужик. Над дверью горела тусклая лампочка, а из дома доносились голоса. Володе было дурно. Тошнило, кружилась голова. Он поднялся и хотел было выйти во двор, но, перепутав двери, вошёл в дом. За столом сидело несколько человек во главе с Михалычем. Увидев Володю, хозяин, подняв руки над голо-

вой, захолопал в ладоши и приветливо, даже радостно поманил гостя:

– Давай, дорогой, иди сюда. Сейчас мы тебя опохмелим.

Володя замахал в ответ руками, думая отказать, но не тут-то было. Михалыч поднялся из-за стола, взял его за руку и посадил рядом.

– На, садани полстакана самогоночки, голова на место встанет, – Михалыч налил из бутылки пахнущей до тошноты жидкости, подвинул стакан Володе. – Выпей залпом, не нюхая и не думая ни о чём, – враз полегчает. Годами на себе проверено.

– Полегчает, полегчает... – закивали сидящие напротив них мужики.

Привыкший верить старшим, Володя взял стакан и сделал так, как сказал Михалыч, – выпил не думая.

– Ну и молодец, – одобрил Михалыч, глядя на морщившегося Володю и подвигая ему закуску. – На вот огурчики, грибочки, закуси сразу.

Володя почувствовал, как обожгло у него всё внутри, схватил руками маленький огурчик и стал быстро жевать.

– Теперь точно жить будешь, – Михалыч похлопал гостя по плечу. – Минут через десять прими ещё, и обязательно полегчает.

Мужики о чём-то заговорили, а Володя действительно почувствовал облегчение и вторые полстакана выпил уже безбоязненно.

Пил ли он в третий и в четвёртый раз, Володя потом не мог вспомнить. Он снова очнулся на диване, когда уже было светло. Его растолкали. Все уходили провожать призывника. Володю штормило, рвало. Он отстал за оградой от весело шагавшей к автостанции компании и пошёл домой. По пути несколько раз останавливался, не в силах сдерживать в себе рвущуюся из него стихию.

Мать была на ферме, и Володя, укрывшись с головой и ногами, лёг на диване. Мать пришла после обеда, посмотрела на сына, покачала головой, а потом принесла ему капустного рассола. Володя выпил и снова укрылся. Сна не было, его постоянно подташнивало, и он то и

дело говорил сам себе, что пить больше в жизни никогда не будет. Знать бы ему тогда, что это было лишь начало и та похмельная болезнь его не была такой уж большой бедой. Все беды его придут позже, и все до одной – через начинающуюся вроде бы безобидно весёлую попойку.

Года полтора после этого Володя действительно не пил. Помня похмелье, он воздержался от выпивки на своих провинциях, которые прошли, конечно же, не так размашисто, как у сына Михалыча. Но человек двадцать и у него было. Родственники матери, Михалыч с Саввичем, приехавший из техникума Санька-Чугунок. Заглянул к ним и Балабол – выпил пару рюмок и говорил до полуночи без умолку. Мать, Санька-Чугунок и ещё несколько материнских родственников поехали проводить Володю в райцентр, на вокзал, и когда новобранцев посадили в вагон, долго махали ему, пока поезд не отправился. Володя смотрел на них из окна и тоже махал. Он заранее тосковал по всем своим родным и знакомым, по посёлку, по Венере, но всё же уже жил предчувствием перемен и новой надеждой.

Впервые за восемнадцать лет своей жизни он оказался вдали от дома, от матери, от родных, друзей и знакомых. Перемена пугала своей неизведанностью и радовала возможностью побывать в других краях, посмотреть на новых людей. Володя попал сначала в учебное подразделение, а через полгода наводчиком орудия средних танков, был направлен в числе других выпускников «учебки» в Забайкалье, на самую границу страны, в недавно созданную там воинскую часть. Нельзя сказать, что всё у него складывалось вдали от дома хорошо и гладко. Были трудности, связанные с переменной образ жизни. Особенно первые дни и даже месяцы. Но ничего, вытерпел, втянулся. В новой воинской части по сравнению с учебной было меньше муштры и разного рода построений, но зато больше выходов в караул, нарядов по кухне, выездов на учебный полигон. Выезд на полигон считался праздником для солдат и сер-

жантов. Особенно когда дело не было связано со стрельбами. Полигон расширялся – строились новые командные пункты, копались траншеи. Как правило, с апреля по октябрь на полигоне постоянно жили в палатках по двадцать военнослужащих срочной службы и один офицер. Работа продвигалась медленно – не хватало то кирпича, то цемента, и многие дни солдаты занимались лишь тем, что играли в футбол, готовили завтраки, обеды и ужины, ходили по ягоды, за грибами и едва ли не каждый день топили баню, парясь до одурения. На втором году службы Володя практически не выезжал с полигона. Работал на прокладке кабеля и установке подъёмников для мишеней. Вместе с приятелем по учебной части, никогда не унывающим татаринном Юркой Мадзагировым, они, бывало, оставались на полигоне вдвоём, когда «полигонщиков» по каким-либо причинам вывозили в часть. Общаясь с приятелем, Володя отмечал про себя некую похожесть в поведении Юры и Венеры, невольно вспоминал Венеру, думал: как она там, в Татарстане? Воспоминания наводили на грусть, и Володя, когда было невмоготу, уединялся. Бродил по окрестным сопкам и околкам или читал книги. Конечно же, странности его не могли остаться незамеченными, и однажды, глядя на тоскующего приятеля, Юрка к обеду достал из своего тайника бутылку «Русской» водки. Они выпили, закусили тушёной говядиной из банки, поговорили о футболе, кино, вспоминая фрагменты шукшинских фильмов «Печки-лавочки» и «Калина красная», громко смеялись. Захмелели они быстро, бодрости и веселья добавилось, но быстро и поняли – одной бутылки им маловато. Юрка снова полез в свою заначку, сообщив, что припасал ко дню рождения – к двадцатилетию, но «раз пошла такая пьянка...»

В ту ночь Володя во сне снова видел Диму-Робертино. Впервые за время службы. Возмужавший Дима пел в небольшом заведении, скорее всего, кафе или ресторане:

*Лети, мой конь, лети
За синие моря,
Пока хватает сил,
Пока горит заря.*

Дима был одет в простенький клетчатый пиджачок, из-под которого торчал ворот бордовой рубашки без галстука. Две девушки в коротких платьицах стояли чуть поодаль и подхватывали:

*Лети, мой вороной,
За облачную даль.
За дальней стороной
Живёт моя печаль.*

Вид у Димы был весёлый, но Володя почувствовал, что его что-то тревожит, что переживает он не лучшие свои времена.

Дима пел радостно и улыбался. Весело играли музыканты, веселилась публика и хлопала в ладоши.

А потом...

Потом Володя увидел серьёзного человека, грозно отчитывающего Диму и говорившего, среди других слов, такие: «Талант загубить просто, сохранить – нелегко... Подумай об этом...»

Дима соглашался, кивал, а потом снова пел, и снова – в том же заведении:

*Оседлаю вороного поутру...
Напослед пройду по отчему двору.
Не печалься, мать, о сыне,
Если сгину на чужбине.
Бог не выдаст,
Так и я не пропаду...*

Володя проснулся. В палатке было уже светло, но песня не кончалась.

*А пока неси меня, мой вороной,
По туманам над высокою травой,
Над горами, облаками
Сколько мы с тобой искали.
Выручай в последний раз меня, родной.*

Песня вырывалась из Юркиного транзистора. Пел Муслим Магомаев.

*Лети, мой вороной,
За облачную даль.*

*За дальней стороной
Живёт моя печаль.*

Юрка же стоял у входа палатки. Гудела разожжённая печурка, сотворённая умельцами из толстой стальной трубы, поставленной на землю «на попа», на приваренный к ней стальной прямоугольник. Подождённая солярка, наливаемая в печурку через отверстие-воронку, накаляла трубу до красноты от воронки почти до середины. Ярко-красной труба была особенно в том месте, где были проделаны по кругу несколько отверстий, через которые поступал воздух. Этот придуманный кем-то способ обогрева был прозван военными «Поларисом», в честь американской ракеты. Видимо, начинённая горячей соляркой печка-труба гудела так же, как ракета при запуске.

– Дождик, падла, закапал, – увидев, что Володя проснулся, сказал Юрка. – Чё делать-то будем? Сегодня воскресенье. Наши только завтра к обеду, не раньше, из части доберутся. Может, мне в деревню сходить, продать тушёнку да ещё водки взять?

Володя не возражал. Юрка накинул плащ-палатку, уложил в вещмешок с десяток банок тушёной говядины и отправился в поход за двенадцать километров, в небольшое село с популярным в России названием – Солонечное.

Володю немного мутило от вчерашней выпивки, а потому он, умывшись и добавив в «Поларис» солярки, снова прилёг на нары. Транзистор был включён. Шёл концерт по просьбам трудящихся. Снова объявили песню в исполнении Муслима Магомаева. «Элегия», – объявил диктор, и вдруг...

*Нет солнца без тебя,
Нет песни без тебя.
В мире огромном
Нет без тебя тепла... –*

вырвалось из эфира и понеслось по палатке, встрепенув память, заставив сбиться с ритма сердце и разбудить чувства.

Промокший Юрка пришёл часа через три. Принёс две бутылки водки, помидоров, огурцов, редиски.

– Мне дедок один прямо с грядки огурцы и редиску дал, – пояснил приятель. – Я к нему к первому подошёл: смотрю, мужик в огороде под дождём что-то ковыряется – я к нему. Показал тушёнку, он торговаться не стал – согласился на литруху, овощей дал, а ещё его бабка меня окрошкой угостила. Хорошая, холодненькая такая. На квасе.

– А что с собой не принёс? – попробовал улыбнулся Володя.

– Да не во что налить было! – продолжив шутку товарища, сверкнул глазами довольный Юрка.

После первой стало теплее. После второй ударились в воспоминания о жизни на гражданке. Причастившись к стакану в третий раз, Володя разоткровенничался и рассказал приятелю о своей несостоявшейся любви.

– Да-а! – выпив и закусывая огурчиком, произнёс Юрка, выслушав рассказ о Венере. – Мы, татары, люди злые – у нас ножики большие. Это так мой дед говорил, когда пошутить хотел. У нас в семье никто не настаивает, чтобы женились на своих девчонках, но есть, знаю, такие, кто только на своих. Этот Роман, видать, тоже из них.

Юрка налил ещё по одной.

– А я рад, что никого себе до армии не завёл, – сказал он. – Думай о них ещё. А как кого встретит и вильнёт хвостом? Тут и в жизни разочароваться можно. Правда? Ты же почти разочаровался?

– В любви, а не в жизни, – уточнил захмелевший уже Володя.

Открывая вторую бутылку, они перешли на анекдоты и шутки. Первым полез отдохнуть на топчан Юрка, а Володя пару раз подливал ещё солярки в «Поларис», а потом тоже прилёг.

Заснули они крепко и не слышали: как кончился дождь, как перестала гудеть труба в потухшем «Поларисе», как подъехал к палатке ГАЗ-66.

Не разбудил, а растолкал их и привёл в чувство командир роты, приехавший с несколькими солдатами ближе к вечеру. Как понял приходящий в сознание Володя, ротный приехал оценить готовность полигона к предстоящим стрельбам и

был сильно удивлён, увидев водку, закуску и спящих нетрезвых солдат. Рассвирепевший старший лейтенант, быстро дав распоряжения остающимся на полигоне бойцам, приказал провинившимся приятелям собрать вещи и следовать к машине.

– Вы у меня больше полигона не увидите! – кричал он. – До конца службы будете дневальными по роте. Днём и ночью к тумбочке прикованными стоять будете! Про знаки «Отличник боевой и политической подготовки» забудьте, и звания сержантов перед дембелем вам не видать.

Сержантов приятели действительно не получили и первую неделю после прибытия в роту были бессменными дневальными. Но потом ротный остыл и под конец службы выдал им знаки отличников. Казалось, он забыл о проступке своих солдат, но это только Володе казалось. В этом он убедился, когда на полк пришла разнарядка из Москвы. Набирали добровольцев – увольняющихся в запас воинов – на строительство Олимпийской деревни. Страна ждала Олимпиаду, а строителям обещали после окончания игр жильё и московскую прописку. Володин знакомый, можно сказать – тоже приятель, писарь из штаба, вписал было его в список претендентов, но когда дело дошло до командира роты, фамилию Володи вычеркнули. И вместо столицы отправился он после увольнения в родной посёлок.

А возвращаться не очень хотелось. Да, он скучал по матери, по двоюродным братьям и сёстрам, по посёлку, но осознание того, что больших перемен, на которые он надеялся, не случилось и снова придётся вернуться в маленький материн домишко, в автомастерскую леспромхоза, к привычной доармейской жизни, тяготило. Он предчувствовал: если вернётся домой, в родной посёлок, то не вырвется из него до конца жизни.

Перед увольнением в запас, примерно за неделю до отъезда из части, Володе снова приснился сон про певца Диму.

Дима пел в опере. Огромная сцена большого города расстилалась перед ним; вокруг сновали актёры в дорогих

костюмах, играя свои роли; громадный, полный зрителей зал то замирал, то взрывался аплодисментами. Дима пел на иностранном языке, наверное итальянском, и город, в котором он пел, был, скорее всего, итальянским. Володя видел близко лицо Димы – довольное, со скрытой улыбкой, и его глаза – сияющие и восторженные. Володя был рад за него, и даже мысль, крутившаяся в это время в голове, подталкивающая к зависти, не омрачала радости.

«А ведь это мог быть ты, мог быть на этой сцене, и все эти восторги и всплески могли быть для тебя... Ты же несколько не хуже его! Ты мог петь ещё лучше, чем он, но ты спрятал, зарыл свой талант, и теперь его не выкопать! Время ушло! Ушло от тебя к нему. Тебе никогда не достичь успеха! Никогда и ни в чём...» – внушал ему, говорил на ухо, нарачивая и нарачивая тон, потусторонний голос, но Володя заглушал его улыбкой и победил. Голос умолк, а Володя проснулся счастливым и гордым, довольным, будто не приснившийся ему певец Дима, а он сам только что пел на самой престижной оперной сцене мира.

Задумывался ли он в те годы: почему сон про одного и того же человека снится ему постоянно и не хочет отпускать? Скорее, не задумывался. Удивлялся, бывало, от неожиданности приснившегося, думал о мальчишке, а потом о юноше и молодом человеке всегда легко и с удовольствием и иногда, бывало, ждал и хотел, чтобы Дима снова приснился ему, а он ещё раз порадовался бы его новым успехам. И он каждый раз радовался, когда это случалось, и каждый раз кто-то невидимый внушал ему, что Дима занимает его место, что все успехи юного артиста только оттого, что он, Володя, отказался тогда петь в школе...

Внушение и самого внушителя из мира снов Володя тоже воспринимал с улыбкой, считая успехи Димы ненастоящими, сонно-сказочными, но хотел, чтобы сны-сказки не кончались.

И они продолжалась. Время от времени он видел в своих снах уже взрослого человека, опытного певца, исполняюще-

го арии из опер или популярные песни на концертах. Чаще слушал, не вдаваясь в смысл, ловил восторженный миг происходящего, и чувства переполняли его. Бывало, он просыпался с заплаканными глазами, но лёгким сердцем, бывало – возбуждённым и готовым творить хорошие дела всем без исключения людям Земли. Но иногда, как в детстве, он запоминал слова из арий и песен, а потом, услышав их по телевизору или радио в исполнении известных артистов, переживал двойственное чувство. Восторженная душа его хотела воспринимать только Димин голос, только его исполнение.

И иногда, подвыпив, он возмущался и кричал в экран телевизора:

– Вам что, других песен мало? Что вы парню дорогу переходите?

С годами, сначала вроде бы ровно идущими, а потом словно побеговыми вперёд и мало что меняющимися в его жизни, пить стал он чаще. Ещё более зачастил, когда началась в стране перестройка, а после смерти матери уже и не представлял свою жизнь без выпивки.

Пиноккио встрепенулся. Короткая дрёма вновь отступила.

Возгласы «браво», завалы цветов на сцене, огни юпитеров – всё снова растворилось в неярком свете бьющей из кухни лампочки. Пропавшие видения были настолько яркими, что казались реальными, такими же, как комната, диван, неяркий свет. Пиноккио не сомневался – это он стоял сейчас на сцене, и цветы, и возгласы, и всё, что ни происходило там, было для него. Только для него и ради него.

Пиноккио повернулся на спину, подтянул телогрейку ближе к подбородку, стараясь согреться.

«Раздвоение...» – мелькнула не пугающая его мысль.

«У тебя раздвоение личности... – так сказала ему Венера, когда он признался ей, что видит сны про оперного певца. – Тебя психологу бы показать хорошему.

Не нашим, наши точно в психушку упекут...»

«Так это я от Венерки вчера бутылку спрятал... – вспомнил Пиноккио. – Она же вчера заходила... Хлеба принесла, крупы гречневой, сала... Да, ещё денег немного дала из моей пенсии!»

Мысль о нерастроченных ещё деньгах согрела озябшего было Пиноккио, и он, отбросив телогрейку, шустро соскочив с дивана, кинулся на кухню, к вешалке, к старой замусоленной курточке, сунул руку во внутренний карман.

«А! Есть! – рука нащупала несколько бумажных купюр, немедленно извлечённых на свет. – Молодец, Венерка! Венерочка!»

Венерка-Венерочка встретила его через шестнадцать лет после их прощального вечера. Она вернулась в родные места из Набережных Челнов с двумя детьми, похоронив мужа. Он встретил её в «зоновском» магазине и – сильно изменившуюся – едва узнал. Из весёлой, улыбающейся девчонки Венера выросла в статную серьёзную даму. Работала она в районном центре, в службе социального обеспечения, и в то время организовывала филиал службы в их посёлке. И она едва признала в небритом, небрежно одетом человеке его. Он, тогда ещё Володя-Вован, уже был без работы и уже пил безостановочно, при любой возможности. Напивался до потери сознания, спал под забором. Его дважды по статье увольняли из автомастерской, и он, чтобы как-то прожить, а главное – выпить, продал, обменял на спирт многие материны золотые украшения, старинный комод и ещё кое-что по мелочам отдал за выпивку спиртоотторговкам. А ещё он, не брезгуя ничем и не стесняясь никого, нанимался на работу за бутылку, а то и за стакан спиртосодержащей жидкости и даже, бывало, ходил по домам торгашек, кланча выпивку в долг. Однажды, зайдя по старой памяти в автомастерскую, неожиданно наткнулся на небольшой «сабантуй» по случаю дня рождения старшего мастера Виктора Петровича. Петрович был лет на пять

старше его и работал в мастерской всю свою жизнь. Не один раз по молодости бывал Володя-Вован и у него дома, и приглашался даже в былые годы на дни рождения мастера, а потому, увидев накрытый стол, загорелся, надеясь, что по старой памяти ему здесь нальют. И действительно, Петрович ему налил. И действительно – по старой памяти. Выпив, он сказал хорошие слова в адрес именинника. Именинник расчувствовался: «Спасибо, Володя!» – и налил ему ещё. Он выпил ещё, но уходить не торопился, надеясь на добавку. А компания уже не обращала на него внимания. Все с интересом слушали молодого, успешного сына Петровича, открывшего недавно в райцентре автомастерскую, уже принёсшую прибыль. Как понял Володя-Вован, сынок и был организатором стола в честь дня рождения отца. Начинающего успешную карьеру предпринимателя Вован знал ещё малышом, а потому, не стесняясь, перебил организатора застолья:

– А ещё можно выпить?

Молодой, но уже привыкший к уважению владелец автомастерской недовольно посмотрел на незваного гостя и сказал так, как говорил бы совершенно незнакомому человеку:

– Слушай, мужик, по-моему, тебе уже пора. Пить, как я погляжу, тебе вредно. У тебя от постоянного запоя рожа скукожилась, а нос, как у Буратино, торчит. Ты давай двигай на малых оборотах в сторону дома да проспись хорошенько.

Сказав это под одобрительные ухмылки участников застолья, сын старшего мастера продолжил было рассказ о своём предприятии, как был снова прерван.

– Налейте, и я сразу уйду, – сказал настойчиво и громко Володя-Вован, выводя владельца мастерской из себя.

– Ты что, мужик, борзеешь? – вскричал организатор застолья, подбегая к обнаглевшему, на его взгляд, человеку. – Сказано тебе – иди, значит, отваливай!

Молодой и здоровый сын старшего мастера, схватив за плечи, развернул обнаглевшего незваного гостя, слегка подтолкнул его к выходу и с силой дал ему пинка.

– Вали отсюда, Пиноккио! – крикнул он, и все до одного собравшиеся в мастерской вокруг богато уставленного выпивкой и закуской стола, кто веселясь, а кто сострадавая, в один миг поняли, что «пинок» и «Пиноккио» – в данном случае однокоренные слова.

В голове оскорблённого неожиданным действием всё закружилось и завертелось, перед глазами замелькали события прожитого, всплыло лицо учителя пения – такое же разъярённое, и пинкарь, полученный от педагога за углом школы много-много лет назад, снова настиг и обжёт его память. Нет, не этот пинок молодого подонка, а именно тот – пожилого подлеца, бывшего зека, после которого он, Володя-Вован, похоронил свой талант или, в худшем случае, свои способности, – всплыл в его сознании горькой обидой, привёл в негодование, и он вдруг понял, что не будь в его жизни того зековско-учительского пинкаря, не было через много лет бы и пинка этого – глупо-предпринимательского.

А разъярённого молодого сына, рвущегося было добавить позорно изгоняемому, укротил всегда бывший и оставшийся сердобольным Петрович. Он налил полстакана водки, догнал уходящего Вована, заставил выпить, а затем проводил за ограду мастерской.

Весь вечер и всю ночь Володя-Вован не мог успокоиться. И хотя выклянчил у соседки ещё полбутылки спирта, хмель не брал его. Вспоминались прожитые годы и такой длинный-короткий период – от пинкаря до пинкаря. И спрашивал он то ли себя, то ли судьбу: почему и зачем так у него в жизни? И тогда впервые, ещё издалека и туманно, не веря в это сам, он подумал о том, что все беды его идут от настойчиво продолжающихся снов про оперного певца Диму. Дмитрия. Это из-за них и из-за него, солиста Димы-Дмитрия, он перестал петь в школе и всё у него пошло наперекосяк. Ни в армии, когда набирали строителей Олимпийской деревни, ни потом, когда армейский приятель Юрка звал его с собой – наняться матросом в торговый флот, он не мог поменять своей судьбы. Всё время

находились причины, не отпускающие, не позволяющие ему сделать перемены. Когда собрался на флот, сильно заболела мать. А потом, когда тот же Юрка познакомил его со своей двоюродной сестрой – симпатичной Катей, показалось: наконец-то жизнь начинает меняться...

Катя жила в райцентре, заканчивала торговое училище. Они подружились и дружили несколько месяцев, до наступления Нового года. Володя несколько раз приглашал её к себе домой и даже познакомил с матерью. Новый год они решили встретить у Кати, и Володя поехал в райцентр. Юрка как раз был на побывке и всячески содействовал укреплению его дружбы с сестрой. Правда, до того как пойти к сестре, однополчане сняли пробу с Юркиного самогона-первача у его домашней ёлочки, потом выпили по рюмке водки с весёлой компанией возле ёлки поселковой, потом у ёлки в Доме культуры, и уж после того Юрка доставил приятеля на Катин новогодний огонёк. Естественно, приятель был уже не способен на взаимопонимание, не помнил, как встретил Новый год, а утром, проснувшись на диване в незнакомом доме, был сильно удивлён, увидев заплаканную Катю, не желавшую с ним даже разговаривать. Что произошло между ними, какой разговор, как ни старался, не вспомнил он ни тогда, ни потом, и на этом отношения молодых людей, по сути и не начавшиеся, закончились. Больше попыток заводить серьёзные знакомства с девушками Володя не делал. Не стремился делать. И не потому, что решил прожить холостяком. Никаких зарокон он себе не давал, а не случались отношения его с женщинами потому, что им не оставалось места в Володиной жизни. Он стал всё чаще и чаще, по поводу и без повода, пить водку, вино, самогонку, а потом и спирт. Вначале, правда, только по поводу. В той же автомастерской, куда вернулся после армии и где его с радостью приняли, время от времени перепадала неплановая работа – ремонт автомобилей частных. Так называемый калым. Начальство смотрело на такой приработок своих подчинённых спокой-

но. Более того, и заведующий мастерской, и даже сам директор леспромхоза нередко отправляли клиентов в автомастерскую. Естественно, каждая такая работа заканчивалась небольшим засто-лем. Тот же Петрович, будущий мастер, бывало, находил желающих отремонтировать «жигулёнка» или «москвичок» и сам брался за газосварку.

Выпивки учащались и с каждым разом давались Володе тяжелее. Если Петрович и другие работники мастерской после удачно отмеченного калыма приходили на другой день на работу как ни в чём не бывало, то он мучился похмельным синдромом. Болел. Вначале его понимали, даже сочувствовали, но попытки отказываться от застолья вызвали веселье и шутки товарищей по работе. «Пей тут, с собой не дадим!» – говорил тот же Петрович под общий хохот. Сезон три после увольнения из армии Володя играл за местную футбольную команду. Ходил на тренировки. Но и там, сначала – после нечастых побед поселковых футболистов над райцентровскими, дело заканчивалось коллективной выпивкой, потом выпивка стала организовываться и после поражений команды, а затем и вовсе после тренировок. Первые серьёзные проблемы со здоровьем появились годам к двадцати пяти – боли в желудке, тяжесть в печени. Начавшаяся в стране перестройка и борьба с пьянством подвигли его, как и многих любителей спиртного, находить новые способы добычи алкоголя. В ход шли аптечные настойки и бытовая химия – стеклоочистители, технический спирт. Алкогольная зависимость возрастала, болезни подступали. На третьем году перестройки неожиданно умер Санька Чугунок. Санька работал мастером в профтехучилище, был уважаемым человеком, нередко угощал друга детства водкой и так же нередко удерживал его от выпивки. Умер Чугунок как-то нелепо: пришёл домой, поужинал, лёг на диван и больше не встал. Остановилось сердце. Примерно за год до смерти Саньки так же неожиданно остановилось сердце его матери, а года

два спустя после смерти младшего сына умер и Балабол. На том же самом диване, что и Санька. В начале девяностых после долгой болезни, оставив сыну маленький домик и всё, что она скопила за годы жизни, ушла в лучший мир и мать Володи. Тётки и дядьки, а также оставшиеся здесь двоюродные сёстры после похорон ещё дальше отодвинулись и почти не общались с ним. Да и он к ним старался без нужды не ходить.

Вылетев с работы в первый раз, а потом и во второй, в поисках выпивки Володя-Вован обхаживал посёлок. Поначалу ему сочувствовали и наливали старые знакомые – постаревшие Саввич и Михалыч. Но меняющаяся в стране обстановка влияла на жизнь людей, на их отношения друг к другу и на здоровье. Саввич сильно болел, Михалыч был покрепче, но уже не всегда радостно открывал ворота своего дома перед одноклассником по вечерней школе.

В это вот время и встретила ему снова Венера и попыталась повлиять на его судьбу. И он, вначале обрадованный встречей с ней, ожил было, попробовал переменить образ жизни, но не смог. Венера оказалась более настойчивой. Она опекала его, помогала во всём, поставила на учёт по безработице, выбила ему денежное пособие. Но личные отношения их не складывались – очень уж стали они разными за время, проведённое вдали друг от друга. Поняв наконец, что совместной жизни у них не получится, Венера всё-таки не оставила его, опеку и постоянные визиты к нему не прекратила. Она возилась с ним, как с ребёнком: носила продукты, получала его пенсию и выдавала ему частями.

А в тот вечер после обжигающего душу пинка, полученного в своей родной автомастерской, и бессонной ночью, следовавшей за ним, он окончательно понял, что ему уже не подняться и ничего не изменить. Под утро смирился с этим и уже соображал, где сегодня найти на выпивку.

А наступившее после осознания утро и последующий день уже приготовили ему другое имя. Инцидент в автомастерской

получил огласку, и слово «Пиноккио», брошенное молодым бизнесменом, вначале как бы невзначай прицепилось к Вовану, а затем приросло, прижилось и вытеснило и его имя, и даже фамилию. Не прошло и двух недель, как весь посёлок, от великовозрастных до малолетних жителей, стал звать его Пиноккио.

Пиноккио отложил деньги, предназначенные на спирт, сунул их в карман куртки, надел её, засунул, кряхтя, ноги в непросушенные сапоги и, накинув капюшон на голову, вышел на крыльцо. Мелкий дождь сыпал с неба сплошной стеной, казалось, мешая наступить рассвету, но свет проступал сквозь водную стену и, касаясь земли, делал воздух прозрачным, а предметы видимыми. Пиноккио осторожно спустился по мокрым некрашеным ступенькам крыльца и направился к воротам. Из будки бросился было к нему дворовый пёс по кличке Кирилл – Киря, как звал его Пиноккио, – попрыгал на задних лапах, стараясь грязными передними обнять хозяина. Хозяин от объятий пса отбилась и спросил:

– Ну, ты со мной?

Пёс глянул исподлобья на человека, вильнул хвостом и пошёл обратно в будку.

– Не по пути, значит, – сделал вывод Пиноккио, открывая скрипучие ворота.

Путь его лежал почти в самый конец улицы, где жила круглосуточно торгующая спиртом пожилая, но моложавая на вид женщина, известная среди алкашей, милиционеров и борцов со спиртопродажей как Колесуха.

Пиноккио шёл по краю дороги, стараясь обходить лужи, в который раз подмечая, что ступни его ног непроизвольно выворачиваются в стороны и походка его похожа на чаплинскую из немого кино. Походка эта выработалась у него как-то сама собой. Впрочем, и сутулость появилась тоже не по его желанию. Не знавшие Пиноккио и встретившие его впервые навряд ли могли поверить, что этому постаревшему на вид человеку нет ещё и пятидесяти, а то, что когда-то он был стройным юношей, лихо гонявшим мяч

на поселковом стадионе, не верилось уже и знающим его многие годы людям.

Дом Колесухи – по правой стороне, мимо никак не пройти: большие железные зелёные ворота, а на них жёлтые пелухи с красными гребнями. Пиноккио настойчиво постучал. За оградой сначала лениво залаяла собака, потом, было слышно, скрипнула дверь.

– Сейчас, иду! – крикнули с крыльца.

Дождь не переставал, шёл монотонно – не усиливаясь и не затихая. Пиноккио поёжился, сжал в карманах руки в кулаки.

Колесуха, в лёгкой ветровке и с зонтиком в руке, вышла к нему минут через десять.

– Чё стучишь-то? – спросила она без злобы в голосе. – Звонок есть – вон, справа: позвони, и выйду. Для кого я его поставила?

– Извините, не заметил... – оправдался Пиноккио, глядя на не потерявшую красоту дородную женщину с блеском в глазах.

«Наверное, от хорошего питания она остаётся вот уж несколько лет такой», – подумал он.

– Да чё вы замечаете? – махнула Колесуха и улыбнулась своей неотразимой улыбкой на красном полном лице, спросив уже по делу: – Сколько тебе?

– Пол-литра неразведённого... – ответил он, протягивая деньги.

– Да у меня разведённого не бывает, – снова без обиды в голосе возмутилась было спироторговка. – Это вас бабка Нюрка к разведённому приучила, а у меня товар прямо с завода медицинских препаратов, качественный. С одной поллитры больше литра сорокоградусной получается. Не боишься от такой дозы очокуриться? А то стоишь тут, как труп ходячий... Совсем дошёл... В чём душа-то ещё держится?

– Да держится ещё... Не очокурюсь... – крикнув, сказал Пиноккио.

– Смотри, а то опять по участковым меня таскать начнут. А я виновата? Я чистым торгую, а вы где-то суррогаты по дешёвке берёте, а потом ласты заворачиваете...

Колесуха взяла деньги, пересчитала, спрятала в карман.

– Ладно, жди... Щас вынесу...

На обратном пути Пиноккио ещё тщательнее выбирал дорогу, обходил лужи и грязь, неся за пазухой, во внутреннем кармане, драгоценную бутылку. Улица была пустынна. Владельцы крупнорогатого скота сезон выпаса уже закончили и коров больше по утрам не выгоняли, а переживающий тяжёлые времена леспромхоз работал время от времени, и потому не сновали теперь день и ночь по улицам лесовозы, не месили грязь, и не ревели на весь посёлок пилорама.

Недалеко от перекрёстка с центральной улицей Пиноккио заметил человека в брезентовом плаще, с маленьким чемоданчиком в руке, и узнал в нём бывшего ветеринарного врача.

– Дмитрий Васильич, ты откуда так рано?

– Привет, Володя! – узнав его, обрадовался ветврач, второй и последний после Венеры человек в посёлке, ещё звавшийся Пиноккио по имени. – Да был тут у одних – корову смотрел, заболела. А ты куда торопишься?

– Да затарился бутылочкой. Не хочешь согреться?

– Можно было бы, да, боюсь, жена ворчать начнёт... С утра, мол, пьёте... – замылся Васильич.

– А мы ко мне пойдём. Правда, у меня с закуской напряжёнка...

Дмитрий Васильевич ненадолго задумался.

– Ну, как? – подтолкнул его мысли Пиноккио.

– Давай так: ты иди, а я сейчас посмотрю в холодильнике на веранде, прихватю что поесть и приду.

– Хорошо. Буду ждать...

Прибежав домой, Пиноккио, не снимая куртки, раскупорил бутылку, налил чуть меньше полстакана, разбавил до полного водой из чайника и, по привычке осенив себя крестом, выпил залпом.

Жгучий напиток, проникая в организм, перекошил ему лицо. Голова Пи-

ноккио прижалась к плечам, руки – к груди, а бедный желудок снова начал защищаться. С минуту Пиноккио стоял неподвижно, потом, разжав руки, схватил со стола недоеденный огурец, сунул в рот и прямо в сапогах прошёл в комнату, сел на диван.

«Не обманывает Колесуха. Зверский напиток. А если не разбавляя выпить – точно окочуриться».

Посидев немного, он почувствовал знакомую удовлетворённость от примирения спирта с желудком и хотел было взяться за растопку печки, но за дровами нужно было идти в сарай, и он решил подождать Васильича.

Васильич пришёл через полчаса. Пёс Киря пропустил его без лая, узнав в нём уже бывавшего здесь гостя. Дмитрий Васильевич был добродушным человеком, каких Пиноккио знал в своей жизни немного. Несколько лет он работал главным ветеринарным врачом района, потом – то ли из-за мягкости характера, то ли по каким-то другим причинам, – его понизили в должности и отправили к ним в ветучасток. С середины восьмидесятых Васильич жил в посёлке. Добродушный, отзывчивый, а главное – отличный ветврач, он сразу же был признан и на ферме, и в личных подворьях. По первой просьбе он приходил посмотреть на больных животных. При осмотре разговаривал с ними ласково, поглаживал по спинке и брюшку, если надо – ставил уколы и давал дельные советы по уходу хозяевам. Несколько раз по приглашению матери был Васильич и в их доме – лечил корову, приносил лекарства. Уже после смерти матери Пиноккио водил на приём в ветучасток заболевшую чумкой собаку Найду, давшую впоследствии среди потомства и пса Кирю. Как-то, встретив у магазина, пригласил Пиноккио Васильича к себе на рюмочку. Тот не отказался, а потом заходил ещё пару раз. А было дело, Пиноккио ходил к ветврачу – занять на бутылку. Когда ветучасток в посёлке закрыли, Дмитрий Васильевич лишился должности, но не профессии. Доктор по призванию, он не мог усидеть без дела – лечил по подво-

рям коров, баранов, свиней, лошадей и даже кур с гусями.

– Да тебе, я вижу, не только закуску – дров надо было охапку захватить, – сказал, доставая из матерчатой сумочки на стол домашнюю колбасу, хлеб, тушёнку, ветврач.

– Да есть дрова, Васильич, принести надо из сарая охапку берёзовых... – отозвался Пиноккио.

– А раз есть – неси. Не то, друг мой, мы с тобой околеем тут – раз, и заболеем – два.

Пиноккио, кряхтя, поднялся. Его немного качнуло, в голове приятно кружилось – спирт уже начал своё действие.

Пока Пиноккио ходил за дровами, ветврач нагрёб из поддувала полведра золы, почистил и в печи.

– Этого мало будет, – определил Васильич, когда Пиноккио бросил возле печи несколько поленьев. – Надо протопить как следует. Сходи ещё разок, а я растопить попробую.

Выходя во второй раз за дровами, Пиноккио прихватил кусок зачерствевшего хлеба, сальные шкурки и отдал их прыгающему возле него псу Кириллу. Когда он принёс дрова снова, Васильич уже поджигал уложенную в печь между поленьями бересту.

– И что бы я без тебя, Дмитрий Васильевич, делал? – качнув головой, пробормотал Пиноккио.

– Да замёрз бы по собственной воле, или, вернее, безволию, а я тебе не дал этого сделать! – улыбнулся ветврач.

Дмитрий Васильевич пить не торопился и удерживал от бескультурной пьянки хозяина дома. Сначала он выждал, когда разгорится на полную печь. А когда она затрещала дровами, задышала профессионально, по-врачебному прислушался к её тяге и определил, что дымоходы давно не чищены. Пиноккио с ним согласился, искоса бросая взгляд на стол, где стояла бутылка. А ветврач не спеша нарезал колбасы, хлеба, потом налил в кастрюлю воды и засыпал гречку.

– Я сейчас тебя научу гречневую кашу варить, – говорил при этом гость хозя-

ину. – Нужно, чтобы вода над крупной была на два-три пальца, посолить, дождаться кипения, а потом передвинуть на медленный огонь, и пускай себе варится. А тушёнку уже под конец туда добавить можно.

– А можно и не добавлять – так тушёнку съесть, холодной, – сказал Пиноккио, подсаживаясь к столу и выдвигая бутылку на середину.

– Можно, – согласился ветврач. – Можно масла туда добавить или сала, но с тушённой каша вкусней. Подожди, дорогой, немного. Сейчас закипит, и мы с тобой примем по первой под холодную закуску. Доставай пока рюмки.

Рюмок у Пиноккио не было давно, и он достал Васильичу фарфоровую кружку, а себе подвинул стакан.

Под холодную закуску – колбасу и сало – они выпили дважды. После общей второй, а для него уже третьей, Пиноккио захорошело, и будь он дома один, непременно бы завалился на диван. Но Васильич его дисциплинировал, утверждая, что необходимо поест горячего, а потом уж можно и на боковую. Кроме того, ветврач задавал ему разные вопросы, расспрашивал о жизни. Пиноккио, соскучившись по общению, старался отвечать не грубо, чтобы не обидеть гостя. А когда Васильич сварил кашу, Пиноккио, выпив ещё и по настоянию ветврача съев всю поданную ему в чашке гречку, рассказал гостю о своих странных, преследовавших его всю жизнь снах. Начав несмело, сбиваясь, в процессе рассказа он разошёлся, заговорил эмоционально, с подробностями, забыв, казалось, и о том, что он пил несколько дней подряд, и что на столе и сейчас есть что выпить.

– Ты, Дмитрий Васильевич, второй после Венерки человек, которому я это говорю. Даже матери не рассказывал – боялся, подумает, что я с ума сошёл. А тебе ещё и как врачу решил рассказать. В последнее время каждый раз, как только чуть вздремну, снится... Да так ясно всё вижу, что и сам верить начинаю, что он – это я.

– Я верю тебе, Володя, – сказал Дмитрий Васильевич. – Верю. Не подумай,

что из солидарности или спьяну говорю. Я слышал о таком случае, когда студентом был. Правда, тот человек тоже сильно пил, и врачи списали все его рассказы на белую горячку. Права твоя Венера Романовна: обратись ты к врачам – и тебе горячку припишут, алкогольный психоз, и точно упекут.

– А что это, Васильич, такое? Может, точно какая болезнь? Типа шизофрении? Только во сне происходящая...

– Есть, говорят, теория, по которой помимо нашего мира существует параллельный, – ветврач налил ещё, оставив в бутылке немного. – Даже несколько параллельных миров. К примеру, вот в этом, для нас реальном, мы с тобой сидим и спирт Колесухин пьём, а в другом – мы с тобой сегодня не встретились: ты чуть раньше из дому вышел, я задержался, и мы не пересеклись на улице; в третьем – мы встретились, но я не пошёл к тебе, сославшись на неотложные дела...

– Так получается, что таких миров много! – удивился и оживился Пиноккио.

– До бесконечности много! – тоже оживился Васильич. – Я не психолог и даже не нарколог – ветеринар, поэтому мало что знаю. Насколько верна эта и ей подобные теории, я думаю, вообще никто не знает. Так предполагают. Большинство людей об этом даже не думают, им в голову это не приходит, а вот некоторые сны видят или даже видения у них бывают, но их за ненормальных признают. А что такое ненормальность? Может, ненормальных людей никаких нет, а есть способности, которых неизвестны науке?

– Точно, Васильич! Точно! Я теперь понял: певец Дима живёт в параллельном мире. И он – это точно я!

Пиноккио привстал, на его лице сияла улыбка. Наверное, таким сияющим было лицо у Архимеда, а потом у Ньютона и других великих людей, осознавших, что они только что совершили открытие.

– Ну, за это надо выпить! – улыбнулся ветврач. – Давай по последней, да я пойду. Там тебе ещё немного остаётся в бутылке. Ты, давай кашу ешь ещё, за печкой смотри.

– Эх, хорошо! – воскликнул Пиноккио, морщась после выпитого. – Теперь, Дмитрий Васильевич и жить легче, зная, что я не один, что я во многих лицах и что они все рядом – руку только протяни...

– Рукой-то, Володя, не достать. Мы пока не вхожи в эти миры, они к нам – не знаю... Тут, наверное, человечеству нужно какого-то нового уровня достигнуть, поменять миропонимание, и тогда, может быть...

– Э! – махнул рукой Пиноккио. – Я уже поменял. Благодаря тебе, Васильич. Я раньше думал что-то подобное, близко мыслью подходил, а ты мне сейчас глаза открыл. Помог сделать открытие.

– Ну, ладно, Володя. Спасибо за приглашение, я пойду, – ветврач поднялся, подошёл к Пиноккио, пожал руку. – Ну, а ты давай оживай. Тебе надо встряхнуться, бросить много пить, устроиться куда-нибудь на работу. Ты ж ещё вполне работоспособный человек. И Венеру Романовну слушайся. Она ж к тебе всей душой.

– Ладно, ладно, Васильич. Я теперь поменяюсь... Поменяю образ жизни... На меня просветление сошло.

– Ну хорошо, – сказал Дмитрий Васильевич, направляясь к двери.

Пиноккио вместе с гостем вышел на крыльцо, помог ему спуститься по мокрым ступенькам, проводил до ворот.

– Спасибо, Володя! – уже за воротами поблагодарил опьяневший на свежем воздухе ветврач и тихонько поковылял по улице.

А Пиноккио, закрыв ворота, прилазил возле собачей конуры пса Кирилла, поднялся по ступенькам дома, закрыл на крючок дверь на веранде.

Дома он подбрисил в печку ещё пару поленьев, посмотрел на недопитую бутылку, закрыл её пробкой и поставил между столом и холодильником. Недоеденные колбасу и сало убирать не стал. Затем он прошёл в комнату и, уже присев на диван, почувствовал тяжесть во всём теле.

– Я снова пьяный, – сказал он громко и повалился на бок.

Зал рукоплескал. Люди вставали с мест, поднимали руки, размахисто били в ладоши и кричали: «Браво! Браво! "Счастье" на бис!» Довольный певец стоял на сцене в окружении большого хора. Ему несли и несли цветы. Мужчины, женщины, дети. Одна шикарная дама в дорогом колье, целуя его, шепнула: «Счастье» на бис, для меня...» Он, благодарно улыбувшись, глянул на дирижёра. Дирижёр кивнул, он махнул ему в ответ.

И ударила оглушительно, заиграла музыка. И понеслась, полетела над залом, над зрителями, под высокий потолок, покачивая огромные люстры, песня. И вздохнул, ожил единым порывом хор и подхватил:

*Всё на свете было не зря!
Не напрасно было!*

А певец, казалось, сросся со сценой и хором, стал их продолжением, а сцена и хор стали продолжением его, и даже более – весь зал, зрители сливались вместе с песней в один большой организм.

*Пылали закаты,
И ветер дул в лицо.
Всё было когда-то,
Было, да прошло!*

И уже нельзя было понять – со сцены ли, из зала ли являлась всем песня, но ясно было каждому, что вдохновляет всех – музыкантов, хор, зрителей – стоящий в центре сцены кудрявый, сияющий, ещё не старый человек во фраке, снова и снова заводивший:

*Пылали закаты,
И ветер дул в лицо.
Всё было когда-то,
Было...*

Вдруг песня оборвалась. В одно мгновение всё стихло. Песня остановилась на только что законченном слове, затих оркестр, смолк хор, замер зал. Певец качнулся и, прижав руку к груди, упал. Зал отозвался коротким возгласом, дирижёр и несколько хористов бросились

к солисту. «Что с вами? Что с вами, Дмитрий Валентинович?» – спрашивал присевший над певцом дирижёр. Солист открыл глаза, слабо улыбнулся. «Всё в порядке», – хотел сказать он, но произнёс только: «Всё...» – ибо внутренний толчок не дал договорить ему. Дёрнувшись ещё раз, солист закрыл глаза и затих.

Пиноккио улыбался во сне, когда внутренний толчок опрокинул его с правого бока на спину. Он ещё раз дёрнулся и затих.

Ещё через какое-то мгновение он, отделившись от своего тела, поднялся и полетел. Пролетая сквозь дверь дома и сени, он вылетел во двор и стал подниматься в серое дождливое небо над домом, над сараем. Из конуры выскочил пёс Кирилл и, глядя на улетающего хозяина, залаял. А тот, поднимаясь ещё выше, уже летел над улицей, повернул к дому ветврача и увидел довольного Дмитрия Васильевича, стоящего на крыльце.

«Э-эй, Васильич!» – крикнул ему пролетающий Пиноккио, но Васильич был занят своими мыслями и не услышал его. «Да если бы даже и услышал, то всё равно не увидел бы», – догадался Пиноккио и полетел дальше – над домом Колесухи, к дому Венеры, к школе, автомастерской. Он летел и радостно махал всем рукой, кричал им сверху и, поднимаясь ещё выше над посёлком, вдруг на секунду взгрустнул, осознав, что больше не вернётся сюда и не увидит ни Венеры, ни Васильича, ни кого другого...

Недолгая грусть его сменилась новым ликованием, когда серая пелена осталась внизу, а в глаза брызнуло синевой неба. Он вдруг увидел себя со стороны: мальчиком, юношей, молодым человеком. Увидел восьмилетнего мальчика Робертино, шагавшего по неширокой городской улице, вывески магазинов, деревья, арку и двор с детской площадкой, песочницу, цветочную клумбу, два легковых автомобиля у подъезда. Всё это пронеслось перед ним и исчезло, а он полетел дальше. Он летел, молодой и сияющий, и не сразу заметил, как к нему присоединился ещё один он – солист Дима, точно такой же молодой и довольный, а после ещё один человек, похожий на них, и ещё один, и ещё...

Через четыре дня Венера, подходя к дому Пиноккио, услышала вой пса Кирилла. Пёс, встречая её, выскочил из дома через разбитое на веранде стекло и заскулил. Уже по привычке, с помощью ножичка-складничка, Венера откинула крючок изнутри закрытой двери и вошла сначала на веранду, затем в дом. На полу возле печки она увидела пустую кастрюлю, а возле стола кружку и стакан. Поняв, что здесь похозяйничал Кирилл, она с тревогой прошла в комнату. Околевший Пиноккио лежал на спине, слегка выгнувшись, как будто силился встать. Остекленевшие глаза его не казались страшными, а придавали ещё большую умиротворённость его застывшей улыбке.

Светлана ЛЕОНТЬЕВА

Светлана Геннадьевна Леонтьева, окончила Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Автор многих публикаций в литературной периодической печати и более десяти книг стихов и прозы. Живёт в Нижнем Новгороде.

*Памяти Василия Васькина
и Ивана Зорькина*

Так было: поэты, собравшись, всегда напивались.
Иван, Александр и Василий, почивший так рано.
В каморке, в квартире убогой на кухне, в спортзале,
какая им разница, чем закусить, великанам!

Из сказки они! Про волчат, про Кощя и зайцев.
Из песни они! А, скорее всего, из напева.
Пьянея, они походили скорей на китайцев
на рынке Канавинском том, что находится слева.

И сколько бы их не стращали силки Люцифера,
как Страшным судом и чертями, тенями и адом,
поэты, пьянея, могли позабыть, что есть мера,
гуляя по лунным дорожкам Российского сада.

Я их так любила – Василия, Ваню и Сашу.
За них умереть я готова была прежде срока!
Купила икону я «Неупиваему чашу»
у нищей старухи по воле небесного рока!

И пахла икона сладчайшей изюмной влагой,
и красно-малиновый свет от неё колосился!
И лепет, и нега, и радости светлое благо –
в ней тихо плескались, и ангел младенческий бился!

Чего только не было в этой иконе старинной!
Самой мне хотелось проникнуть в заветную тайну!
Но умер Василий! Иван вдруг скончался случайно...
И Саша пришёл помянуть пьяной рюмкой Ивана.

О чём он шептал? Эти странные, чудные строки!
Из сказки, из песни, точнее сказать, из напева!
И даже китайцы на рынке подумали: «Боги
спустились с небес и распили вино "для сугрева"!»!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Узнаю белый камень крыльца,
 ручку двери, шершавые шрамы.
 Дом отцовский, где нет отца,
 материнский, где нету мамы.
 И окно высоко, и герань!
 Закричать бы на всю планету!
 Но сжимают мне слёзы гортань,
 и пульсируют километры
 в колыбели тугих площадей,
 в колыбели вокзалов и рынков.
 ...Постоять у дверей, без людей,
 на вселенских, последних поминках.
 А герань наклонила цветы,
 и мелькнули в окне чьи-то лица.
 Сквозь несбывшиеся мечты
 обещала сюда возвратиться!
 Принимай свою блудную дочь,
 дорогое моё раздолье!
 Пожалей, отодвинь, отсрочь
 эту горечь нахлынувшей боли!
 О, герань! Что мы знаем о них,
 что мы знаем о свойствах

любимых?

...Буду жить я, любить за двоих,
 в моём сердце навеки хранимых...

Благословенны эти двери,
 подъезды, словно рукава.
 Твоя Москва слезам не верит,
 моя – в красивые слова.

Ты уходил – я оставалась,
 я уходила – ты не ждал.
 Твоя Москва – какая жалость...
 Моя – и площадь и вокзал,
 и нищих скука и мытарство,
 поэты в дыме сигарет.
 Кто был никем, никем остался,
 другой Москвы на свете нет!

Но ты, как стон мой,
 как удушье...

О, посмотри, я тоже – храм
 полуслепой, полуразрушен,
 но я отстроюсь, я воздам!

Придешь: молиться,
 причаститься,
 попросит нищий сладкий грош.
 Во всех невыплаканных лицах
 одну, мою Москву найдешь.

Живу, что крапива. Красуюсь по маю.
Не кланяюсь людям, а обжигаю.

Соцветья-созвучья летят, словно тени.
Я к небу тянусь, я не хуже сирени!

Никто не похвалит. Оно и понятно,
когда обжигают – не очень приятно!

Не вместе со всеми и не по теченью,
ни табором, группой теку на вечерье...

Царей закопала. И в церковь ходила.
Но, знаю, что буду кому-то не милой.

Пусть стану другой, пусть взлечу я до Бога,
и от своего обожгусь я ожога.

Но в лютую зиму – январно, феврально,
когда не согреться ни чаем, ни шалью,

пучочком крапивы – засохлым, что с лета,
в настое заквашенном – будешь согретый!

Забудешь царапины и заусенцы,
запомнишь крапивы палящее сердце!

Борис СЕЛЕЗНЁВ

*Борис Анатольевич Селезнёв, окончил Литературный институт
им. А.М.Горького. Поэт, автор нескольких поэтических сборников.*

*Создатель и бессменный главный редактор
поэтического альманаха «Арина».*

Живёт в Нижнем Новгороде.

По нашим трассам вдарил дождь!
Машины жмут на тормоза.
Я знаю, скоро ты уйдешь
И усмехнёшься, «за глаза».

А над асфальтом – сизый пар
И муть, такая ж, в голове.
Летит по трассе белый шар
А звук, как будто, – «БМВ».

Да! Ты ушла. Пусть будет так!
В ночи на трассе я один.
И месяц в тучах, как дурак.
А мне навстречу – господин...

Он в строгом чёрном котелке
И в длинном узеньком пальто;
В перчатках, с тросточкой в руке.
Я догадался – это кто...

Что он мне сможет предложить?
Я выпил всё уже до дна!
Послаще есть? Красиво жить?
...Мне душу вынула она, –

Да! Та, которая ушла...
(И усмехнулся господин)
Летит машина, как стрела,
И вновь на трассе я один.

Иуды, деяги, сволочи, –
Дорога вам всем во тьму...
Я ваши законы волчьи
Не принял и не приму!

Да что там! Страна вне закона,
В стране перманентный сбой...
Лампадочка у иконы
Зажглась вдруг сама собой.

А за окном морозы,
Дворник швыряет соль...
Девы Пречистой слёзы –
Радость моя и боль.

СЧАСТЬЕ ДОЖДЯ

Лишь для тебя открою двери,
Рубаху красную надену.
Не веришь ты?
И я не верю,
Что ты попробуешь сквозь стену
Крутой грозы, дождя и града
Прийти ко мне...
И не мечтаю.
Великих жертв таких не надо,
Иначе я совсем растаю...
А ты от ужаса и страха
Вдруг упадешь в мои объятия!
Напрасно я надел рубаху
И двери распахнул в ненастье.
Ты не придёшь по пенным лужам
И зря вставал в такую рань я.
Грозы боятся пуще мужа
Такие нежные созданья.
Ты не придёшь...
Что мне осталось?
Рубаху рвать свою на части!
...Вот ты влетела!
Ты прижалась!
Такая мокрая
От счастья!!!

ИСПАНСКОЕ ВИНО

Бокал испанского вина,
Глаз чёрных ужас...
В окне бандитская страна
– Моя – к тому же.

В неё стреляла гадов рать
– Мы ж отвернулись...
Её бросаем умирать
В давке улиц.

Давно на дне бокала страх
И зов отмщенья...
Мы нынче пьём на брудершафт
Нам нет прощенья!

Хрипит в конвульсиях страна
(Мы пьём вторую)
Но крепче водки и вина
Страсть поцелуя!

А после – в храм...
Зачем? Спроси?..
Ведь все косые...
Но Господи! Спаси, спаси
Мою Россию...

ЛЮБОВЬ

*...Ах, милый мой,
любимый человек!
(из разговора)*

Моя любовь – девятый вал.
Она, как буря в океане!
Я б никогда не обозвал
Её подобными словами.

Она на сердце и вдали,
Она на скалы правит душу
И, разбивая корабли,
Летит обломками на сушу!

Она из пепла и разрух
Сто раз воспрянет и воскреснет!
Она живёт в глазах старух,
Как плач, как неземная песня.

Она на небе, как звезда,
И мне и всей Вселенной светит.
Она и ныне и всегда
За все грехи мои ответит.

Она во сне и наяву,
Как в храме восковая свечка.
Я никогда не назову
Её «любимым человечком»...

Она хранит святой покров,
Она спасает от геенны.
Лишь с ней, дорогой катастроф,
Я сохраню Завет священный.

Когда судьба закончит пытку
Стихами, водкой и женой,
Мне жизнь подарит маргаритку
В петлице девушки одной.

Она пройдёт грациозно
На шпильках вдоль по ноябрю
И я ей, рано или поздно,
Ключи от сердца подарю.

Скажу ей: – Милая принцесса
Хоть рано утром, хоть в ночи,
Входи! Нам будет интересно...
Давай, бери скорей ключи!

Ярослав КАУРОВ

Ярослав Валерьевич Кауров родился в 1964 году. Закончил Горьковский медицинский институт, доктор медицинских наук. Член Союза писателей России, член Литературного фонда России. Автор нескольких стихотворных сборников. Печатался в журналах и альманахах. Живёт в Нижнем Новгороде.

Посвящается маме

Судьбой неведомой ведомый —
На счастье или на беду —
Я пленник родового дома
И старой яблони в саду,

И удивительного света,
Что тихо падал сквозь листву.
И будет длиться, длиться это,
Пока смотрю, пока живу.

Пока пишу, пока мечтаю,
Мой старый дом, мой старый сад,
Как колыбель, меня качают
И что-то тихо говорят,

И охраняют это сердце
Минуты, месяцы, года...
И я хотел бы после смерти
Остаться с ними навсегда.

Немного надо одиноким:
Чтобы, как сотни лет назад,
Вздыхал, нашёптывая строки,
Мой старый дом, мой старый сад.

Я русский поэт, и знамение
Мне этого — солнечный свет.
Я русский поэт от рождения,
До смерти я русский поэт.

И это не символ, не знание,
Не сила времен или мест —
Я русский поэт, это — звание,
И образ, и слава, и крест.

Враги мои всюду рассеяны,
Отважны и верны друзьям.
Я русский поэт, не измерена
Ни сила, ни слава моя.

И в этой пустой неизмерности
Я верен врагам и друзьям,
И путь благородства и верности
Мне лёгок, и светел, и прям.

Родник, среди поля смеющийся,
И зубы заломит — ты пей!
Я свет исчезающий, льющийся
Подлунных ковыльных степей.

Я вкус, что так сладок мучительно,
И вишен, и яблок, и слив...
Я русский поэт — удивительно,
Что я еще все-таки жив.

Небо-то вроде бы бледное,
Зелень-то вроде бы темная,
Счастье мое сокровенное –
Неизреченное, скромное.

Светится речка холодная
Ярче небесного пламени.
Гладь разливается водная
Словно языческим знаменем.

Скоро начнут волхование
Кругом березки с осинами.
Словно в русалочьем стане я,
Талии гнутся осиние.

Песни, как тайные шорохи.
Знаки, как блики мгновенные.
Если цветет, так уж ворохом
Радость моя сокровенная.

Горят в изяществе хрустальном
Сугробов горы, глыбы льда,
Зима еще патриархальна
В провинциальных городах.

Снег, словно мех у норки, ровный
И кажется, что через миг
Из переулочка на дровнях
Проедет мимо вас старик.

Дышать лошадка будет паром,
И чистый детский карий глаз,
Подобный женским тайным чарам,
Скосит доверчиво на Вас.

Река, запруженная бревнами...
На них намылись острова
С краями – ветками неровными,
И в воду падает листва.
Березы, ивы и осинники
На них уселись кое-как,
Глазки цветов каких-то синеньких,
Взирающих сквозь полумрак.
На острове необитаемом
Начнется жизнь ужей и птиц,
И вечеринки ночью тайные
Русалок – омута сестриц.
И остров станет полуостровом,
А после кустиком в лесу.
Так мамонты на скрытых остовах
Часовни на плечах несут.
И заводь тихая состарится,
Отгородится от реки
И станет одинокой старицей,
Как все забытые мирки.

Здесь далеко до жизни шума
И, полон неземных забот,
Монашек, погруженный в думы,
Крестьясь, по улице пройдет.

Теплая земля – какое чудо!
Где угодно можно лечь в траву...
Я такого счастья не забуду
И не разлюблю, пока живу.
Здесь букашки милы и наивны, –
Это не озлобленный восток –
Каждая былинка смехом дивным
Выражает солнышку восторг.
По витым кореньям под ногами,
Как смола, блистая на жаре,
Черная, подвижная, как пламя,
Ящерица лется по коре.

В осоке в дождь, под старой липою
Сижу над речкой в каплях-родинках.
Там птичка на ветвях чирикает,
А я ем красную смородину.
Смородина сначала кислая,
А после сладостью останется.
Душа, не скованная мыслями,
Блуждает в небе словно странница.

Не лебедушки, не кораблики –
В малой родины уголке
Кто-то выбросил в реку яблоки,
И плывут они по реке.
Будто девушки в ней купаются,
Скинув на берег свой наряд.
Так плывут они, кувыркаяются,
Розоватые, по два в ряд.
Кто так запросто людям выпростал
Эту детскую наготу?
Кто же вынянчил, кто же выбросил
Эту дивную красоту?
Не лебедушки, не кораблики –
В нашей родины уголке
Кто-то выбросил в реку яблоки,
И плывут они по реке.

Юрий ПАХОМОВ

Юрий Николаевич Пахомов (Носов) закончил два факультета Военно-медицинской академии, служил на подводных лодках и надводных кораблях Черноморского и Северного флотов. Участник военных действий в различных «горячих точках».

Член Союза писателей СССР, России. Автор двадцати книг. Отдельные его произведения переведены на языки ближнего и дальнего зарубежья, экранизированы.

Лауреат Международной российско-итальянской литературной премии «Москва–Пенне», всероссийских литературных премий: имени И.А. Бунина, «Прохоровское поле» и др. Отмечен серебряным дипломом на международном славянском форуме «Золотой Витязь». Живёт в Москве.

ЗИМНЕЙ НОЧЬЮ, ЛЕТНИМ ДНЕМ

маленькая повесть

1

Зима стояла тяжелая, со снежными заносами, жестким ветром, изба содрогалась, скрипела под его хлесткими ударами. Впервые за пятьдесят лет едва не замерз родник, крытый бревенчатым коробом, к нему вся деревня ходила за водой.

Той зимой случилось с Ефремом Ивановичем Подкорытиным нехорошее – стало ему блазниться, что ночами он слышит вой, но не волчий и вообще не звериный, а вроде как человеческий. Вой то приближался к избе, то удалялся, погасая за околицей. И случалось это, считай, каждую ночь, нагоняя на старика тоску. Он вставал, зажигал свет и долго молился у старинных образов, бил поклоны, а сам прислушивался к тому, как вой кружит по деревне.

А однажды поутру, когда из-за снежных облаков вывалилось косматое солнце, Подкорытин, обходя усадьбу, увидел на скованной льдом Клязьме всадника на белом коне. В дымных лучах зимнего солнца тускло поблескивали его доспехи. Накануне вечером Ефрем Иванович читал Новый завет и в откровении Иоанна Богослова его поразили строки: «И увидел я отверстое небо, и вот конь

белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует». И теперь старик не знал, в самом ли деле видел всадника или опять приоблазнилось. Поразмыслив, пошел к фельдшеру Сашке Петрову посоветоваться, не тронулся ли на старости лет умом.

Сашка – лысый, губастый парень с маленькими, с припухшими веками, глазами, вел прием. В коридоре сидели две старухи. Петров был парнем толковым, обслуживал не только Топорово, но и две соседние деревни. Выслушав Ефрема Ивановича, фельдшер пощелкал себя по отвисшей губе и задумчиво сказал:

– На глюки не похоже, на белочку тоже. Ты ведь не пьешь, Иваныч?

– Не пью, грех это. Толком можешь сказать? Белочка какая-то?

– Поясняю доступно! Глюки – галлюцинации, белочка – белая горячка. Не подходит, дед. Вероятнее всего – следствие склеротического процесса и отложения в сосудах бляшек... Возраст у тебя запредельный.

– Ну, понес... понес. Бляшки! Крути, Гаврила.

Глаза у Сашки вдруг сверкнули голубым пламенем:

– А я ведь, Иваныч, тоже вой слышал. И не зверь это, ты прав.

– А кто же?
– Антихрист. Значит, все же клонировали его. Вот он и воет, знак подает. Скоро чудеса являть станет, а мы ему поклоняться будем.

– Выходит, паренек, не я, а ты рехнулся. Как это клонировать-то? Чего мелешь?

Фельдшер вдруг обиделся, у него даже лицо пошло пятнами.

– Темнота! Я в интернете статью читал одного ученого. Вроде как икона Спасителя закровоточила, взяли кровь на анализ, и вышло: группа крови и резус-фактор в точь-точь совпадают с показателями крови Иисуса Христа, что сохранилась на Туринской плащанице. Соображаешь?

– Господи, спаси и помилуй! – Подкорытин перекрестился двумя перстами, ощущая холод в спине, будто сквозняком его проняло. – И что?

– Что-что? Значит, по крови той можно Христа клонировать. Клонировали же овечку Долли.

– Ты чего городишь? Совсем с гвоздя слетел? Ты с кем Господа нашего сравниваешь, окаанный?

– Дальше послушай, дед! Если Христа клонировать, кто получится? Э-э? Антихрист! Ясно?

– Ну тебя к бесу! Я пришел, чтобы душевно посоветоваться. А ты? Чему только тебя, дурака, учили? Я же теперь совсем с круга сойду. Один ведь живу.

– Не сойдешь, ты при советской власти жизнь прожил, значит, закаленный. Да и не успеешь. Небось слышал, что в двух тысяча двенадцатом году наступит конец света? Прикольнo, да? – Петров засмеялся, словно сказал смешное.

От фельдшера старик возвращался вконец расстроенный. Неужто люди на свою погибель создадут Антихриста? А что, станется! Атомную бомбу ведь сделали. Может, и впрямь грядет конец света? А Сашка, дурачок, радуется.

Спотыкаясь о льдины и комья смерзшейся грязи, Подкорытин тащился к своей избе. В сельповском магазине горел свет, и за окном, убранном решеткой, металась тень, вроде плясал там кто-то без музыки. Ефрем Иванович перекре-

стился, прислушиваясь к подступившей тишине, не потревожит ли ее отдаленный вой.

Дома включил свет во всех комнатах, поставил на электроплитку чайник – подарок покойницы тещи Екатерины Федоровны – и стал ходить по кухне. В этом доме он прожил всю жизнь, ему знакома каждая царапина, каждое пятнышко. Рассматривая эти затеси времени, он мог вспомнить то или иное событие, оставившее в памяти след. И это его успокаивало. Но сейчас, вглядываясь в отливающее чернью окно, он ощутил, что в мире происходит что-то нехорошее. Под тяжелыми шагами старика постанывали половицы, и в этот тягостный звук вплетались визгливые ноты, соединяясь в слова, будто там, в подполе, кто-то перекликался и звал его к себе.

Утром, шагая в магазин по седой от мороза улице, где на крышах брошенных изб из-под шапок снега торчали черные стропила, Подкорытин с горечью думал, что те, кто упокоился на кладбище в Ильиной Горе, счастливее, чем он, ведь им не суждено было стать свидетелями всеобщей разрухи, не чувствовать такого звериного одиночества. Но и смерть не сулила покоя. Похоже, фельдшер прав, Антихрист, сотворенный руками человека, нынче властвует на родной земле, но поклоняться ему Ефрем Иванович не намерен. Оттого, должно быть, тот и скулит по ночам. И одна теперь надежда на Верного и Истинного и на воинство небесное, что следует за ним на конях белых, а всадники облачены в «виссон белый и чистый».

2

Деревня Топорово лежит в низине, сбегаящей к заливным лугам, поросшим ивняком, дальше переливается жидким серебром Клязьма. Левобережье Клязьмы сумрачно, за прибрежными зарослями и березовым подлеском стоит сосновый бор. Часть домов единственной деревенской улицы лепится к подножию высокого, рассеченного овра-

гами косогора, на вершине которого радостно светятся березовые рощи – давние грибные места.

Единственная достопримечательность в деревне – двухэтажный кирпичный дом, построенный еще купцом Половодовым. Дом строился на совесть. При усадьбе кирпичный амбар. Родник, что пробивался у основания косогора, купец упрятал в трубы – вода шла самотеком в дом, да и иных чудес Половодов напридумывал, одно из них – фаянсовый унитаз со сливом, как в городе. Пожить в доме купцу не пришлось, в раскулачивание он сгинул. Должно быть, мыл золотишко на Колыме или еще где. В доме устроили начальную школу, пока не построили школу десятилетку, а Половодовский дом отдали под жилье молодым специалистам. Нынче полуразрушенный домина торчал посреди деревни жутковатым памятником былого.

Ефрем Иванович любил перед закатом стоять у самого уреза речной воды и, задрвав голову, глядеть на косогор, где белый цвет мешался с зеленым. Когда солнце соскальзывало за зубчатую черноту левобережного бора, березняк на гребне вспыхивал золотым пламенем и тотчас же гас, будто кто водой его окатил. В те минуты он испытывал такую просветленность, какая нисходила на него разве что в церкви.

Из истории здешних мест известно, что славянские племена, оттеснив угро-финнов, в незапамятные времена поселились на окраине Владимиро-Суздальской Руси. Народ выращивал лен, ткал полотно, изготавливал пеньковые канаты для нарождающегося российского флота, не чурался огородничества и садоводства. Особенно славилась вязниковская земля своей вишней, крупной, сладкой, как мед, и устойчивой к суровым морозам. Гороховец, Стародуб и Мстера издревле были известны талантливыми ремесленниками: металлургами, кузнецами, ювелирами. Торговали с Крымом, Прибалтикой и даже с Византией. А время лихое было: огненным колесом прошла по святой земле татарва, оставляя за собой пожарища, глад и мор. Подоспели

и другие враги: поляки и шведы. Древний Ярополч, стоящий на государственной дороге, который уж раз жгли, но он возрождался из пепла, сдвинувшись с насиженного места на правобережье Клязьмы, поросшее могучими вязами. Как ни суди, история тех мест на крови замешана и славна мужеством русского народа, оттого, должно быть, обрела чудодейственную силу икона Казанской Божьей Матери, поклониться которой стекались паломники со всей России.

С давней поры в Вязниках и ближайших деревнях осели староверы, в общины сбивались редко, побаиваясь властей. Жили больше тайком, сохраняя старую веру и уклад жизни до никоновского раздора. От остальных ремесленников и крестьян отличались трезвостью, истовой набожностью и трудолюбием. Жили среди людей, но как бы и отдельно от них. Сторонились властей, ни в какие мирские дела не вступали.

Семья Подкорытиных появилась в Топорове в девятнадцатом веке, сразу после воли. Откуда приехали – неведомо, зато сразу прославились, как искусные кузнецы, плотники и огородники. От них-то и пошли знаменитые вязниковские огурцы. Семена вроде как везли из Малороссии.

Слабела под напором безбожных властей старая вера, да и новообрядцам жилось не слаще, по всей округе оскверняли, рушили церкви, изгоняли священников, пряча их по тюрьмам и дальним местам вроде Соловков. Один за другим ветшали древние монастыри. И народ, чтобы сохранить веру и обычаи предков, уходил в подполье, приравливаясь к двойной жизни. Случалось, что в семье верующие бок об бок жили с атеистами и мирились с этим. Дед Степан Степанович Подкорытин такого бы не стерпел. Старшего сына Николая женил на девке из хорошей семьи. Катерина хоть и выучилась на учительницу начальных классов, приличия блюла, не ходила дома распатланной, не пила вина. Одно плохо – детей Бог не дал. Младший, Иван, женился на красавице-доярке Марии, сироте. Девке едва восемнадцать исполни-

лось, дитя-дитем, воск, что хочешь, лепи. Работящая да ласковая. Степан Степанович полюбил ее, как родную дочь, баюкал. Жена его, Анна, тоже в ней души не чаяла. Молодые жили с родителями, в отстроенной боковушке. Избы стояли рядом, у Степана Степановича побольше, у Николая поменьше, зато с сеником и утепленным хлебом. Корову держали на три семьи. Степан Степанович и его сыновья трудились в кузнице, содержали и старенькую колхозную технику: битые-перебитые трактора, сеялки и комбайны. Вся эта древность всегда была на ходу. Нужные детали ковались в кузнице и подгонялись на токарном станочке немецкой фирмы, доставшемся в наследство все от того же купца Половодова. А как младший Подкорытин Ефремка, сын Ивана, подросток, тоже пошел в кузницу махать молотом – мужиков после войны в Топорове, считай, не осталось.

3

Детство Ефрем Иванович помнил смутно, вроде как в дымке. Душный запах бурьяна, солнечные зайчики на выскобленном столе, ласковые руки матери, прижимающей его к груди. Кто-то большой, сильный щекочет бородой его голый живот и говорит: «Здрав желам, ваше благородие, Ефрем Иванович».

Отца, дядьку и деда Ефремка видел редко, да и мать тоже, они с утра до позднего вечера были где-то там, в другом месте, означенным словом «работа». А когда возвращались, он, как зверек, унавал их по запаху: от деда и отца пахло железом и гарью, мама приносила сладкий запах молока. А вот бабушка всегда была с ним, что-то все курлыкала, напевала, а иногда, ухватив Ефремку за пухлые щеки, шептала: «Ишь бес за печкой спрятался, пришел людские души смущать, лукавый. А мы Ефремушку ему не дадим. Покрестись, Ефремушка, двумя перстами, бес и изыдет». Еще запомнилась русская печка, на которой так хорошо было лежать на вывернутом ов-

чинном полушубке, слушая, как тоскливо воет бес, пытаюсь открыть чугунную заглушку. И еще бабушкины складухи запомнились: про город Муром, татарву, которая город сожгла, «одне головешки остались», о князе Кие, что правил в стольном городе Ярополче. «А стоял тот город на высоком угоре у самой Клязьмы. Народ князя не любил, уж больно тот лют был, чуть что за кнут хватался, – рассказывала бабушка. – И пошел князь со слугою за Клязьму охотиться, а по дороге назад увяз в болотине. Послал слугу в Ярополч за помощью, но обиженный князем посадский люд отказал ему, стояли у стен детинца и кричали: "Увязни Кий, увязни, проклятый!" Князь и увяз, ни дна ему ни покрывки. На том месте город вырос, нонеча районный центр, куда твоя тетка Катерина на совещания ездит, и назвали его Вязники».

А вот проводы отца и дядьки Николая на войну помнил Ефрем Иванович отчетливо, будто вчера это было. Да ведь и не маленький уже – восьмой год пошел, осенью в школу. Стоял жаркий июль, над Клязьмой висела дымка. Месяц уж как шла война, но в Топорове это еще не ощущалось. Разве что на рассвете тянулись под облаками, натужно гудя, грузовые бомбовозы – немец шел бомбить город Горький. Как-то разметали их стаю юркие ястребки с красными звездами на крыльях, бомбовозы шарахнулись испуганным вороньем, спешно разбросали кто куда горазд бомбы и ушли на запад. Одна бомба угодила в колхозный амбар, тот долго чадил, пачкая небо дымом.

В середине июля по деревне прокатился слух: мужикам и парням призывного возраста велено явиться на пункт сбора в город Вязники. В Топорово на запыленной полторке приехал седой майор, в правлении колхоза составляли списки, в избах наяривали гармоники, пьяные мужики плясали на улице, мычали на доенные коровы, а с лугов, перебивая едкий запах пыли, тянуло влажным ароматом скошенного сена. И только в избах Подкорытиных было тихо, собирали мужиков на войну степенно, без лишнего шума. Ранним утром, до жары,

одна за другой потянулись телеги с призывниками к тракту – до Вязников верст десять. Ефремка сидел на телеге рядом с отцом. На дядьке и отце гимнастерки, ремни, справные сапоги – от срочной службы остались. За телегой шли дед, бабушка, мать Ефремки и невестка тетя Катя. На деде Степане Степановиче выгоревшая, чисто вымытая гимнастерка, на груди позеленевшая медаль за Русско-японскую войну и солдатский Георгий за Германскую. Деду шестьдесят один год, но крепок еще. Борода едва тронута седой.

Скрипели колеса, плыли мимо деревенские избы, кто-то впереди горланил, пытался петь, переливчато, визгливо звучала гармонь, Ефремке было жутковато от бабьего воя, он прижимался к отцу, жадно вдыхая его запах, запах железа, гари и крепкого мужского пота.

Миновало лето, затем осень, а когда пал снег и на вязниковскую землю опустилась суровая, с дымными закатами зима, почтальонка Надя принесла Подкорытиным сразу две похоронки, на дядю Николая и отца Ефремки – оба сложили головы в великой битве под Москвой. И в избах Подкорытиных надолго утвердилась тишина. Но в колхозной кузнице все так же ухал и звенел молот, а из жестяной трубы вытягивалась серая струйка дыма.

Лет эдак с шести глазастый Ефремка отметил про себя, что Подкорытины не похожи на остальных деревенских. Дед, дядька и отец носили бороды, никогда не ходили в клуб, где крутили кино, не читали газет. В воскресные дни надевали праздничное и шли в староверскую церковь, что на Песках. На хозяйстве оставалась жена дядьки Николая тетя Катя. С ней было интересно. Работала она учительницей в начальной школе. Выходила из дома без платка, простоволосой, учила Ефремку читать и раза два тайком брала с собой в кино. Дома же менялась, вела себя, как мать и бабушка, носила платок под брови и садилась за стол последней. Годом позже узнал Ефремка и еще одну семейную тайну. Как-то утром, когда взрослые ушли на

работу, он осторожно поднялся по лестнице на чердак, ступеньки поскрипывали под ногами, Ефремка приоткрыл дверь, в лицо ему пахло запахом воска, в чердачное оконце пробивался солнечный свет, и первое, что он увидел, – домовину, гроб, окрашенный в черный цвет. Ефремку словно под дых ударили, он, задохнувшись, закричал от страха, и, потеряв опору, сверзился с лестницы, крепко приложившись о сосновую поперечину лбом, аж искры из глаз посыпались.

Вечером дед, хмуро глянув на внука, спросил:

– Отчего гуля на лбу? Никак дрался?

– Не-е, на чердак лазил.

– Вот тебя Бог и наказал. Неча лазить куда не попадая. О том, что видел, – никому. Молчок. Вырастишь, все узнаешь. Возьми-ка пятак, приложи к гуле, оттянет. И чтоб больше на чердак не шастал.

– Не бу-у-ду.

Трудно постигать жизнь незрелым детским умом. Тетя Катя водит по деревне отряд пионеров, красные галстуки на шее, огольцы в горн дудят, а дед с матерью и бабушкой ходят в церковь. В светелке висит на стене портрет товарища Сталина, а на чердаке домовина и на струганных подпорах крыши темные иконы, и кадило с ручкой на табуретке стоит. Дед вечером, надев очки в железной оправе, при свече, шевеля губами, читает книгу. Книга старая, в каплях воска, и кроме названия ничего в ней не разобрать. А спросить страшно. И сын председательши колхоза Ленчик смутил, брякнул, ехидно щурясь:

– Дед твой вредный элемент, старовер.

– Я вот сопатку тебе раскровяню, будешь ругаться.

– А ты попробуй! Мамке скажу, и твоего деда в тюрьму посадят. Тю-тю.

– Ты, прыщ поганый! – замахнулся Ефремка, обидчик и прыснул, как заяц, только его и видели. Ефремку побаивались: плечист, широк в кости. Стыкаться с ним никто не решался, побьет.

В молодости Ефрем Иванович к вере был равнодушен, обряды соблюдал, молитвы знал, но молился редко. Его не по-

нуждали, знали – созреет. Дед Степан Степанович говорил:

– В старой вере крепость есть, самостоятельность. Нововерцы с властью срослись, избаловали народ, отсюда пьянство, лень, алчность, ожесточающая сердца, в церковной службе вольность... А Бог-то один. Да-а! Время нынче иное, приходится мириться, укоротить себя. А что поделаешь? К примеру, мы, люди старой веры, бороды не бреем, а в армию пойдешь – придется. Потому как дисциплина.

По-настоящему уверовал в Бога Ефрем Иванович уже после женитьбы. Оно и понятно: душа вызрела, подействовали и беседы с батюшкой церкви Успения Пресвятой Богородицы в деревне Рытово. Беседовали они нередко на вольном воздухе, под тополями. Восемь тополей посадили прихожане в честь новомучеников священнослужителей староверческой церкви, расстрелянных в тридцатые годы. Шелестели над головой листья, ложились на сердце проникновенные слова батюшки.

4

Насильственный сгон в колхозы подточил основы крестьянской жизни. Да и колхозы были так, колхозишки с худым, кое-как слепленным хозяйством, зато с громкими названиями. В Алтушеве – «Красный пахарь», в Аксенове – «Путь к социализму», в Кудрявцеве – «Заря коммунизма», в Ильиной Горе – «Имени шестого съезда Советов», в Топорове – имени «Парижской коммуны».

До войны колхозы кое-как тянули, кормили себя, сдавали налог государству, а уж после войны и вовсе плохо стало. Народ, убивший силу в войну за пустые трудодни, избаловался, тянул из колхоза что ни попадя, работал из-под палки. Нескольких баб за малость – горсть зерна – посадили в тюрьму, не вернулись. Колхозом в Топорове руководила Елизавета Самохвалова, назначенная районным начальством. Самохвалова носила муж-

ские пиджаки, кургузые юбки, хромовые офицерские сапоги, курила «Беломор», в ее кабинетике-клетушке под потолком плавали синие клубы дыма. Голос у нее был грубый, больше всего любила она выступать на собраниях. Острый на язык деревенский народ за глаза величал ее Радио.

Колхоз числился в отстающих, коровы на ферме по вымя стояли в назъеме, молока давали мало, с огородничеством и того хуже. Топорово издревле славилось своими огурцами, крепенькими, в колких пупырышках и ни одного горького, хоть варенье из них вари. Поговаривали старики, что купец Половодов поставлял огурцы в Москву, имел секрет особого бочкового засола. Революция, раскулачивание и войны свели на нет крепкого хозяина, знаменитые огороды, разбитые на заливных лугах правобережья Клязьмы, задернуло илом, поросли они хлестким ивняком и красноталом. Да и усадьбы после хрущевского запрета захирели, народ сажал только картошку, а не удобренная навозом земля (скотину редко кто держал) рождала уродливые, какие-то кривые и шишковатые клубни. Люди, как в древнюю пору, летом и осенью перебывались сбором ягод, грибов, а кто и рыбалкой, добытое возили на рынок в Вязники, все копейка, тем и жили. Зато уж почти в каждой избе гнали самогон – море разлитое.

Все разом переменялось, когда в пятидесятые годы мелкие колхозы объединили, патлатую, насквозь прокуренную председательшу Радио взяли на усиление в отдел агитации и пропаганды райкома, а вместо нее прислали в летах уже мужика Левитова Степана Станиславовича, внешне точь-в-точь похожего на Никиту-кукурузника. Такой же пузатый, лысый и даже с бородавкой на носу.

Кто-то запустил слух, что новый председатель – брат Хрущева и что жизнь теперь наладится. Были и сомневающиеся. Объединенный колхоз включил в себя восемь деревень и назывался теперь «Заря коммунизма», правление обосновалось в деревне Ильина Гора. Новый председатель повел себя необычно. Пер-

во-наперво вытребовал себе меринка для разъездов. Конюх Захар Лебеда не любил кому-либо давать лошадей, жалел их, потому подсунул председателю молодого норовистого мерина Ваську, который кусал всех подряд, даже районное начальство, а уж брыкался – только повернись, без зубов останешься. Степан Станиславович обратал меринка в один раз: когда Васька оскалился, примериваясь куда куснуть, он так дернул его за губу, что мерин лишь обиженно хрюкнул, принимая власть хозяина. Председатель велел подавать оседланного Ваську к семи часам утра, с той поры видели его только верхом, спешивался лишь для дела и, надо сказать, в седле сидел, не смотря на пузо, как кавалерист на параде. Объезжал уголья, деревни, подолгу разговаривал со стариками и что-то заносил в замусоленную записную книжечку.

Как-то весенним утром появился у избы Подкорытина, требовательно постучал кнутовищем по ограде, снял прорезиненный плащ, накрыл им конягу и пошел навстречу вышедшему на крыльцо хозяину. Сочился мелкий дождь, так, не дождь, пыль водяная висела в воздухе.

– Здравствуй, тезка.

– Здравствуй, коли не шутишь, – Степан Степанович прищурился, оглядывая гостя.

– В избу пригласишь?

– Заходи.

Председатель глянул на Ефремку, собиравшегося в кузницу, спросил:

– Внук?

– Внук, Ефремом зовут.

– Хороша у тебя изба. Сам ставил?

– Кто же еще? Сыновья помогли закончить.

– Про сыновей и сноху слышал. Почему звезды в память о героях на коньке не прибил?

– Нам украшений не надобно. Грех это, гордыня.

– Дело твое.

В светелке на месте портрета Сталина висел старинный, еще дедовский, образ Спасителя. Христос строго и просветленно взирал на вошедших.

– Верующий?

– А что, нельзя? – Степан Степанович усмехнулся.

– Отчего? Церковь отделена от государства. Кто тебя посмеет упрекнуть?

– Из староверов мы.

– Удивил. Значит, вина не пьешь, мораль соблюдаешь и работник – куда уж лучше.

– Чаю выпьешь, председатель? Не побрезгуешь?

– С душицей? Охотно. Вон как пахнет. Но сначала дело. Куда присесть-то?

– На табурет и садись, ближе к печке, не молодой уж.

– Дело к тебе есть, Степан Степанович. За советом я. Слышал про вашего купчину Половодова, будто огороды у него славные были на заливному лугу. Без полива урожай давали. Так ли?

– Поливать все ж приходилось. Но не шибко. От огурцов купец большой барыш имел. Нынче огороды ивняком поросли, никому ни до чего дела нет.

– Как считаешь, огороды поднять можно?

– Отчего же, дело нехитрое. Народ только избаловался. Из-под палки не выйдет, интерес должен быть. И семена сохранились, еще те, знаменитые, вязниковские.

– Добре, пойдём-ка поглядим на места, где огороды разбивали. От твоей избы сподручнее. Да-а, хороша у тебя изба, тезка, и дух в ней приятный. Я у многих побывал, срам, как люди живут.

Дождь перестал, но солнце так и не проклюнулось. Сад плыл в дымке, мокрые деревья парили. Оглядев вскопанные, аккуратные грядки, председатель спросил:

– Удобрять чем?

– С фермы навоз понемногу вожу, да и человеческим дерьмом не гнушаюсь. Все в компост. Производителей жаль мало.

– Сад у тебя хорош. Вязниковская вишня есть?

– Как без нее. Яблоки, груши свои. Капуста тоже своя. Река и лес подкармливают.

– Слышь, Степаныч, я в сенях у тебя корзины видел. Загляденье! Неужто сам плел?

– Сам. Работа так себе. У нас в деревне один корзинщик – старик Аверьянов. Вот это мастер. На продажу плетет, в Вязники возит. Корзины его славятся, народ их подчистую метет.

– А материал?

– Вон он, материал! – Подкорытин взмахом указал на отмели у Клязьмы. – Там и были купеческие огороды, а теперь сплошь ивняк да краснотал.

– Скажи, участок твой во время весеннего паводка заливают?

– Я на небольшом угоре стою, огороды не заливают. А у иных вода до избы доходит.

– Ирригационную канаву рыть нужно, глубиной никак не меньше трех метров.

– Чем рыть-то?

– Экскаватором. Чем еще? Не лопатами же ковыряться.

Ефрем Иванович с недоверием посмотрел на председателя, но промолчал.

Спустились по тропке в низину. Левитов сломал прут ивняка, зачем-то понюхал его и даже попробовал на вкус. Довольно сказал:

– Материал – первый сорт. И бесплатно – красота. С огородами ясно, будем поднимать. Ты, Степаныч, прикинь на бумажке, что нужно для огородов и сколько. Припомни, как было у купца, свой опыт прибавь. Крестьяне лучше огородничество знают, чем Трофим Лысенко.

– Кто таков?

– Академик! Чтобы ему пусто было. А старик этот, Аверьянов, далеко живет?

– Вон его изба, наискосок от моей.

– Вот и пойдем, навестим корзинщика.

Егор Федорович Аверьянов, сколько помнил Подкорытин, был стариком. Маленький, усохший, с кустистыми бровями, сивой бородой и голубыми глазами на иссеченном морщинами лице. Вылитый запечный домовый. Говорил прищамкивая, заглатывая букву «р». При том норовил ухватить собеседника за пуговицу.

Приход председателя вызвал на подворье Аверьянова панику. Увидев вдалеке начальство, он спешно прятал в подпол сплетенные для продажи кор-

зины. Успел, выкатился навстречу гостям в аккуратно подшитых валенках, серой косоворотке. Вытертый кожанок на плечах. Старуха его второй год не вставала. Аверьянов справлялся один.

– Здравствуйте, гостюшки долгие! С чем пожаловали? – детские голубые глаза глядели настороженно.

– Разговор к тебе есть, Аверьянов, – сказал председатель. – В избу не пойдем, давай здесь потолкуем, на воздухе.

– Как изволите.

– Слышал я, что ты корзинщик отменный...

– Для себя плету, для душевного удовольствия.

– Вот-вот. Хочу я при колхозе мастерскую открыть. Пойдешь начальником? Зарплату буду платить. И не трудовыми, а рубликами. Палатку на рынке в Вязниках откроем. Сам и торговать будешь. Как?

– Оно, конечно, можно... Только колхозное дело трудное, уполства тлебует. Есть плетенка в шашку, есть – в квадрат. Тут тебе и щемилки, и колунчики тлебуются. А с матеалиалом сколь возни? Доплеж лозу заготовить, высушить ее, ошкулить, шаблоны изготовить...

– Ты в детали не вдавайся, одно скажи: возьмешься?

– Как не взяться, коли нужно? И мужиков подбелу – есть умельцы...

Чего греха таить, не поверил тогда Ефрем Иванович председателю. И невдомек ему было, что уже через десять лет колхоз станет самым крупным хозяйством в районе, постоянным участником ВДНХ. А при сыне председателя, Левитове-маладшем, колхоз и вовсе шагнет в миллионщики. Один за другим поднимутся клуб, детский сад, школа-десятилетка, жилой городок с Домом быта и магазином. К концу восьмидесятих годов уже всю будут работать пилорама, маслобойка, консервный завод, механизированный стан для техники с гаражом и кузницей. Одних тракторов двадцать пять штук, десятков комбайнов, столько же грузовиков. Жить бы и жить! Так нет...

5

Нынешней тяжелой зимой Ефрем Иванович Подкорытин, лежа на топчане у печки, частенько перелистывал свою жизнь, страницу за страницей. И картинки были живые, в красках, со звуками и даже с запахами.

...Вроде как весна уже наступила, первая военная весна, с тревогой, мартовской каплей и синим по утрам снегом. Снег пестрел черными мышинными катышками. Осенью сорок первого в Топорове и в других деревнях случилась мышинная напасть. Овес убрали наспех, на полях осталось много корма, мышь плодилась без счета, сновала по амбарах, а потом поперла в избы. Старики говорили: к голоду. Ефремка видел исход мышей – рыхлый серый оползень скатывался с угора и полноводным ручьем стекал к Клязьме, преодолевая водную преграду. Сколько полевок утонуло – неизвестно, еще больше осталось. И правил этим вражьем полчищем, как утверждала бабушка, мышинный царь. Ефремка ходил в школу в подшитых валенках, шел упористо – мужичок с ноготок, сшибал по дороге палкой розовые от солнца сосульки. В школе было тепло, в коридоре пахло булочками, что давали ученикам на переменках. Там, в ребячьей суতোлке, он и узнал, что приехала новая учителька и будет она вместо тети Кати. Больше никто ничего не знал, потому Ефремка несся домой как угорелый и поспел в самый раз. В светелке за столом сидела вся оскудевшая за первые месяцы войны семья Подкорытиных: дед, бабушка, мать и тетя Катя, одетая необычно, в гимнастерку, синюю юбку и хромовые сапоги, в петлицах кубари и значки, вроде как рюкзаки, из которых пьют змеи. На лавке обмяк зеленый сидор с поклажей.

– Садись, Ефрем Иванович, – со значением сказал дед. Мать потянулась к сыну, но дед только повел прибитой сединой бровью. – Сиди, Мария, Ефрем не дите уже, мужик, заместо отца и дядьки. Вот, значит, какое дело. – Он надолго задумался, и видно было, как синяя жилка бьется на его виске. Тряхнул головой и

продолжил: – Нонче Катерину провожаем на войну. Раненых спасать будет, отвоюет, значит, за мужика и деверя, коль те сложили голову... Кха-а! Святое дело!

Потрескивали в печке дрова, в золотом луче, что дерзко бил в окошко, плавали пылинки. Ефремка сидел, опустив голову, думал, что чисто выскобленный стол, старинные чашки и миски с картошкой, самовар с медалями на жарком боку, да и сама изба с печью – долговечны, а вот люди... Два места за столом уже пустовали, а скольких еще возьмет война? И не детское уже его сердце тревожно билось.

Новую учительку тоже звали Катерина, была она беженкой из самого Минска, тоненькая, беленькая, с глазами цвета луговых фиалок. Муж ее, лейтенант, погиб в первые дни войны под Брест-Литовском. Приехала Екатерина Федоровна не одна, а с дочкой Наташей, тоже худенькой, беленькой и голубоглазой. Наташа двумя годами младше Степки, но уже умела бойко читать, писать и примерно успевала по арифметике. Председательша колхоза, с дозволения деда, поселила учительку в опустевшую дядькину избу. Приглядевшись к подселенке, дед Степан Степанович взял вдову под опеку. И если бы не он да мать с бабушкой, не выжить бы эвакуированным беженцам в первый год войны. Екатерина Федоровна – городская, к деревенской работе не приучена, да и здоровьем слаба, чуть что болеет. Но уже через год на благодатной вязниковской земле окрепла, румянец проступил на опавших щеках, и ворочала теперь, как и все бабы, и в огороде и по дому, и за скотиной ухаживала. И малая девка все при ней. В особо лютые зимы, когда от мороза трещали старые вязы, дым уходил серым столбом в небо и к избам подбирались волки, дед брал эвакуированных к себе в избу. Под приглядом, да и дровам экономия. Ефремка и Наташа делали уроки за столом в светелке. Ефремка был на голову выше девочки, его тянуло в кузницу, к деду, любил он возиться с железьяками, воду из родника таскал ведрами, как взрослый мужик, а

вот в учебе успевал плохо, особенно не давался ему русский язык. И читать не любил. Учебник «Родная речь» изрисовал зверушками, случалось, сбегал с уроков. А в школе, бывшем доме купца Половодова, больше всего ему нравилось печки топить и дрова рубить. Стал он главным истопником, да и другую работу делал охотно, за что Екатерина Федоровна поручила ему звонить на переменах в колокольчик. А Наташа из года в год шла круглой отличницей.

Дом держался на деде, он заматерел, как старый дуб, горе выбелило бороду и жесткие, как проволока, волосы. А силен был, как прежде, с утра до вечера звенел его молот в кузнице. В соседних мелких колхозах своего кузнеца не было, вот и шли люди к нему. Не отказывал. Да и как откажешь? В деревне одни старики да бабы остались. А как принесли на сноху Катерину похоронку, совсем молчуном стал. А бабушка все курлыкала, рассказывала внуку и беженке сказки.

Что и говорить, разные страницы были в жизненной книге Ефрема Ивановича Подкорытина: светлые и черные. Черных поболее. И каждая болью отдавалась в сердце.

...Отчего так вышло, никто толком не знал. Либо сверху указание спустили, либо козни районного начальства. Староверческая церковь стояла в Топорове издавна. До войны, в войну, да и после, никто ее не трогал, видно, Господь оберегал, прихожан было мало, служили в церкви тихо, никому не мешали и вот...

Беда случилась осенью сорок девятого года. С утра шел дождь, надоедливый, мелкий. Клязьма лежала в тумане. Степан Степанович с внуком завтракали, когда прибежал старик Аверьянов и с порога, утирая слезы, крикнул:

– Степан, собирайся, церковь нашу разоряют. Может, отстоим миром. Спаси и помилуй, Господи!

– Кто?

– Гришка Терехин, библиотекарьша Милка. Руководит всем бухгалтер Волос. Ну и Радио там, речи говорит. Пока до тебя добежал, чуть Богу душу не отдал.

– Пошли, Ефрем, хватит исть!

Когда соскочили с крыльца, по деревне прокатился тягостный стон, затем другой, третий. Казалось, стонет земля.

– Колокола сбрасывают, – глухо сказал Подкорытин и перекрестился.

И пока шли к церкви, в деревне стояла жуткая тишина. Туча лопнула, из нее выкатилось солнце, но было оно черно, и все вокруг померкло. В этой зыбкой сутеми открылась Ефремке пугающая картина: дверь в церкви Святой Троицы выломали и теперь, желтея изодранной филенкой, лежала она прямо на могиле основателя церкви отца Иоанна. Деревенский пьяница Гришка Терехин забрался на самую луковку, крепил веревку к основанию восьмиконечного креста, библиотекарьша Милка, простоволосая, в мужской обвисшей телогрейке ведьмой подскакивала, пытаясь поймать кончик веревки. Шабаш! Чуть поодаль стояли председательша Радио и бухгалтер Евсей Волос, тощий, горбоносый, нездешний. Около церкви мокла под дождем горстка прихожан. Ефремка с испугом глянул на деда, был тот черен лицом, оттого борода казалась иссиние-белой.

Радио отбросила дымящуюся самокрутку и сиплым голосом сказала:

– Граждане колхозники, правление решило закрыть этот вредный центр средневековья и разместить в помещении клуб. А то живем в дикости, кино негде смотреть.

В голосе ее не слышалось прежней уверенности, да и вся она была какая-то обмякшая. В образовавшейся тишине, пробивая мокрядь, послышался слабый голос старика Аверьянова:

– Дозвольте святые иконы взять. Крушить их – грех!

– Грех, грех! – прошелестело среди прихожан.

– Пусть берут, – подсказал председательша Евсей Волос.

Председательша вяло махнула рукой. Мол, берите, чего там. Библиотекарьша Милка, краснея от натуги, дернула за веревку, обвисла на ней, крест хрястнул, но устоял. Гришка Терехин пнул его ногой, посколькунулся и, цепляясь ручищами за мокрую крышу, с воем рухнул на землю.

Звук от его падения получился емкий, тупой, будто грянула бочка с водой. Воронье сорвалось с голого вяза и шарахнулось в низкое небо. Чуть позже упал крест. Народ отшатнулся. Стало тихо, смолкли причитания. И в этой тишине пугающе громко прозвучал голос Степана Степановича Подкорытина:

– Будьте вы прокляты, нехристи!

Об этом долго потом говорили в деревне. Проклятие сбылось. Через полгода Евсея Волоса разбил паралич, библиотекарьшу Милку насмерть забодал бык, председательшу Господь почему-то пощадил, а вот сын ее, Ленчик, студент, приехавший на побывку, без видимых причин повесился в отхожем месте. Клуб долго не простоял, весной при ясной погоде сторел дотла, один фундамент остался.

6

Ефрем пошел в подкорытинскую породу, к сроку идти в армию вымахал за метр восемьдесят, от кузнечных дел раздался в плечах, волосы русые, глаза синие – русский богатырь. Только вот молчун, смотрит в землю, на посиделки и танцы не ходок, не курит, вина не пьет. Работа – дом, дом – работа. На призывном пункте районный военком оглядел парня и сказал, щурясь, как кот на сметану:

– С такими данными, Подкорытин, тебе в самый раз в кремлевской охране состоять. В Москву хочешь?

– Не-е! Грамота – четыре класса. К тому же я из семьи верующих. Нам оружие в руки брать никак нельзя. Разве что в войну, когда за веру и отечество.

– Как так? – изумился военком.

– Из староверов мы. Мне бы к машинам каким-либо в кузницу. И по плотницкой части я горазд. Словом, ко всякой работе приучен.

Так и оказался Ефрем в военно-строительном отряде, что пробивал сквозь тайгу бетонку, чтобы выстроить в глухомани шахты для ракет наземного базирования. От причала, где высадили с парохода военных строителей, до бли-

жайшей поморской деревни верст тридцать на тягаче либо тракторе. Летом – комары да мошки жрут, зимой – морозы за тридцать. Глядел Ефрем на могучую реку Северная Двина, что тяжело несла стальные воды, думал, не чета она Клязьме, та и в паводок такой шири не достигает. И лес другой: угрюмый, строгий, то ли дело вязниковские звонкие боры и солнечные березовые рощи. Строители, по большей части призванные из республик Средней Азии, испуганно попритихли, шелестели на своем языке, озираясь вокруг.

Ефрем быстро приспособился к таежной жизни. Вскоре его назначили бригадиром. Военные строители вгрызались в тайгу, отвоевывая метр за метром, отдаваясь от обжитого городка. Первыми шли бригады лесорубов, валили корабельные сосны – гул, треск, вой моторов гусеничных трейлеров разносились вокруг, распугивая зверье. Стволы оглаживали сучкорезами, складывали по обе стороны просеки. Гибли под гусеницами поля голубики, изуродованная, в черных рывтинах земля парила, над болотами летом пластался зеленый туман, особенно пугавший азиатов с распухшими, изъеденными гнусом лицами. Несмотря на сердитые окрики старшин, узбеки и таджики в определенные часы останавливали работу и, постелив на мох грязные солдатские полотенца, становились на колени и молились своему Богу. Много было среди них больных, случалось, выкупавшись в лесных озерах, кишастых водяными крысами, взводами отправлялись в лазарет с лихорадкой.

Вслед за лесорубами шли строители, трактора и трейлеры волокли жилые кунги, вагончики, разбивали палаточный лагерь, с базы перетаскивали разборные финские дома, ставили их на наскоро вбитые в мерзлоту сваи, и вот уже по тайге плыл ароматный дымок полевых кухонь, слышался лай собак, в громкоговорителях громыхала музыка. Лесную жизнь Ефрем переносил хорошо, с охоткой. Командир военно-строительного отряда полковник Левчук, узнав, что сержант Подкорытин охотник, лесовик, стал брать его с собой на охоту, били

в основном зайцев, пару раз удалось завалить сохатого, иногда на вездеходе забирались в такие дебри, что карта не помогала, выручало чутье Ефрема, умение ориентироваться в лесу. Хоть и Север, а приметы для зоркого глаза те же, что и в родных местах. Крутолобые валуны, подернутые сизым лишайником, хмуро глядели из зарослей, в лесных прозрачных озерах рыба брала на пустой крючок, узбеки и таджики, кто покрепче, пообвыкли, говорили, подражая сержанту Подкорытину, по-владимирски окая.

Ефрем жадно учился, освоил дорожную технику, мог работать крановщиком, лесорубом, строителем, знал – сгодится в деревенской жизни. Когда становилось невозможно от обжигающих снов, уходил в лес или качал двухпудовые гири. Другие сержанты так себя не блюли, садились в самосвал и уезжали в соседние деревни добыть самогон и наспех помять на сеновале девок. У Ефрема все мысли были только о Наташе. Когда прощались, Наташа коснулась его щеки губами и тихо сказала: «Возвращайся поскорей, братик». Так и застряло в голове – «братик». Их и впрямь считали братом и сестрой, всегда вместе. Была Наташа в ту пору яблоком дичком, голенастая, неловкая. А мать писала: «Наташа прямо расцвела, невеста совсем. Уже и ухажеры имеются, только девонька им от ворот поворот дала. На каникулах вечерами все больше дома сидит, бабке книги читает. А коса у нее в кулак толщиной». Степан не мог представить Наташу невестой и оттого мучился, сны снились томительные, смутные. В армии он много чему научился, мастер на все руки, но все же Наташе не пара. Та после семилетки поступила в сельскохозяйственный техникум во Владимире, и председатель колхоза держал для нее должность агронома, колхоз ширился, огороды в пойменной луговине давали хороший доход, отстраивались фермы. Плетеные корзины заодно с мастером Аверьяновым направили в Москву на сельскохозяйственную выставку, и старому мастеру-плетенщику вручили грамоту, набирала силу и своя Машино-тракторная станция.

Командир отряда не раз говорил Ефрему:

– Оставайся на сверхсрочную, всю страну с тобой объездим.

– Нет, товарищ полковник, краше Топорова ничего на свете нет. И родные ждут меня не дождутся. Мы, Подкорытины, к земле приросли. Куда я без нее?

После демобилизации явился Ефрем Подкорытин-младший в родную деревню в новой с иголки формы, сверкая выточенными из нержавейки сержантскими лычками, имел при себе офицерский полубубок – подарок командира отряда – и пухлую пачку грамот от командования военно-строительным управлением. Могучую грудь его украшали значки. Жених хоть куда. У многих девчат тогда в надежде забились сердечки. Только зря, все мысли были у сержанта о Наташе. Наташа на встречу приехать не смогла – сдавала последние экзамены в техникуме. Народ ожидал деревенского праздничного застолья. Помолодевший дед Степан Степанович укоротил ходоков, любителей выпить на дармовщину: «На чай с пирогами милости просим. А с вином – извиняйте, сами не принимаем и вам не советуем. Грех!» Мужики поворчали и утихи. Что с Подкорытиных взять, староверы, двухперстники. Отдохнув с дороги, Ефрем с дедом отправились в мастерские МТС. Там было чему удивиться, председатель слово свое сдержал: в крытом жестью ангаре стояли два трактора и комбайн – все новые. В мастерской станки, кузницу перенесли в соседнее с мастерской помещение, чтобы все было под рукой.

Ефрем с головой ушел в работу, пытаясь перебить мрачные мысли, грызло сомнение: не спешит Наташа, значит, не люб он ей, а когда из легковушки выпорхнула перед родительской избой городская девушка в модном платьице, с высокой прической, и совсем растерялся, не знал что делать. А Наташа шла ему навстречу, сияя голубыми глазами. Когда Ефрем подхватил ее на руки, шепнула: «Ну что, рад меня видеть, медведик? За муж возьмешь?»

Такой вот нездешней, праздничной он запомнил ее на всю жизнь.

Свадьбы вышло две. Одна тайная, с венчанием в старообрядческой церкви в деревне Рытово – дед настоял, другая же – широкая, с приглашением гостей, вином и музыкой. Свадьбу вел сам председатель колхоза Левитов, в парадном костюме с орденами и медалями. Ослушаться его даже дед не решился. Иное время. Молодых проводили до избы, председатель напутствовал их веселыми словами и дал две недели отпуска. Наташа уговорила Степку поехать во Владимир. Вроде как в свадебное путешествие. И были то лучшие дни в жизни Ефрема.

Славно в сказке сказано: жили они счастливо и умерли в один день. Умереть в один день не вышло, а вот жизнь Подкорытины-младшие прожили счастливо, подруги Наташе завидовали: мужик из себя хорош, справный хозяин, все в дом, не пьет, не курит, а чтобы на сторону сходить, – такого и подумать нельзя.

В их жизни был лишь один черный день, когда Наташа вернулась из Вязников, ездила в женскую консультацию показаться. Вернулась поникшая, с серым лицом, тихо сказала мужу: – Не будет у меня детей... Никогда не будет. Хоть в Москву, хоть куда поезжай – не вылечат. Врожденное у меня. – Подняла синие измученные глаза и твердо, видно готовилась, сказала:

– Ты мужчина видный, в самой силе, тебе жену здоровую нужно, чтобы детей нарожала. Отпущу... – И заплакала, жалко морща лицо.

Ефрем погладил ее по голове:

– И не думай, грех так говорить. Мы ведь с тобой венчаны. А дите... Что же тут поделаешь, все в воле Божьей. Теперь я у тебя дитем стану. Малое, малое, весом в семь пудов. Только воспитывай...

7

Беда сошла на семью Подкорытиных, как и по всей России, в перестройку. Топорово не Москва и не Владимир, говорунов-глотников особо не было, так, посадили мужики и бабы да разошлись, а вот знаки наступления худого времени

были. Первый Божий знак – сель, сорвавшийся с косогора на деревню. Неделю шли дожди, каких старики не помнили, словно плотный стеклянный занавес кто вывесил, до поры грязь копилась в Аксеновском овраге, а потом выплеснулась тяжелой массой, снося все вниз. Основной удар пришелся по опустевшей избе старика Аверьянова, ограду и ворота опрокинуло, смыло в Клязьму огород и соседского поросенка. А тремя днями позже рухнула несущая стена в доме купца Половодова, а за ней и кровля. Случиться такое никак не могло без вмешательства темных сил, дом был рассчитан на столетия. Обвалилась часть дома на заре, когда обитатели его спали, ухнуло громко, считай, с войны такого шума не слыхивали. Потом посреди тишины возник полный отчаяния женский крик, он и разбудил Ефрема Ивановича Подкорытина. Через три минуты бежал он к дому, а там, посреди меловой пыли, искрила, потрескивая, проводка. Боковая стена легла внутрь, разом придавив насмерть две семьи. Остальных с ранениями увезли в Вязники в городскую больницу. С той поры и торчал гнилым зубом купеческий домина, рождая всякого рода слухи. С годами руины поросли чертополохом и одичавшим шиповником.

Дальше – еще беда: скоропостижно скончался председатель колхоза-миллионера Левитов-младший. Мужуку чуть за пятьдесят перевалило. Говорят, ехал он на «газике» к консервному заводу, при тормозил на повороте, машина ткнулась носом в межевой столб и встала. Доярки, возвращающиеся с фермы, обнаружили председателя, Левитов уже не дышал. И тотчас, словно воронье, кинулись на колхоз нездешние люди, не то армяне, не то еще кто, быстренько обстрипали делишки, превращая могучий колхоз в подобие фермы, что-то вроде общества с ограниченной ответственностью.

Подкорытин не мог без горечи смотреть, как разоряют колхоз, как умирает родная деревня. Пашни новым горе-фермерам, а попросту жуликам, оказались не нужны и вскоре поросли

сорной травой, бурьяном, на месте огородов – детища Наташи – серебрилась полынь, топорщился чертополох. Коров и бычков становилось все меньше и меньше, в одночасье сгорел консервный завод, поставлявший продукцию в Нижний Новгород и Владимир. Стала прибалывать Наташа, обтянулось, пожелтело лицо, Ефрем Иванович отвез жену в Вязники на обследование, заподозрили нехорошее. Мать забрала ее из больницы через три недели, Наташа стала молчалива, поблекли ее голубые глаза, частенько теперь ее можно было застать у образов, просто стояла, глядела на иконы, но не молилась. А потом вдруг исчезла. Последний раз видели ее на месте, где раньше были разбиты огороды, мелькал ее сарафан среди разросшегося бурьяна. Ошалевший от горя Подкорытин метался по деревне, в поисках жены обшарил близлежащие леса, из Вязников приехала следственная бригада – пусто. Был человек, нет человека. И лишь через два месяца рыбаки нашли тело утопленницы у Поддувала, на правом берегу, где река подходит под крутой берег, неподалеку от дома бакенщика. Прощальной записки при ней не было, поэтому решили, что произошел несчастный случай. Ефрем Иванович за эти месяцы посидел и стал ходить на своего деда.

Жизнь Подкорытину теперь казалась то очень длинной, то совсем короткой. Вроде бы вчера мать собирала его в школу, гладила рубашку, провожала, хотя идти всего ничего – наискосок через дорогу половодовский дом. Во дворе школы построение учеников – торжественная линейка, праздничные платица девочек, разноцветные рубашки мальчишек, директор школы Иван Ильич, танкист, потерявший ногу еще в Финскую войну, говорил речь, а из садов наплывал запах яблок, где-то бляела коза...

И вот он, Ефрем Иванович, уже старик, на две избы один горемыка. Как-то незаметно, один за другим ушли бабушка, дед, мать. И то, что они не болели, а просто легли спать и не проснулись, и случилось это всегда осенью, во время пышного бабьего лета с серебряными па-

утичками в саду, голубым, безоблачным небом, ломало представление Ефрема Ивановича о смерти. Вспоминались слова деда, когда семья стояла у свежей могилы бабушки: «Что же горевать, пожила Анна, царствие ей небесное, стопталась вся от работы. Хоть отдохнет теперь». И мутная стариковская слеза скатилась по морщинистой щеке, путаясь в бороде. А все вокруг противилось смерти, деревья лишь местами пожелтели, крыши изб деревни Ильина Гора блестели на солнце, по небу, роняя стеклянные звуки, разворачивался клин журавлей.

Кладбище, где лежали несколько поколений Подкорытиных, было светлым, знакомым, и, помнится, Степану Ивановичу пришла тогда в голову мысль, что лежать здесь, среди родных, хорошо, другое дело отец, дядя Николай и тетя Катя, у них и могил-то нет – закопали в лесу или в противотанковом рву, вот и все. Им тяжелее.

Совсем по-другому выглядело кладбище, когда хоронили Наташу. Недавно прошли дожди, рыжая земля хлюпала, разъезжалась под ногами. Оглушенный, отупевший от горя Ефрем Иванович с ненавистью глядел на сизую брюхатую тучу, надвигающуюся из заречья. Тогда он впервые усомнился в существовании Бога, и потребовался год с лишком, чтобы он, пересилив себя, подошел к образам с молитвой.

А минувшей весной, в мае, Ефрем Иванович похоронил тещу Екатерину Федоровну. Высохшая, как моль, старушка после смерти дочери прожила без малого пятнадцать лет, сохранив ясный ум и память. И ведь избу сама содержала и за Ефремом Ивановичем приглядывала. Дня за три до кончины сказала: «Вы, Ефрем Иванович, как помру, избу продайте, без людей она разрушится, а так еще постоит. Да и деньги вам будут не лишними». Всю жизнь звала зятя на «вы» и, как ни пытался Подкорытин обратить ее к вере, отмалчивалась. И нательного креста не носила. Вот как бывает.

Но и в наше гибельное время, когда все вокруг рушится, случались у Ефрема Ивановича светлые, рождающие надеж-

ду дни. В сентябре 2005 года в Топорово приехал владыка Корнилий со священством, прихожанами из соседних деревень, чтобы отслужить службу на месте старообрядческой церкви. Накануне Подкорытин и другие прихожане расчистили фундамент, оставшийся от разрушенной церкви, поставили памятный восьмиконечный крест на том месте, где она стояла, а на могиле отца Иоанна посадили цветы. Прихожан уже осталось мало, раз два и обчелся, но староверческая епархия обещала восстановить церковь, а пока раз в неделю Подкорытин на перекладных добирался до села Рытово в церковь Успения Пресвятой Богородицы помолиться. Домой являлся нередко глухой ночью, но усталости не чувствовал, был полон сил, готовый прожить в труде еще неделю.

Как ни обороняйся от лукавого, как ни молись, а нет-нет саданет бес под ребро, огреет мохнатой лапой с копытцем. Что и говорить, были у старика сомнения, иссушающие душу. К примеру, в чем промысел Божий, в чем нужда, чтобы он, Подкорытин, все больше ощущая немощь, остался один. Почему Боженька не прибрал его раньше, было бы кому хоронить, поплакать на могилке. Разве есть на нем тяжкий грех? Никого не убивал, не крал, не прелюбодействовал, честно всю жизнь трудился. В чем причина? И еще, почему Бог детей не дал, ни ему, Ефрему, ни дяде Николаю? За что решил извести до корня подкорытинскую породу? Разве справедливо? А если ТАМ нет ничего, нет спасения, одна пустота и все кончается землей, где плоть лишь пища для червей? Почему взял Господь отца и дядьку – те только в силу вошли. А безгрешную сноху Катерину? Батюшка пояснил, что прибирает Господь лучших, чтобы пополнить светлую небесную рать. Почему же эта рать не покарала правителей, что обкорнали Россию, не предала огню тех черных людей, что разорили колхоз-миллионер, обратив плодородные земли в пустоши и пустив тружеников по миру.

А где-то в глубине, на самом доньшке, лежало, пожалуй, самое горькое сомне-

ние: почему так странно ушла из жизни Наталья? Несчастный ли случай то был или сама наложила на себя руки, испугавшись, что не перенесет мук?

Рвалась истерзанная душа, рвалась в ключья. А часом позже бес сомнения отпустил его, и он снова укреплялся в вере.

Теперь частенько Подкорытин стал по слабости отключаться. Сядет на лавку у печки и вдруг уснет. Дремлет минут десять, проснется от какого-нибудь иномродного звука, что вплетается в дыхание старой избы, все вроде на месте, все тут, а тревожно.

На этот раз проснулся от запаха, будто в жаркий полдень пахнуло разнотравьем, и сразу слеза набежала. На стене у печки который уже год висел пучок луговых трав, от него и запах. В молодости любил он сенокос, но не артельно, а в одиночку, где-нибудь в пойме Клязьмы, на луговине. Река плоско блестит, как лезвие косы, на небе ни облачка, воздух неподвижен и густ от запаха трав – тут и мышиный горошек, и клевер, и мята, и ромашка, и поповник. А как ломит усталость, отложив косу, хорошо пасть лицом в душистую траву, кузнечики стрекодут у самого уха, где-то неподалеку покрякивает селезень – красота!

Считай, с пятнадцати лет видел все одно и то же: обожженную, в копоти наковальню, дымно-красную, с оранжевой сердцевинкой поковку, из которой под тугими ударами молота рождалась нужная железяка, слышал сиплое, запыленное дыхание мехов у горна. И когда казалось, выжигал душу работой, все бросал и уходил лечиться лесом. Председатель колхоза не перечил, знал, что Ефрем работает. Еще пацаном, прихватив дедову берданку шестнадцатого калибра, обошел он все левобережье, знал тропы, приметы. Как-то забрел в глухие леса неподалеку от Талицы. Было это вскоре после войны. По дороге к этой лесной деревне шел нескончаемый строй немецких военнопленных. Офицеры и солдаты в оборванной форме, коротких сапогах, из которых торчали портянки, брели, стараясь идти в ногу, звякали котелки, звучали короткие команды, а по

обочинам дороги шагали конвойные с автоматами ППШ на плечах. Позже Ефрем узнал, что эшелоны с военнопленными разгружались в Вязниках и немцев конвоировали в Талицы, где был развернут большой лагерь. Немцы работали на лесозаготовках, строили лесопилки, среди леса вырос поселок Почайка. В Крестах раскинулось немецкое кладбище. Ефрем побывал там в семидесятые годы – кладбище с березовыми крестами исчезло, песок и болота всосали могильные холмики, а лесная просека поросла молодыми сосенками. В послевоенную пору деревенские модницы щеголяли в пальто, перешитых из немецких шинелей. Оголодавшие военнопленные меняли одежду и вещи на хлеб, подворовывали картошку с колхозных полей.

Несколько лет назад, сколько, уже не вспомнить, Ефрем Иванович, измученный одиночеством, увидел сон: приснился ему дед, был он спокоен, благостен, сказал: «Сходи, Ефрем, на Егорьевские озера, ружьецо возьми, тебе и полегшает». Проснулся Ефрем Иванович, борода от слез мокрая, вспомнил, как ходили они с дедом еще до призыва в армию на Егорьевские озера поохотиться, порыбачить, раков под коряжником поискать. Дед Степан Степанович показал пустошь, где в стародавние времена стоял Свято-Егорьевский скит, а потом и монастырь. В двадцатые годы чекисты монастырь сожгли, рассказывал дед, а монахов и насельников с малыми детьми расстреляли. На то место и звери теперь не заходят, боятся потревожить сон мучеников.

Собираясь Ефрем Иванович недолго, просмолил старую, еще дедову плоскодонку, набил малой дробью патроны шестнадцатого калибра для берданки, взял сидор с нехитрой едой, кинул в лодку овчинный кожушок и готов.

Август пришел жаркий, духовитый, Клязьма обмелела. Ефрем Иванович спустил плоскодонку на утоптанном скотиной «коровьем пляже» и пошел неспешно на веслах наискосок по течению, отыскивая приметку – кряжистый дуб на левом берегу, от которого начи-

налась протока, соединяющая Клязьму с Егорьевскими озерами. Протока заросла, осталась полоска в два-три метра, да и ту илом забило. Пришлось разуваться, тащить лодку волоком. Ивняк переплелся над головой, образуя душный зеленый тоннель. Вода холодила стопы, из-под ног прыскали желтоспинные пескари и прозрачные мальки. Солнце еще не набрало силу, булькала вода, покрикивали в зарослях потревоженные птицы. Метров через сто обозначился просвет, а за ним открылось и само озеро – первое из трех Егорьевских озер. Ефрем Иванович перебрался в лодку, оттолкнулся веслом от песчаного дна и погреб, чувствуя, как шелестят, трутся о днище водоросли. Прозрачная вода у забережья поросла кувшинками, над развернутыми к солнцу головками цветов носились стрекозы. От водного простора веяло покоем. Справа замерла в безветрии дубовая роща. Левый берег порос ивняком, за ним, на песчаном угле, темнел сосновый бор. Метров через пятьдесят открылась болотистая низина, по которой бродили цапли. Протоку во второе Егорьевское озеро старик едва разыскал среди камышей. Второе озеро было меньше – десять минут на веслах, пробиться в третье так и не удалось, путь преградили плотины, построенные бобрами. Подкорытин, ощущая в теле позабытую приятную усталость, вытащил плоскодонку на песчаную отмель, бросил под куст кожушок, прилег. В розовеющем небе кружили потревоженные цапли, потрескивали кузнечики, на солнце комары уже так не доносили. Есть Ефрему Ивановичу не хотелось, да и вообще навалилась истома, так бы и лежать, бездумно глядя в небо...

Должно быть, он задремал, потому, как ему показалось, что он не лежит, а идет дальше, раздвигая кусты. За бобровыми запрудами открылось ему третье озеро, мелководное, бело-розовое от водяных лилий, и столько уток в нем плавало, будто собрались они на слет со всей вязниковской округи. Дрогнуло сердце охотника, вскинул Ефрем Иванович ружьецо, стал выцеливать крупного селез-

ня – тот уже не хорохорился, а степенно оглядывал подросший выводок. Красив он был необыкновенно – прямо утиный царь. Нажать на курок охотник не успел, совсем рядом услышал голос:

– Неужто бы выстрелил, мил человек? Такую красоту порушить? – Ефрем Иванович оглянулся. На песочке, у самого уреза прозрачной воды, стоял старенький монашек в черной рясе и новых лаптях. По повадке, манере держать себя монах не из простых, а скорее игумен. Ласково глянув на Ефрема Ивановича, монах продолжил: – Уточки, что дети малые, человеков не боятся. Не обижай их. Грех это.

Монашек махнул рукой, и утки поплыли к нему со всех сторон, сыто покрякивая. А с дальних отмелей взметнулись цапли, были их десятки, а может, и сотни, они скользили в воздухе, загораживая небо. Ломая ветви зарослей, на берег Егорьевского озера вышло стадо золотистых оленей...

Ефрем Иванович проснулся, чихнул – травинка в нос попала, вытер пот со лба, огляделся. Монаха не было, значит, привиделось. Справа, в зарослях, вилась утоптанная тропинка, ведущая, видно, к пустоши. С прошлой поездки мало что помнил Ефрем Иванович, да и все изменилось вокруг, и только дубовая роща на правом берегу стояла нерушимо, властвуя над зарослями ивняка и березовым подлеском. Старик спустился к лодке, достал котелок, зачерпнул озерной воды, напился. Справа, позади, за темно-зеленой дубравой, на холме виднелась горстка изб, скорее всего деревня Тарханово. Дальше на лодке не пройти, придется двигаться посуху. Подкорытин бросил в лодку овечий кожух, вскинул на плечо берданку стволом вниз и пошел, продираясь сквозь заросли. Кое-где ветви кустарника обломаны, значит, по этой тропе люди часто ходят. Через несколько минут открылась луговина, слева, среди камышей, вилась протока, перегороденная бобровыми плотинами: серые, обгрызанные бревна, переложенные ветками, проемы забиты речным илом. У Ефрема Ивановича ломило в висках, но дышалось легко, и то,

что мучило его в последние дни, растаяло здесь, среди зелени, птичьего щебета, запахов болотной воды. Впереди проступил мосток, срубленный из темных бревен, местами желтели на солнце заплатки – мост недавно ремонтировали, и дерево не успело потемнеть. За мостом на возвышении блеснул купол бревенчатого храма, дальше, на поляне, окруженной березовой рощей, виднелись строения скита: избы, амбары, складские постройки. Где-то лаяли собаки. Возле ближней избы стоял зеленый «уазик». Из храма вышел монах, размашисто перекрестился и направился к автомобилю.

Ефрем Иванович минут двадцать постоял, глядя на скит, ближе подойти не решился, ноги от усталости затекли, перед глазами плавали черные точки, нужно было возвращаться. Он обернулся и замер: сквозь струящееся марево проступал топоровский косогор с березовой рощей на гребне – яркий, светящийся белый мазок на зеленом фоне.

После поездки на Егорьевские озера на душе у Ефрема Ивановича полегчало, осталось, правда, ощущение, что он чего-то не успел, не сделал, да и видение с монахом смущало своей жизненностью.

8

Весна в том году выпала скорая, с бурным паводком, вода накатила аж до канавы, что вырыли экскаватором еще при Левитове-старшем для перекрытия паводковых вод. В канаве той на краю усадьбы Подкорытина поселились бобры, выстроили плотину, оттого вода, минуя перекрытие, залила соседские огороды. Бобры людей не боялись. Да и кого бояться? Считаю, на левой стороне деревенской улицы жилых осталось шесть изб, четыре из них пустовали – дачники, москвичи и нижегородцы, по осени убрались восвояси. Правая же сторона, где избы лепились к косогору, и вовсе обезлюдела. А когда сошел снег и весенний ветерок подсушил землю, к избе Подкорытина подкатила иномарка. Из нее выбрались трое: бывший

тракторист Васька Балабанов, в летах уже краснолицый мужик в заячьей шапке, тоненькая женщина и седобородый мужик – оба в ладных красных курточках и синих резиновых сапожках. Балабанов погромыхал в филенку. Ефрем Иванович не спешил открывать, прикидывая, зачем и откуда непрошенные гости. Первая мысль – дачники. Дачников старик не уважал: безрукие, гвоздя в стену вбить не могут, деревня для них баловство, лето прожил и до свидания. Иные только на субботу и воскресенье приезжали шумными компаниями на шашлычок с выпивкой на воздухе. Пустой народ. Балабанов громыхнул еще разок. Ваську помнил Ефрем Иванович еще парнем, любителем выпить и подраться. Один раз до того надрызгался, что стал бросаться на мужиков с колом. Ефрем скрутил баламута и сунул торчком в бочку с водой. Тот едва не захлебнулся, зато сразу протрезвел.

Набросив на плечи телогрейку, Ефрем Иванович вышел к приезжим. От Балабанова пахло кислым перегаром, он утер ладонью нос и просипел:

– Иваныч, тут люди из Нижнего, желают дом купить. У тебя учителькин дом пустует, может, продашь?

– Отчего же, можно. – Ефрем Иванович остро глянул на седобородого. Глаза темные, нос с горбинкой, борода густая, с рыжими подпалинами. В силе еще мужик. Спросил:

– Из евреев?

К евреям старик относился настороженно. Смутный народ, сомнительный, коли на Спасителя руку подняли.

Седобородый улыбнулся:

– Русский. Грузины в роду были, евреев нет. – Протянул руку: – Козырин Юрий Антонович, а это жена, Анна Николаевна.

Рука у Козырина была сильная, в мозолях, рука рабочего человека. Подкорытин потеплел.

– Дом для дачки решили приобрести?

– Почему? Для жизни. Насовсем хотим сюда с женой перебраться. Мои предки из деревни Ильина Гора. В начале двадцатого века в Нижний Новгород переехали, да и остались там.

– А что, в Ильиной Горе домов нет?

– Подходящих нет.

– Ладно, пошли избу посмотреть. А ты, Василий, ступай, сами разберемся. Вечером зайди, ежели дело сладится, отблагодарю.

И дело сладилось. Козырин внимательно оглядел избу, в подпол лазил, колулал ногтем дерево, нюхал, и своей обстоятельностью все больше и больше нравился Ефрему Ивановичу. И совсем не обидно было, что этот чужой человек по-хозяйски ходит по избе, а жена его кипятит на кухне чай и раскладывает по тарелкам не городскую еду, а пироги своей выпечки. Сговорились и о цене, таких деньжищ Подкорытин сроду в руках не держал – пятьдесят тысяч, к тому же Юрий Антонович пожелал купить мебель, какая есть, домашнюю утварь и даже старинный ткацкий станок, что лет пятьдесят простоял в опустевшем хлеву. Козырин пояснил Ефрему Ивановичу: «В доме должен прежний дух остаться». Потом поехали в Вязники оформлять купчую у нотариуса, за день и управились со всем. Ночевать Козырины остались в избе, и Ефрем Иванович долго стоял у окна, глядя, как весело бежит из трубы соседской избы дым.

Новый сосед оказался человеком опытным, хватким, уже через неделю у избы выросли штабеля бруса, белого кирпича. Бригада плотников споро возводила пристройку к избе, рядышком вырастал гараж. Крышу хозяин не тронул, а что, ей сносу нет, покрасить только для красоты нужно. Особый интерес проявил к оконным наличникам, за вечерним чаем расспрашивал Подкорытина, кто делал и у всех ли такие в деревне. А когда закончили пристройку и она радостно засветилась свежим деревом, Ефрем Иванович с удивлением убедился, что наличники на новых окнах точь-в-точь такие, что резал еще дед. Спросил:

– Кто резал?

– Я, – ответил Юрий Антонович.

– Ой ли?

– Пошли, Ефрем Иванович, покажу станочек в мастерской.

За апрель и май с хвостиком Козырин в бывшем сеннике оборудовал мастерскую, чем окончательно покорила Подкорытина. Все здесь было на месте, инструмент ухожен, новенький токарный станочек укреплен на станине. Были и наковальня, и молот, и неведомо где открытый древний горн. На крашенном в зеленый цвет фанерном щите вывешены старинные вещи: очищенные от ржавчины ножи, стамески, серпы и скребки различных размеров, тут же укреплены кадило с ручкой и неведомо как попавший в деревню железнодорожный керосиновый фонарь.

– Я тут в брошенных избах пошарил, такие удивительные вещи нашел. Неплохо до революции в Топорове народ жил. Вот, смотрите, инструменты известных английских и французских фирм: «Братя Пежо», «Шеффилд», «Кэньон», «Голмейн», «Белфорд».

– А проку от них, сточились, в дело не пустишь.

– Выбрать можно, остальное в Вязниковский краеведческий музей отвезу. Люди должны знать историю земли, на которой живут. Я на одном чердаке несколько старинных книг нашел, семнадцатый век. Музейщики были потрясены.

– За так отдал?

– А как же иначе? Не мне принадлежит, топоровцам.

– Верно говоришь, Антонович. Святое дело.

Ефрем Иванович кое-что уже знал о Козырине. Инженер-кораблестроитель, жена, сын и невестка тоже по этой части. Живут в Сормово, квартира двухкомнатная, хрущевского типа, четверо взрослых да два внука – не повернуться. Когда вышли Юрий Антонович с женой на пенсию, решили в деревню перебраться. Здоровье уже не то, а тут свежий воздух, экологически чистые продукты.

В июне был завершён первый этап работ по дому, Подкорытина пригласили на новоселье. Со смутным чувством входил Ефрем Иванович в избу, которую срубил его дед, а доделывали дядька Николай и отец. В сенях густо пахло соеной стружкой. Козырин в пристрой-

ке отделку еще не закончил, а вот кухню было не узнать, да и не кухня это была, а светлая столовая, обшитая золотистой вагонкой. Ничего лишнего. Отреставрированный Козыриным кухонный шкаф, украшенный затейливой резьбой, полка для посуды той же работы и, что особенно порадовало старика, посреди столовой царствовал прежний стол, чисто выскобленный и без скатерти. Старая печь – клал ее знаменитый деревенский печник Кадушкин – украшена голубыми изразцами. Где-то плитки эти Подкорытин видел, потом вспомнил – в порушенном половодовском доме. А что, пусть еще людям послужат, порадуют их. Даже холодильник упрятан в деревянный, с резьбой короб, поэтому инородной вещью в кухне не выглядел. И все сработано с любовью, с придумкой.

– Неужто сам все делал? Или нанимал?

– Сам, конечно.

– Что ж, коли руки есть, в деревне жить можно. А то, гляжу, нынешние дачники гвоздя толком вбить не могут.

Давненько старик не сидел за домашним столом: блины, пироги, щи постные с грибами, селедка с луком, убоина своего изготовления. Даже хлеб свой – для чего имелось специальное электрическое устройство. Среди прочего стояла на столе и водочка, Козырины выпили по рюмке и остановились – знают норму, уже хорошо.

В начале июня приехали сын с невесткой и двумя близнятами. Пацанчикам по восемь лет, светловолосые, сероглазые. Минуты на месте усидеть не могут. Сын с женой в воскресенье утром уехали в Сормово – отпуск только в октябре, дед с бабкой в заботах по дому и огороду. Да и других дел немало: то колодец чистить приспело, то класть баню, поэтому Миша и Вова переместились к Подкорытину. И все им было интересно: как смолить плоскодонку, на какую наживку берет в Клязьме рыба, хорошо ли спать на русской печке и не научит ли их деда Ефрем плести корзины и верши. Поначалу старик уставал, а потом привык. Страшные зимние ночи вспоминал с удивлением – вот до чего человек дой-

ти может! А рядом другая мысль: ежели явился миру Антихрист, то теперь у него, Подкорытина, есть главная задача – убе- речь от нечистого этих светлоголовых мальчишек, не дать ему возможность смутить неокрепшие детские души. По- тому и молился истово, нередко за пол- ночь. И не слышал он теперь надсадного воя. Разве что городские гуляки, наезжа- ющие порывачить на Клязьму, тревожи- ли ночную тишину похабными песнями. Как-то Ефрем Иванович заглянул к сосе- ду, вошел в светелку в поисках хозяина и замер на пороге: на стене висела икона нового письма, на которой был изобра- жен старенький монашек, стоял тот у со- сны в бору, а вокруг него звери. Ликом он был схож с тем монашком, что явился Подкорытину на Егорьевских озерах не то во сне, не то в видении.

– Кто таков будет? – спросил он у подо- шедшего Юрия Антоновича.

– Преподобный Сергей Радонежский. Сын икону подарил. Работа кисти ниже- городского иконописца. Список, конечно. Икона в церкви не освещена. Думаю, съездить в Вязники, освятить.

У Ефрема Ивановича невольно вырва- лось:

– Неужто был такой монах?

– Был, конечно, сподвижник князя Дмитрия Донского. После смерти игу- мена Сергея Радонежского канонизи- ровали. Со здешними местами подвиж- ничество Радонежского тесно связано. Отсюда километрах в пяти, если на пря- мую, за Клязьмой игумен скит основал, из которого потом монастырь вырос. Не- ужели не слышали?

– Это Егорьевский скит, что ли?

– Свято-Георгиевский, если точно.

– Бывал там. Подходить – не подходил. Монахи и насельники не нашей веры.

– Одной, православной веры, дорогой Ефрем Иванович! И анафема давно уж снята со старообрядческой церкви, ныне на равных она с новообрядческой. Раз- личия, конечно, есть, да в них ли дело? В наше смутное время церкви должны объединиться, ибо задача у них одна – спасение России. Эта как при старинных баталиях: левый фланг – кавалерия, пра-

вый – пехота, и направлены они против единого врага, разрушителя националь- ных ценностей, русской государственно- сти и культуры. Впрочем, религия – дело совести каждого, и любое вмешатель- ство в столь тонкую материю бестактно. Разве не так?

– Верно говоришь.

– А Свято-Георгиевским скитом я за- интересовался потому, как история у него интереснейшая. Вы присядьте, я кратко. Материалы о ските, точнее Свя- то-Георгиевской пустыни, я скачал из интернета, в архиве музея в Вязниках несколько часов просидел. Люди там приветливые, настоящие подвижники. Пустынь святого Георгия в излучине Клязьмы основал игумен Троица-Сер- гиевского монастыря Сергей Радонеж- ский. Почему святого Георгия? Название пошло от церкви Георгия Победоносца, построенной старцами в пустыни и на- званной так в честь победы в битве на Куликовом поле. В четырнадцатом веке по здешним местам косою прошлась черная чума. Деревни обезлюдели. Кто выжил, в леса подался спастись. А тут еще княжеская междоусобица, раздоры. Вот молодой князь Дмитрий Иванович Донской и митрополит Алексей и при- звали игумена Сергея Радонежского и наказали ему, чтобы он миром решил спор между враждующими князьями. В ту пору на берегах Клязьмы было много пустошей. После чумы большинство де- ревень были сожжены, уголья брошены. Пустоши еще великий князь Иоанн III отписал Троице-Сергиевскому мона- стырю. Кроме пустошей к монастырю отошли деревни Ярцево, Перово, Лужки, Городище.

В путь игумен Сергей отправился ран- ней осенью, а вернулся в свой монастырь к Рождеству. На обратном пути Сергей и основал среди лесов и болот на возвы- шенном месте у озера пустынь. Сделать такой выбор помог игумен Дионисий, рассказавший Радонежскому, что в пой- ме Клязьмы поселились старцы-отшель- ники.

Юрий Антонович взял папку, достал из нее листок, надел очки и стал читать:

– «Старцы-отшельники питались лыками и кошницы и сено по болоту косили. А пашни не имели, потому как вода поднималась вешняя от реки Клязьмы и от болот...»

– Язык-то какой? Музыка! – Козырин отложил папку и продолжил:

– Таким образом, Свято-Георгиевская пустынь стала чем-то вроде филиала Троице-Сергиевского монастыря. Сведений о Георгиевской пустыни, к сожалению, мало. Вроде как была на том месте лесная деревня Егорий, вы ее упоминали, но бесследно исчезла. Первые описания, сделанные старцами, относятся к правлению великого князя Василия Темного, внука Дмитрия Донского. В книге «Историческое описание церквей и приходов Владимирской епархии» приводится выписка из писцовых книг Гороховецкого уезда 1628 года о Георгиевской пустыни». Вот послушайте: «Троице-Сергиева монастыря пустыня ограждена забором, в пустыни церковь Георгия Стратотерпца деревянна кладки, а в церкви образа и свечи и книги; в пустыне черный священник Ермоген, да 8 келий, в них 10 старцев. Да у той пустыни слободка, живут в ней монастырские детеныши 14 дворов, да к пустыни ж деревня Лужки, в ней 3 двора крестьянских, 4 бобыльских, 2 двора монастырских рыболовов, пашни монастырской по 45 четвертей в поле. Кроме того, к пустыни относились 14 озер и 13 истоков».

Юрий Антонович снял очки и устало потер глаза. Подкорытин, в который уж раз оглядывая светелку, сказал:

– Мой дед Степан Степанович рассказывал, что до войны там вовсе ничего не было – уж точно, пустошь.

– Да, энкавэдэшники разорили пустынь Святого Георгия, монахов и насельников расстреляли. В девяностые годы, когда восстанавливали скит, обнаружили человеческие останки с характерными пулевыми отверстиями в затылочной части черепов. В июле двухтысячного года в Георгиевском ските освятили восстановленный храм Сергея Радонежского...

Возвратившись домой, Подкорытин еще долго испытывал покой и благодать на душе, будто в церкви Успения Пресвятой Богородицы с батюшкой поговорил. Умен сосед, иного не скажешь, почитает историю вязниковской земли, значит, осел в деревне надолго, а то и навсегда. Мысль радовала и успокаивала.

Ефрем Иванович не усидел в избе, вышел пройтись по усадьбе. Недавно прошел дождь, резиновые сапоги шмякали по раскисшей земле. Из заречья натянуло сизую тучу, осень уже не кралась, показывая первые знаки, а надвигалась открыто, наотмашь сшибая с деревьев желтые листья. Подкорытин шагал, размышляя о святом Сергии Радонежском, пытаясь представить, как одиноко брел игумен по лесам и болотам, тогда и резиновых сапог-то не было, в лаптях мерил версты монах. Ночевал в сухих сосновых борах, и звери привечали его. В ту пору много лихих людей спасалось в лесу, а ведь никто его не тронул. Верно говорил сосед, нынче не время для церковных раздоров, одной силой нужно выступать супротив Антихриста и его черного воинства, не то одолеют. Дышалось легко, вроде как отошла, оставила его старческая слабость. И все вокруг было ему знакомо и дорого.

После армии нигде, кроме Вязников и Владимира, не был Подкорытин, да и не тянуло, все, что нужно для жизни, давала родная деревня с белесой во время паводка Клязьмой, неоглядными лесами, родниковой водой, что зимой и летом звенела в жестяных желобах. Один он от веточки староверского рода остался, вроде древнего вяза под окном, не раз уже битого молнией, но каждую весну упрямо выбрасывающего новые, молодые ветви. К соловьиной поре вяз густо обрастал лаковой, шелестящей на ветру листвой.

Раньше старика беспокоило, кто по нынешней безлюдности будет хоронить его, кто положит в давно уже изготовленную домовину, свезет на погост у Ильной Горы. На дачников нет надежды. Так и усохнешь в избе, никто не хватится.

И лишь с появлением Козырина страх ушел. Этот не бросит, прирос к здешней земле, а значит, стал вроде как и родным человеком. И уже ночами не слышал Ефрем Иванович воя чудища, не видел и всадника на белом коне. Видно, тот до поры укрылся со своей светлой ратью в

лесах, чтобы явиться вовремя и вершить праведный суд. Поплавок всплыла и еще одна мысль: надо бы в завещании отписать свою избу соседу, у того сын, невестка, внуки. Может, и они переедут в Топорово, и тогда возродится, даст новые, молодые побеги его деревня.

Бийскому Вестнику - 10 лет!

Уважаемые коллеги, творцы «Бийского Вестника»!

Примите с крайнего Запада России
сердечные поздравления с юбилеем!
Многая лета вашему уникальному изданию,
его редакции и читателям! Новых вам
ярких обретений, мастеровитых авторов
в очереди на публикацию!

Далёкая от вас Балтика
и далёкий от нас Алтай -
не только адреса на карте России,
несхожие природой и хозяйством регионы.

Это, по большому счёту, брат и сестра,
члены густой славянской семьи.

Наши литературные контакты,
имена общих земляков
Анатолия Соболева и Игоря Пантюхова -
своеобразные духовные скрепы. Но нас
единит гораздо большее. Мы родня
обшностью духа, верностью вековым
традициям и живому русскому слову.

Да не убудет добрых дел
у «Бийского Вестника»!

Председатель правления
региональной организации Союза писателей России
Виталий Шевцов. Калининград, 2013 г.

Празднование юбилея «Бийского Вестника»



Празднование юбилея «Бийского Вестника»



Фото Геннадия Нечаева

Сергей ШИЛКИН

Сергей Васильевич Шилкин родился в 1954 году в г. Салавате. Окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета.

*Публиковался в журналах «Бельские просторы»,
«Воин России», «Истоки», «Простор».*

Живёт в г. Салавате, Республика Башкортостан.

ОСЕННИЙ МАРАФОН

В промозглый день укрылась паром
Низина старого пруда.
За покосившимся амбаром
Бредёт дорога в никуда.

Ждёт снова осени лукошко,
Вися на гвоздике в углу.
И плача, дождь стучит в окошко,
Слезу размазав по стеклу.

Мычит голодная корова,
Засохла во поле трава.
Мы нынче снежного покрова
Не дождались на Покрова.

За тучи солнце укатило,
Повсюду сырость, хмури и хмарь.
Зажёг своё паникадило
В часовне старый пономарь.

Зябь пашут в поле хлеборобы.
Мне годы вспять не повернуть.
Молюсь я Богу страстно, чтобы
Мне силы дал на крестный путь.

В постылой жизни мало прока.
Теперь мне больше сорока.
Трещит без умолку сорока
В кустах, где плещется река.

Горит сквозь сучья чернотала
Огонь в рябиновой горсти.
От дней пустых душа устала.
Создатель, Ты меня прости...

МАСЛЕНИЦА

В зелёном ельнике не броско
Снегирь мерцает, как рубин.
Пушистым инеем морозко
Осыпал кисточки рябин.

В ложбинах близкие апрели
Ручьями талыми журчат.
В пушистых курточках взопрели
На ветках стайки сорочат.

По холодку туманом дышит
В старице стылая вода.
Теплом весенним солнце пышет.
Скворчит в печи сковорода.

Судьбы таинственной мерило,
Сакральной мудрости бином, –
Сойди с небес ко мне Ярило
Гречишным масляным блином.

От солнца мир добрей и чище.
Поест блинов спешу домой.
Сегодня древнее игрище
Прощанья с зимушкой-зимой.

Веселья дух манит и дразнит,
В глазах от солнышка рябит.
Сегодня православный праздник –
День всепрощения обид.

И крест нательный из латуни
Целуют грешные уста.
Я всех прощаю накануне
Семидельного Поста.

За то, что жизнь души убога,
И дух не волен от оков,
Прошу прощения у Бога,
Прошу у близких и врагов.

СУМЕРКИ

Посвящаю А. Овчинникову

Ночи грядущей оторочкой
Скользит за нашим домом тень.
Не похваюсь я новой строчкой –
Опять бездарно прожит день.

Порезом бритвенным алеет
Ползущий к западу закат.
Заря безмолвная шалеет
От какофонии цикад.

Хандра хозяйничает в доме
И шепчет мне: «Всё прах и тлень...»
В меланхолической истоме
Мне откровенно думать лень.

Зашёлся песней колыбельной
Видавший многое диван.
Блестит рындой корабельной
Луна полуночных нирван.

Морфей спешит на ветре встречном.
В лампадке брезжит фитилёк...
Стучит в стеклок, в порыве вечном,
Огнём влекомый мотылёк...

БЕССОННИЦА

Заря зарницами възгралась.
День сгинул в сумрачном бору.
Тревога в душу мне закралась
Под шелест листьев на ветру.

Я вышел в ночь. Сверчки брэнцали.
Во тьме светилась береста.
Берёзки белизной мерцали,
Как звёзды Южного Креста.

И гул услышав дальних звонниц,
Со лба испарину стерев,
Я, утомлённый от бессонниц,
Пошёл бродить среди дерев.

Блуждая в чаще непрохожей,
В сетях плутая вечных грёз,
Я восхищался тонкой кожей
Совсем молоденьких берёз.

Лаская их ладонью страстной,
Как прежде нежа юных дев,
Я вспомнил дни поры прекрасной,
На годы вмиг помолодев.

И вдруг на небе кто-то рифы
Разверз неведомой рукой.
И в душу образы и рифмы
Ворвались шалою рекой.

Я в дом вбежал и перед Ликом
Просил прощенья за грехи.
Потом, в волнении великом,
На кухне сел писать стихи.

Я слог впечатывал в скрижали.
Во сне сопела детвора.
А под окном коты визжали
В ночном безмолвии двора...

Сергей ТЕЛЕВНОЙ

Сергей Владимирович Телевной родился в Ставропольском крае в 1959 году на хуторе Графском. По профессии – филолог. Член Союза журналистов России, лауреат всероссийских конкурсов. Живёт в Моздоке.

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДОМА НА ВЗГОРКЕ

I

Фундамент не первый год зарастал жилистым фиолетовым бурьяном и как бы оседал в неплодную почву бывшей свалки. Хапучий сельсоветский землемер Лазарь Моисеевич когда-то нарезал Катерине с Максимом земельный участок на самом неудобье – хуторской свалке. То была безродная окраина хутора. Безродная, потому что плодовый хутор, вытянувшийся вдоль речки Невольки, разрастался в две стороны. Доморощенные князьки-бригадиры да счетоводское сословие выделяли себе и своим «высокородным» отпрыскам земельные участки прямо у колхозных садов и виноградников. Земля там, обихоженная крестьянскими руками да колхозной техникой, была съедобно черноземной.

Как раз ко времени местного «земельного передела» подоспела антиалкогольная компания. Виноградники начали корчевать-изводить. Но с оглядкой. Кто был поближе к колхозной кормушке, тот отхватил себе участок под застройку прямо на виноградниках. И понятно, не спешил их вырубать.

В шаловливые и водоречивые времена перестройки местная власть решила все же выделить участок под застройку и Катерине с Максимом. (Те не первый год кочевали по чужим углам.) Но выделить – на другом конце хутора, упиравшегося сиротскими хатками-мазанками в солончаковый взгорок. Испокон свозили сюда неудобоваримый хлам. И вся округа грудилась и топорщилась завала-

ми мусора, ложно-драгоценно сверкавшего битым стеклом.

Здесь-то, на этом неудобье, загадочно-грамотный землемер Лазарь Моисеевич в присутствии трескучей депутатши Нельки отмерял положенные сотки. Утирая необитаемую лысину безразмерным носовым платком, Лазарь Моисеевич как бы пристреливался на местности. Землемер припадал к такому же, как он сам, пучеглазому нивелиру. Отступал от него, становился монументально важным при своем критически малом расстойке и приговаривал, почти не шевеля отягощенными исторической скорбью губами:

– Побегут они оттуда, побегу. – И тут же Катерине: – Будешь на всех свысока смотреть!

Катерина, бесхитростно улыбаясь, и не силилась понять, о чем говорит Лазарь Моисеевич. Она, дородная молодуха, развитая крестьянским трудом во все стороны, и так смотрела на многих свысока. На землемера – подавно. Катя была довольна и заговорщицки улыбалась одному из белесых колышков, обозначивших ее территорию. Она просто ощущала, как мимо с шелестом пролетали взбалмошные мысли. Но самая значительная уютно угнездилась у нее в сознании: здесь будет их с Максимом дом.

Землемер сочленил желтоногий цаплевидный нивелир. Достал из наркомовского портфеля широколиственную бухкнигу и дал расписаться Кате. Она, каллиграфически вылушивая зернышки букв, вывела свою простецкую фамилию.

– А что, я до четвертого класса была хорошисткой, – как-то оправдательно сообщила Катерина, – так что вы, Лазарь Моисеевич, не думайте...

– Заметно, что до четвертого класса, – шевельнул землемер отягощенными губами.

Солнцебиение сквозь жестянистые листья тутовника, случайно укоренившегося на взгорке, буквально заряжало Катерину, присевшую отдохнуть у дерева. И впитанная энергия не позволила и пяти минут посидеть, расслабиться. Молодуха сорвалась и побежала к мужу Максиму.

Мужа, отдыхавшего после ночного сторожевания и в полудреме смотревшего телевизор с всенародными депутатами, вывести из сомнамбулического состояния удалось не сразу. Вмешалась баба Фрося, у которой они снимали в поднаем времянку:

– Максим, ты чего, трутень, развалился. Вон, Катька-то бьется как рыба об лед...

– Лучше б она молчала, как рыба об лед, – лениво огрызнулся добровольный узник растоптанного дивана. – Я сутки – на работе, что, не имею права?..

Права Максим имел и умел их качать. На бетонорастворном узле, где он нес посуточно трудовую вахту, об этом знали. Себя он там перепробовал во всех качествах. Чуть что не так – права качает, профкомы самодеятельные собирает. Времена-то какие – гласность, демократизация. Вороватое начальство побаивалось его. В итоге к всеобщему удовлетворению определился Максим в сторожа. Сутки отдежурил, на велосипед – и домой троекратно отсыпаться. И на профкоме воду не мутит.

Сладкая истома обволакивала и размягчала суставы и позвонки, пропитывала и разжижала дрябловатые мышцы, клубилась волокнистым туманом в подсознании. Хорошо в полудреме... Изредка мысли тугоплавкого свойства инородным телом внедрялись в его размягченность, дремотность и дурманность. Тогда некто амбициозный, тщеславный заговаривал за мембраной

обыденной полудремы: «Ты достоин большего, лучшего!» А чего именно – гадостный некто не подсказывал. Но подсказала жизнь.

На бетонорастворном узле грянули выборы начальника и мастера. А что, Максим в свое время окончил техникум, пусть и элеваторный. Но вполне...

Гундосое Катькино: «Пойдем на участок» преследовало до изнеможения. А что – участок!? Небось, на виноградниках землю не нарежали, колхозаны чертоты.

Это хитронюхое племя Максим не взлюбил с тех пор, как по распределению после техникума попал на колхозный ток. По специальности он был техником по хранению и переработке зерна. Но какое там хранение! Ушлые колхозаны специально слегка подгнаивали зерно, а затем его списывали. Максиму не перепало ни зернышка. Да он бы и не взял. Наверное...

Зато приезжали лица небритой наружности, «камазами» вывозили якобы пропавшее зерно. Уже в то время говорили сведущие люди: пшеницу перегоняют на спирт и разливают подпольную водку. Максим в душе тогда попротестовал против спиртовиков и под перестроечную трескотню уволился из колхоза.

Жить хотелось в райцентре, с какими-нибудь удобствами. Да все как-то не налаживалось. Не первый год Максим примерялся начать новую жизнь. Уже и пацан, непрошено рано появившийся у них с Катериной, стал бессловесно напоминать о своем присутствии. Росший изначально, непоправимым троечником, тишайший Николашка стал родителям в одной сырой комнатухе, что они снимали у бабы Фроси, мешать. Короче, впритык нужно было обзаводиться жильем.

Максим не любил перелистывать застрявшие странички своей трудовой книжки, как и трудовой биографии. Однако, взбодрив свое самолюбие перспективой иметь какую-никакую должность, заработок и, в конце концов, свой дом (пусть в селе – потом можно продать), он провел бурную, агрессивную

избирательную кампанию и стал-таки мастером бетонно-растворного узла. Среднетехническая образованность и таимая ущербность врожденного неудачника заставляли барахтаться его особенно отчаянно. В пене и брызгах тогдашней производственно-общественной показушной жизни судорожное барахтанье «начинающего пловца» воспринималось как активная гражданская позиция. Вот и выбрали.

II

Вчерашние «соратники» работяги начали называть Максима как бы полухуторанно полууважительно Максимычем. Хотя отчество у вновь испеченного мастера было – Кузьмич. Незамысловатое, конечно. А «Максимыч» вроде благозвучнее. Ему нравилось быть мастером и так именоваться.

Максимыча завораживал нехитрый процесс изготовления цементного или известкового раствора. Он любил наблюдать, как иссиня-серая масса гравия и цемента, увлажняемая струистой водой, методично перелопачиваемая монстрообразным скудоумным механизмом, превращалась в нечто одушевленное и вываливалась из чрева бункера в кузов самосвала. Максимыч не без матерка, в соответствие со сложившимися железобетонными традициями, посылал полупьяного шоферюгу на стройку, да поскорее, чтоб бетон не схватился! Порою ехал сам, чтоб подписать бесхитростно ложные накладные у прораба на стройке. (Максимыч быстро научился выкраивать куб-другой раствора для непроизводственных нужд.)

На стройке он, бывало, исподтишка любовался, как с доисторическим животным шипением и скрежетом бетонная масса выползала из временного логова кузова и тяжело растекалась по осмысленным лабиринтам опалубки фундамента. В это время, хотя Максимыч непосредственного отношения к фундаментам не имел, но себя в мыслях называл именно фундаменталистом.

Разумеется, вкладывая в эту экзотику буквальный смысл.

Сей буквальный смысл вроде бы материализовался в самом Максимыче. Ему становилось тесно в 56-м размере, а некогда свободолюбивые его речи безвозвратно обретали производственно-требовательный металл.

Жена осторожно радовалась переменам в муже, хотя еще большую часть работы по дому взвалила на себя. Супруги окончательно решили строиться. Катерина, как бульдозер, собственноручно разровняла место под застройку. С колхозной фермы, где она работала телятницей, от своих мокроносых беспомощных телят она спешила прямо на участок. Вырывала баснословно жирный бурьян, ворошила наросты и наслоения мусора, выгребала окаменелости перегоревшего угля и сростки ржавой проволоки.

Сделали разметку под фундамент. Вновь приходил землемер Лазарь Моисеевич с отягощенными земной печалью губами и членистоногим нивелиром. Дом строить решили внушительным, по колхозановским меркам – с излишествами в виде санузла и прочих городских приамбасов. Рытье траншеи под фундамент оказалось делом нехитрым, но трудоемким. Прогрызаясь через наносной и навозной «культурный слой», Катерина наткнулась на старый, из плоского векового кирпича, фундамент.

– Мам, а может, тут клад? – обрадовался посильно помогавший матери сын Николашка, так и не выросший из кладоискательского возраста.

Порою подъезжал на самосвале Максимыч, отпускал шофера на полчаса и поучительно брал в руки лопату. Он показательно рыл траншею отполированной до серебра лопатой. Благо, грунт под «культурным слоем» пошел уже податливо песчаный, и у Максимыча действительно получалось быстро и ловко.

– Пап, а тут может быть клад? – теплил себя надеждой сын.

– Может, – вдохновил его Максимыч, – но ты лучше кирпич складывай.

– Максимыч, – обратилась Катерина к мужу, но тот ее перебил:

– Не Максимыч я, а Максим Кузьмич, – холодно напомнил он жене. Хотя Максимыч был вовсе не против, чтоб его и жена завала так. Отчество «Кузьмич», по правде говоря, ему не очень нравилось. К тому же отчество Максиму дали по деду – Кузьме Степановичу, у кого он воспитывался. А отца своего он не знал, да и матушка его легкомысленная, все вербовавшаяся по Северам, кажется, тоже не знала, кто отец Максима. Это всегда отравляло Максиму душу.

– Максим, а что там Лазарь Моисеевич говорил: затопит, мол, затопит, – осторожно вернула мужа в реальность Катерина. Когда разбивку фундамента делали, она вновь слышала обрывки фраз землемера.

– Туфту несет этот недоносок, – с важностью сказал Максимыч. И, удовлетворенный, что есть внеурочная пауза перекурить, пристроил лопату на насыпь, будто винтовку на бруствер. Вроде как прицелился в сторону села. Серебристая плоскость лопаты, если прищуриться, присмотреться, – сливалась с такой же серебристой плоскостью водохранилища.

Еще до перестройки областные гидростроители под плеск поворачиваемых тогда вспять далеких сибирских рек решили и здесь переустроить течение речки Невольки. Насыпали дамбу, запрудили речушку. Получилось небольшое озерцо-водохранилище. Вырыли отводной на виноградники канал. Мелиорация, понимаешь...

Лоснящийся рукав отводного оросительного канала отделял в верховье клубившийся гибкой лозой массив виноградника.

Да, там бы отхватить участок, подумал в очередной раз Максим. Там бы, нам бы, у дамбы... «Бетонно-растворный» мастер прислушался к себе: что ли в рифму заговорил? Хотя в студенческую пору под напором художественно-самодетальной обязаловки они с пацанами как-то сочинили частушки. Злоколючие и непотребные. На техникумовскую сцену со своим творчеством их, конечно, не допустили. Но полногрудая комсоргша

долго колыхалась всем бюстом в хохоте. Эх, было времечко...

Максимыч вновь бросил взгляд из-за своего «бруствера». А может, холстомер прав? (Это он землемера Лазаря Моисеевича так про себя называл.) А вообще-то, если дамбу прорвет, может село и затопить. Но до нас не достанет, успокоил себя Маскимыч.

Сын ковырялся в траншее, извлекая подробными пальцами кирпич за кирпичом. Натужное сопение усиливало кладоискательский азарт. Николашка складывал кирпич в неверные стопки. Катерина, нарочито вытравливая (или выдавливая) свою женскую тайну, таскала кирпичи по десятку.

Она вдруг осознала, что хочет побыстрее... состариться. Противоестественное желание Катерина сама себе объясняла так: скорее состарюсь – не буду хотеть мужа, да и дом к тому времени построим.

Максимыч давно уже не обращал на жену внимания. Мало ли на стройке пэтэушниц-мокрощёлок. Только кликни, а он все ж мужчина видный, да и начальник как-никак.

Катерина лишь только сейчас осознала, что состариться она хотела давно. Вон даже от экскаватора отказалась, когда траншеи под фундамент надо было рыть – вовсе не из-за того, чтоб копейку сэкономить. Она хотела нагрузить свои руки до боли, надорвать себя до бесплодия. Вот как!..

Короче, траншею под фундамент вырыла Катерина, считай, сама. Клад Николашка не нашел, но зато полтысячи кирпича наковыряли. Якобы на этом месте были конюшни буденновские, кавалерийский полк здесь стоял, – припоминали старожилы со слов своих дедов. А Катерина хотела, чтоб – церковь. Глубокая молчунья и врожденная атеистка, Катерина вдруг сама распространила слух по хутору, что на месте их участка стояла церковь. Она представилась себе старенькой богомолкой в белом, низко повязанном платке... Ее едко и непечатно высмеяли вислозадые бабки во главе с Нелькой-депутатшей: «Ишь, богомолка

объявилась, твою мать! Святоша – кобыля рожа... Выдумала – церковь!..»

А и то правда, сроду в отвязно-безбожном хуторе не было церкви. Да не то, что попы, тут парторги-то в смиренные советские времена особо не задерживались. Занесла, было, несуразная сила в послегорбачевские времена каких-то сектантов с полиэтиленовыми лицами, с тягучими, как водоросли, речениями и благотворительной помощью. Благотворительность в виде консервов и сухих супов хуторяне забрали, а сектантов наладили из хутора под улюлюканье. Хорошо, хоть пацанва пинкарей не давала. Вот так и закончилась духовная жизнь хутора.

Тогда еще Максимыч мастером не работал, а разоблачал на профкомах вороватых начальников. Теперь вот сам выкраивает раствор. Строиться-то пора! Надо бы «субботник» организовать – фундамент залить. Да с колхозанами Максим не хотел связываться, и работяг своих с бетонно-растворного узла не резон звать.

Тут объявился вездесущий Ефрат – то ли сын гор, то ли друг степей, то ль кум королю. Шапочное знакомство у Максимыча с ним было с колхозных времен.

– Ты, Максудыч, что, фундамент заливать собираешься?

– Не Максудыч я, а Максимыч, – напрыгас мастер, – а тебе что?..

– Какая разница: Максимыч, Максудыч. Вон, жена Горбачева не Раиса Максимовна, а Райса Максудовна. Я тебе отвечаю.

– Мне фиолетово: Горбачева, Пугачева...

– Ну горячий ты стал, корефан, – примиренчески похлопал Ефрат мастера по плечу. – Когда работал на зерноскладе, был поспокойнее.

Да, Максимыч в те времена был не таким. И желтоглазый лукавец, когда со своими небритыми соплеменниками вывозил с тока якобы подгнившее зерно, тоже был другим – тщедушным и молчаливо приветливым. Сейчас оплыл жирком.

– Ну что тебе?

– Дело есть. Нужен раствор. Я ж у вашего Моисеевича дом купил, перестраивать буду, – сообщил любопытную новость вновь испеченный «земляк» Ефрат. – Рассчитаюсь сполна – реально. Даже так: сначала рассчитаюсь, а потом раствор заберу.

– Как это?

– Короче, я тебе бригаду бичей на время привезу. Они опалубку поставят, фундамент зальют. Не бойся, мои бичи в этом деле толк знают: кирка, лопата и та горбата, – весело и с нарочитым акцентом пропел Ефрат.

Бригаду бичей Ефрат привез, как и обещал. Они работали ни шатко, ни валко – сказано же: бичи – «бывшие интеллигентные человеки». В перерыв пили керосинистую водку, выданную Ефратом «по бутылке на рыло», и закусывали самодеятельным харчем.

Катерина приготовила им наваристый краснознаменный борщ. Иные из бичей оживились, и Максимычу они уже не казались такими бесцветно затертыми и шелудивыми. Однако мастер не рискнул выслушивать жалостливые, разжижающие его хозяйскую суровость истории их опускания, потому упреждающе матерился.

Подошел Лазарь Моисеевич вместе с удручающей своей богоизбранностью, с наркомовским портфелем в руках и без членистоногого нивелира. Последний ему был не нужен. Землемер-прозорливец, знавший, что хутор рано или поздно затопит, и продавший свой дом желтоглазому Булату, отбывал нынче на родину предков. Он омрачил складчатый лоб, где очевидно корчились мысли, вытер несоразмерным платком значимую часть лиц:

– Стройся, Максимка, стройся... – сдержанно сказал он и побрел через сатанинские заросли чертополоха. Казалось, прямо в страну обетованную, но под взгорком его ждала высокомерная иномарка.

Бичи опустили лопаты, как крылья смирения. Им лишь бы не работать, зло подумал Максимыч, но ничего не сказал. Перламутровый раствор растекался по

траншее, как похотливое желание дьявола.

– Что он тебе сказал? – это Катерина застучала мужа с обнаженной и непонятной мыслью. – Что сказал Лазарь Моисеевич-то наш?

– Наш, ваш... Х-х-холстомер хренов!.. – Максимыч скользнул взглядом по архипелагу веснушек на лице Катерины, державшей очередную стопку кирпича на все еще плодотворном животе. Веснушек Катерининых на простецком ее лице он всегда стеснялся – выбрал же конопатую! Максимыч отвел взгляд, расплыл его мимо удаляющейся фигурки холстомера.

Золотящееся поле, волнуемое благонравным ветерком, подступало прямо к подножью взгорка. Максимыч почти осязал, как утучняется пшеница. Он смущенно крикнул, презирая себя за доморощенную лирику. Ему, дипломированному технику по хранению и переработке зерна, пшеница всегда представлялась однородным буртом на току, подпревающим и горящим от избыточной влажности.

Максимыч вырвал лопату у особо бесцветного бича и начал ворочать стержневидный бетон. Черенок лопаты неблагонадежно затрещал. Наглядная простота опалубки показалась ему хитромысленным лабиринтом. Он вдруг неуместно сравнил очертания будущего геометрически правильного фундамента со своим невнятным жизненным путем.

Максимыч стыдился своей угловатой неудачливости, простоковатого отчества, недавней своей трескучести и правдоискательства, а теперь нарочитого тайного самоназвания – Фундаменталист. Все оказалось так приземлено: стал мастером – подрезал свой непомерно бескостный язык, сам пресекает, хотя и побаивается иных языкатых работяг. Бетон вот для себя «экономит». С этим желтоглазым лукавцем связался. На хрена ему нужны были бичи! Знал же, нельзя иметь дело с этим народцем. Дернул леший.

Фундамент бичи все же залили. Желтоглазый приехал за своими работни-

ками, те побросали инструмент в кузов грузовика, забралась туда сами и ждали, пока хозяин поговорит с Максимычем. Плата за услуги Ефратовских бичей оказалась очень уж большая. Но делать было нечего – договор дороже денег.

Расчет, как и обговорили раньше, бетоном. «Сэкономить» такой объем сразу было невозможно – это подтвердилось несколькими рабочими днями, когда бетонно-растворный узел под надуманным предлогом работал в полторы смены.

Максимыч стал саморазрушительно думать. Фундаменталистом он оказался рыхловатым. Его еще больше раздражал животноводческий запах фермы, пропитавший всю Катеринину одежду с пожитками. В гневе обозвал Николашку, отпрыска своего полупрозрачного, недоноска и несоразмерно отвесил ему оплеуху. Катке под горячую руку тоже досталось. За что? Да за то, что вместе с Ефратовскими бичами, на следующий день после фундамента, начала саман – глинобитный кирпич делать на новой застройке. Дура баба!

Желтоглазый лукавец предложил ей помощь, якобы договорившись с Максимом, та и согласилась. Выдали бичи самана «на гора» за день тысячи две – считай, на полдома. Все это хорошо, но как с желтоглазым расплачиваться!?

– Ты, козел узкоплечный, кто тебя просил со своей помощью лезть? – еле сдерживая крутые кулаки, орал Максимыч, подъехав на самосвале к дому желтоглазого. Шофер на всякий случай из кабины не вышел и мотор не глушил. Он впервые видел Максимыча таким взбешенным.

– Слушай, дорогой, зачем так неправильно разговаривать, – оскалил Ефрат неподлинные сверкающие зубы. – Ты с женой разберись. Муж и жена – одна сатана, так, да? Если не можешь сам, давай я разберусь. – На шум из глубины двора вышли трое с бесчеловечными носами.

– Шакалье!.. – Максимыч резко развернулся на каблуках, вскочил в машину и с лязгом захлопнул дверцу. Шофер даванул на газ, обдавая клубами чада желтоглазого, и самосвал, содрогаясь всеми

механическими суставами, рванулся прочь.

В мозгу мастера бушевала дьявольская плавильня – она испепеляла его самолюбие, мужское достоинство, вообще всего до неукрушенных локтей. Ладно, надо успокоиться, на горячую голову ничего путного не придет, уговаривал он себя. Вроде бы уговорил.

Самосвал выскочил за хутор, шофер вырулил на дамбу. По ее гребню, по накатанной грунтовой дороге – ближе к бетонно-растворному узлу. Водитель был опытный, и полуденный дежурный хмелек у него давно выветрился, но скорость он все же сбавил. Не хватало еще нырнуть в водохранилище. Тем более вода подступала чуть ли не к самой дороге.

Водная поверхность гримасничала в унисон нервическим порывам ветра, взбивая желтую мусористую пену вдоль кромки берега. Это только когда смотришь на водохранилище с Максимовского взгорка, оно кажется зеркальным.

Сумбурные самоедские мысли постепенно остужались магическим свойством рябщей воды – экое мутное зеркало, а хочется в него глянуть. Максимыч пристально всматривался в оловянный слиток водохранилища, зыбко оправленного глиняной насыпью. А ведь правду, пожалуй, говорил холстомер Моисеевич, что водохранилище может затопить хутор.

Максимыч сам давеча видел, что единокровные роднички просачиваются в нескольких местах у подножья дамбы. Они стекали безобидными прожилками на луговину и растворялись там. Однако колхозаны, не любящие делиться друг с другом своими трудностями-напастями, все ж пробалтывались, что в подвалах у иных вода выступает по щиколотку.

Катерина, обескураженная и подавленная, долго гладила своего обиженного пацанчика и жалостливо думала о нем. Саднящая боль в теле не заглашала надрыва в душе. Горевалось и плакалось Катерине не о своей женской доле. Она лишь настойчивее хотела состариться. Может быть, впервые зашло у нее до

онемения сердце за сына. Сегодня вдруг обнажилась какая-то неестественная сырость Николашки – при обоих-то живых родителях, вроде бы и не самых пропащих.

Рос Николашка кроткий, тихого нрава, как постная, в тени придорожной лесополосы трава, впитывающая столбовую пыль большака. Отец его то зерно на колхозном току неудачно берег от гниения, то качал в самодеятельных профкомах права, то теперь вот рьяно руководит бетонно-растворным процессом. Катерина же, занузванная колхозной лямкой, с утра до ночи – с бруцеллезными телятами. Все бесплодно мечтала о собственной доме.

Но и трава сквозь мучнистую пыль и выхлопные газы растет при дороге, а человечку, пусть и с затененным сознанием, и подавно следует. Николашка, живший на безродной половине хутора, учился, естественно, в «Б»-классе (для «баранов» по школьной классификации). Слабехонько, с ежеклассной угрозой остаться на второй год, усваивал школьную программу. Учителя снисходительно ставили ему бледные «троечки» и дотянули-таки до девятого класса.

Свез Николашка стыдобные документки в райцентровское ПТУ. Плотником определили его там учиться – в той группе недобор. А куда же еще такого? А Николашке все равно, быстрее бы из этого колхозанского хутора. Даже если райцентровские пацаны будут поколачивать, чего боится мамка его, он к боли притерпелся.

Мать вот Николашку вдруг начала жалеть, а ему родительницу как бы и не жалко. То есть жалко, но Николашка стеснялся, что у него такая матушка, да и пахан тоже. Парнишка стыдился бедноты, несурзанности. Да и зовут его как-то по пришибленному – Николашка. Колька бы лучше или Колян, как у всех нормальных.

Он напрягся и дернулся из-под жалостливой материнской ладони.

– Ты куда, Николаша? – встрепенулась мать. Сын невнятно огрызнулся, подавляя подкативший к горлу ком. Постыд-

ные слезы, однако, брызнули в сумрачный вечер.

– Ты чего, Николаша? – не унималась Катерина.

– Да в хату я, в хату... Телек смотреть, – и направился во времянку.

Его встретила согбенная, опирающаяся на две клюки баба Фрося. За долгие годы все как-то подзабыли, что семья Максимыча – просто квартиранты бабы Фроси. Да и сама она принимала Николашку за внука, а Катерина, считалось, присматривала за ней.

Однако ж присматривала за всем несурзным семейством, скорее, баба Фрося. Переживала как за родных, хотя «всю дорогу» бурчала. Вот и сейчас заунывно пробубнила вслед Николашке мертвая-зычную молитву.

Катерина хотела было пойти за Николашкой во времянку, да решила не тревожить пацана. Хотя какой пацан – уже парубок, как говорила баба Фрося. Половина парня, значит. Парубок, между тем, выбрался через игрушечно маленькую заднюю дверь времянки в сад.

Катерина, ведомая невидимым поводом, вышла со двора. Недоуменные, подслеповатые в вечерних сумерках окна их хатенки проследили за нею до поворота на взгорок. Окрестности впитывали летние сумерки и, казалось, растворялись в темноте безвозвратно. Женщина поднялась на взгорок, к своей застройке. Под гору метнулись две тени, гулко бросив сырую доску, как оказалось, только что отодранную от опалубки. Колхозаны, шибкие хозяева, уже раскурочили опалубку с одной стороны. Катерина мало удивилась – воруют на хуторе все подряд. Фундамент был еще слишком рыхлый, но не развалился, лишь углы, на сколько это было видно в сумерках, кое-где пообрушились.

Хуже было с саманом – глинобитными кирпичами, который нынче Катерина делала с бичами. Кто-то старательно прошелся по крайнему ряду.

– Сволочи, растоптали, – почти без злобы произнесла Катерина в вибрирующие сумерки.

Она попыталась формировать руками свежераздавленные саманы, но отказалась от этой затеи. Слишком усердно чья-то вовсе не детская нога потоптала саманы. Завтра с утра надо будет взять станок, да переделать заново. Хотя бы дождя не было, – с тревогой посмотрела на безрадостно низкое небо женщина.

В это время Николашка вынырнул из помраченного сада бабы Фроси. Ненамного влекомый тайным желанием увидеть волоокую смуглянку – дочь Ефрата, пошел в сторону бывшего Лазаревского дома.

Сегодня днем, когда Булат привозил бичей на Максимовскую застройку делать саман и сердито давал тем какие-то распоряжения, за ним прибежала его дочка. Она что-то говорила желтоглазому на своем узорчато-мелодичном наречии, тот стоял с непроницаемым лицом. Николаша, месивший глину вместе с бичами, даже приостановился, исподволь разглядывая юную Шехерезаду. Так он сразу назвал ее для себя. Волоокая красавица лишь повела в его сторону взглядом и потупила черные глаза.

– Э-э-э, парниша, – толкнул Николашку бледнолицый бич, – не напрягайся и глаза не ломай. Не приведи Аллах, если Ефрат что-то заподозрит, яйца вырвет и глаза выколукает, – тихо, но отчетливо сказал он подростку.

– А я ничего, – застуканный врасплох, начал оправдываться Николашка.

– Ну-ну... – туберкулезно прохрипел бледнолицый и тяжело побрел по месиву.

У Николашки сегодня выдался трудный день. Губительно уставший после самана, он был еще и поколочен отцом. За что?! А потом еще душу, невместимую во впалой груди, разбередила мать. И предупреждение бича о выколупанных глазах и оторванном мужском достоинстве тревожно угнездилось в сознании подростка. Но Николашка все равно сейчас шел к волоокой Шехерезаде, не зная, однако, как он ее увидит. И увидит ли вообще.

Околичная тропа едва различалась под неверными шагами. Над Николашкиной

головой ластроногие звезды пробирались сквозь бурые водоросли облаков. Месяц ущербом указывал на новолуние.

Максими́ч ту ночь провел в затхлой бытовке на работе. Ворочавшийся сигаретный дым вместе с сивушным духом самопальной водки колыхал на окнах – вместо шторок – прогорклые газеты и прятал выступы разбойных мыслей Максими́ча. Фальшивомонетный звон первых капель дождя прокатился по жестяной крыше бытовки и вырвал Максими́ча из угарного сна. Щелястая дверь уже пропускала упругие струйки внутрь бытовки, замысловато растекавшиеся по полу. Враз потух дежурный фонарь за окном бытовки, и все погрузилось в хлюпкий мрак.

Воистину: разверзлись хляби небесные. У Максими́ча пропало первоначальное желание приоткрыть дверь и посмотреть на улицу. Однако через некоторое время вода уже струилась множественными потеками сквозь стыки ненадежной крыши. Трудно было найти место, где не лило за шиворот. Максими́ч накинуд на себя какие-то лохмотья и забрался на зыбкий обеденный стол. Бурливая какофония рассерченной природы длилась, казалось, вечность.

III

Вночь случилось то, о чем говорил пророк и землемер Лазарь Моисеевич. Неуместимые в водохранилище воды переплеснулись через край дамбы и, выбрав в теле насыпи промоину, устремились грязным потоком на луговину, затем – в сады и огороды хуторян.

Хутор, угнетаемый беспросветным ливнем и подмываемый прорвавшейся из водохранилища массой, все-таки очнулся от гипнотического состояния. Люди, пренебрегая своей безопасностью, пытались спасти нажитое. Кто-то заводил свои машины, кто-то выгонял бестолковую скотину на улицу, отвязывал ополоумевших собак. Люди, пихающие тачки со скарбом, беспомощная

животина потянулись к Максимовскому взгорку – самому высокому и безопасному месту в окрестностях. Катерина, успевшая пригнать сюда свою худосочную коровенку, привязала ее к тутовнику. Начала, было, возмущаться – люди и скот безвозвратно топтали саманы, хозяева пытались привязать к кольям опалубки коров.

Ошарашенные стихией и озлобленные от убытков, колхозаны взматерили Катерину, а затем и надавали тычков в бока и живот. Катерина выла от обиды, боли и тревоги. Кричала сквозь хлесткий поток, сумасшедший гвалт хуторян и надрывный ор ската:

– Николаша, где ты, сынок! Максим, иди сюда, сын пропал!.. – надрывалась она. – Что вы делаете, уроды!

Николашки и Максима не было, а уроды, привязав к единственной тутовине и опалубке скотину, вновь бежали к своим домам. На дороге из последних сил завывали машины, иные легковушки бледнели безжизненными поплавками на обочине, напрочь застряв в клейком суглинке.

Хутор погружался в пучину. Вода в иных местах поднялась выше фундаментов домов, внутриутробно булькая, захлебнулись почти все подвалы.

Николашку ливень застиг в Ефратовском саду, на высокой груше. Бестолковый, он залез на дерево, чтобы увидеть волоокую Шехерезаду, когда та, возможно, ночью выйдет по нужде. Но ливень выгнал всех обитателей Ефратовского двора на улицу. Завороженный суетой во дворе Булат, он среди всеисходящего шума и всплесков тревожных голосов услышал-таки голос юной смуглянки. Безрассудно соскользнув с высоченной груши, не ощущая болючих ссадин и озноба во всем своем мальчишеском теле, Николашка пробрался через соседский заброшенный двор прямо к Ефратовскому забору. Он прильнул к щели: в чересполосице дождевых струй и мечущихся лучей фонарей, он все-таки увидел волоокую, ее изящный силуэтик. В застуженной и бесчувственной груди Николашки бешено заколотилось сердце.

– Эй, что стоишь, быстрее пошли, Муслим хорошо заплатит! – возле Николашки вырос детина с бесчеловечным носом. – Давай, давай, мужики, – это он подгонял уже человек пять-шесть колхозанов.

Николашка с хуторскими мужиками и Ефратовскими бичами стал грузить из амбара в машину по шаткому настилу зерно. Мешки были неподъемными, и парнишка таскал их в крытый «Камаз» на пару с бледнолицым бичом. Бесчеловечный нос, подгоняя работяг, на ходу давал им по стакану самопальной водки без закуса.

– Потом Ефрат еще и бабками доплатит! Давай, быстрее, вода сейчас в амбар пойдет.

Грязные жидкие пучки света выхватывали в пропыленном амбаре фигурки нескольких женщин, насыпавших ведрами пшеницу в мешки. Среди них Николашка заметил и волоокую смуглянку. Окаменевшее личико, серое от пыли и гадостного света, показалось Николашке даже некрасивым. Точнее, не таким красивым, как давеча. Это парнишку вроде обрадовало – у него как бы появился шанс. А то слишком красивая, тоже не хорошо, размышлял Николашка, – вообще не обратит внимания.

– Эй, пацан, на, вмажь! – Бесчеловечный нос сунул ему стакан водяры. Николашка, ощутив себя равным среди взрослых мужиков, залпом выглушил граненый стакан самогонки. Подавил позыв к рвоте и, гонимый ритмом работы и окриками Бесчеловечного носа, вновь он схватился за свинцовый мешок. Бледнолицый бич, дожидавшийся своего напарника, дал ему горсть пшеницы:

– На, загрызи, а то свалишься под машину.

Зерно скользило во рту, непослушный язык едва ворочал массу. Николашка чувствовал свое тело потусторонним. Невыносимые мешки вываливались из рук. «Камаз», однако, успели загрузить до того, как через порог амбара внутрь хлынула вода.

Бледнолицый бич и Николашка остались на кузове машины – надо было вез-

ти зерно за Невольку – на «территорию вольности», где у желтоглазого в дальнем селении был еще один дом. В кабину к Бесчеловечному носу, который был за рулем, забралась волоокая смуглянка. Об этом Николашка мог только мечтать. Оказывается, мечты сбываются – они едут в одной машине.

По затопленной дороге в предрассветной зябкости сквозь исходящий дождь навстречу «Камазу» фыркал самосвал. Машины, продвигаясь почти на ощупь, цепляясь за твердь дороги, едва разъехались. Николашка, примостившийся на мешках у заднего борта, узнал проезжавший мимо самосвал с бетонно-растворного узла. С затуманенным сознанием, он даже порадовался, что вот таким образом уехал из хутора. Пусть теперь пахан поищет его, пусть подумает, что сын утонул. Пусть! А то, как колотить ни за что ни про что, так горазд. Про мать он, пьяненький, запомнил.

Максими́ч подъехал к временке бабы Фроси, застал там мечущуюся в поисках сына Катерину и собравшуюся умирать на подмокшей постели бабу Фросю.

К утру, когда паника в хуторе улеглась, окончательно прекратился дождь, колхозный гидротехник сообразил открыть все шлюзы на отводном канале. Вода хлынула на виноградники и перестала пребывать в хуторе. Скот, частью привязанный на Максимовской застройке, частью разбредшийся по округе, орал как резанный. Вся птица в хуторе оказалась водоплавающей, куры – понятно в каком виде.

Николашку искали не долго. Нелька-депутатша вызнала у мужиков, которые грузили ночь зерно у желтоглазого, что парнишка с бледнолицым бичом уехали за Невольку, в дальнее селение, где другой Ефратовский дом. Катерина с Максими́чем чуть поуспокоились. Но на всякий случай участковому, чуть ли не впервые за последнее время появившемуся в хуторе, сообщили. Тот обещал принять меры. Максими́чу в это не очень верилось, к тому же участковый вдруг заинтересовался, негодяй, «откуда дровишки», в смысле фундамент на что

заливал. В какой день придумал, козел, допросы разводить?! С бумажками, однако, у Максимыча поверхностно было все в порядке.

Хуторяне целый день сушили пожитки, сгоняли разбредшийся скот, вычерпывали из подвалов разорительную воду. К вечеру в хутор приехал один большой и гневливый начальник в сопровождении костюмированной челяди. Он костерил, употребляя народные выражения, бездарных гидростроителей и былую власть. Обещал прислать бульдозер, чтобы снова нагорнуть дамбу. Но для ее укрепления железобетона нет, предупредил он. И вообще, не надо быть иждивенцами, а выходить из положения самим.

Хутор некоторое время смахивал на мокрую курицу, околевшие тушки коих валялись по кюветам и в ложбинках. Однако ж подсохнув на солнышке, «пернатый», встрепенулся и стал многоголосо завидовать Максимычу: недосягаемой для воды осталась лишь его застройка.

Баба Фрося, собравшаяся в наводненную ночь помирать, на сей раз решила на это по-серьезному. И грозила вот-вот отойти в мир иной. Катерину это немного отвлекло от дум о сыне. Она металась несколько дней между помирающей бабой Фросей и застуженными колхозными телятами, кашлявшими как дети. Какую-то скотину пришлось дорезать, что-то свозить на скотомогильник, который, кстати, был размыт и мистически зиял допотопными черепами.

Приехал желтоглазый из-за Невольки – и прямо на застройку к Максимычу. Там он снимал с фундамента остатки опалубки и забрасывал в кузов самосвала. (Взял машину на работе.) То, что не растащили колхозаны. Нынче, когда в хуторе все раскурочено, каждая щепка в цене. От самана, что не был затоптан хуторянами и скотом, после ливня остались одни бесформенные обмылки. Ветер и солнце быстро утвердили вскопанные рытвины. Фундамент, хотя кое-где выщербился и порушился по углам, сохранился и закрепился.

Разговор Максимыча с желтоглазым был гнетуще содержательным. За работу Ефратовских бичей, заливавших фундамент и делавших саман, следовало расплачиваться. Ефрат уже и полушутя не называл мастера Максудычем, а официально: Максим Кузьмич. Но от этого было не легче. Бетонно-растворный узел остановился на неопределенно долгое время. Цементный склад был подтоплен, вода размывала даже часть заготовленной песчано-гравийной смеси.

Расплачиваться бетоном и цементом Максимыч таким образом не мог. Трудовых и нетрудовых сбережений у него не было. Коровенку малоудойную отдать – недостаточно этому желтоглазому. Он, лукавец, приехал к Максимычу с калькулятором – подсчитал человеко-дни, даже затраты на снесь для бичей и транспортные расходы. Рыночные отношения, однако...

– Думай, Максим Кузьмич, – лукаво блистал глазками Ефрат. – Думай, а пока твой Николашка будет у меня работать.

– Слушай, Ефрат, что тебе с пацана? Да и в училище ему скоро...

– Не скажи, сын у тебя хваткий до работы. Только дохловатый, но за половину бича сойдет. Не шибко, видать, отец кормил его. Но и у меня, не обессудь, тоже нечем особо баловать этих бичей. Знаешь, на сколько я пролетел с пшеницей?! Вах-вах... Вся сгнила, вся...

– Так он что, с бичами? – Максимыч ощущал, как его начинало колотить.

– Ну, сам посуди, с кем же ему быть. Боюсь только, чтоб он туберкулез у них не подхватил, – лицемерно опечалился Ефрат.

– Ты понимаешь, что ты пацана взял в заложники? Ты понимаешь?..

– О чем ты говоришь, Максим Кузьмич! – механически смеялся желтоглазый. – Ты вот даже участковому что-то наплел. Ну, даешь. Николашка твой сам ко мне приехал, сам. Это любой колхозан подтвердит любому суду, любой милиции.

Про «любую милицию» – это правда. У желтоглазого какой-то родственник замначальника милиции работает. Да и

никакой мент за Невольку – «на территорию вольности» не сунется.

– Слушай, Максим Кузьмич, деловое предложение. Отдал бы ты мне свой участок с фундаментом, тогда квиты мы с тобой. И пацана забрал бы. А то он еще вздумал на мою дочь глаз положить... – это искренне рассмешило желтоглазого.

– Я его сам заберу, – чуть осипшим от волнения, но решительным голосом произнес Максимыч, безотносительно сравнивая желтизну Ефратовскую глаз и желтизну отполированной ручки топора. Топор картинно, одним носиком торчал в кольшке опалубки.

– Нет, на мою дочку засматривается, ха-ха-ха, – не унимался Ефрат, вроде бы не обращая внимания на сказанное Максимычем. – Вот зятек отыскался. Но ему сначала нужно кое-что обрезать. По самые помидоры...

Проникновенное лезвие топора ослепительно сияло на солнце. И обух тоже был вполне боевым железом. Максимыч потянулся к топору, топорщице удобно легло в широкую его ладонь.

– Эх-х-х!.. Будет тебе, твою шакалю мать, и мой сын, и участок с фундаментом, и – по самые помидоры!..

Ефрат, по-звериному учуяв неладное, метнулся в сторону. Топор с угрожающим фырчаньем пролетел мимо, звонко ударился о фундамент, высекая из еще сырого бетона сноп искр.

– Ах ты, шакал! – Максимыч начал месить желтоглазого ногами. Бил он Булата до изнеможения, тот пытался, было, подняться, кричал: «Лежачего не бьют». Но Максимычу было не до джентльменских правил. Ефрат затих.

Кроме нечеловеческой усталости Максимыч, казалось, ничего не чувствовал и не соображал.

Автоматически он вскочил в самосвал, неуклюжая машина с грохотом рванула с места. Куда? За Невольку! Нужно срочно вырвать оттуда Николашку, а не то пацану конец. Максимыч был уверен, что желтоглазого он убил.

Теперь только бы хватило бензина, только бы хватило! Доски опалубки металась по всему кузову, как хуторские

старшеклассницы в поисках счастья. Чушь какая-то: старшеклассницы, счастье... По размытой дамбе теперь не проехать. Максимыч, срезая крюк, понесся прямо по пшеничному полю. Перезревшая пшеница шрапнелью разлеталась, рассекаемая новоявленным «степным кораблем». Максимычу прямо за лобовым стеклом грезилась бурты преющей на колхозном току пшеницы.

Наконец самосвал выскочил на укатанную проселочную дорогу. Теперь – вверх по Невольке до первого моста. Мост оказался малонадежным. Сухорукие перила безвольно зависли над водой.

– Господи, пронеси! Господи, пронеси... – неумело молился задубелый атеист Максимыч.

Господь пронес. Теперь прямо по степи, туда, где виднеется отара овец. Животные перетекали по склону, как ртуть, оставаясь, впрочем, неделимым серым ступком.

Размеренно бредший за отарой рыжебородый чабан, встревоженный пылящим ему навстречу самосвалом, вскочил на рядом пасущуюся лошадь и стал опасно приближаться – в сопровождении двух волкодавов. Максимыч тормознул машину, дружелюбно поздоровался, спросил, как лучше проехать в селение, к Ефрату.

– Вон опалубку ему везу. Сказал, чтоб срочно доставил...

– Опалубку, говоришь? – рыжебородый привстал на стремянах, заглянул в кузов. Там действительно ничего, кроме досок, не было. В кабине – тоже. Чабан взял театральный бинокль, болтавшийся у него на груди, осмотрел округу. – Ну, если опалубка, тогда направо и вверх, четвертый дом на центральной улице.

Максимыч искренне поблагодарил чабана за такую подробную информацию. Тот, удивленный, еще долго смотрел в свой театральный бинокль вслед этому чудаку. Крайне редко появляются гости из-за Невольки на этой территории, да еще в одиночку. Что-то не так.

Максим конкретно затормозил у Ефратовского дома, не различая псевдоэксотической архитектуры этого строения. По-

догнав самосвал задом почти вплитык к триумфальным воротам, он пронзительно засигналил. Выглянула девушка в восточном платке и с неуловимым взглядом.

– Быстрее разгружайте опалубку, – командно крикнул Максим. – Ефрат прислал. Где твои бичи?

Появился бледнолицый, бродячими руками стал цепляться за борт, чтоб забраться в кузов.

– Где молодой?

Выскочил Николашка, прозрачный и нескладный.

– В кузов! – без объяснений рявкнул Максимыч и тут же ударил по газам. Даже не оглянулся, спиной чувствуя, что сын уже в машине. Максимыч сделал круг по степи меж холмов, чтоб объехать рыжебородого чабана.

Одушевленная степь жертвенно стала целебной полынью под колеса. Максимыч лишь краем глаза замечал иногда в зеркало заднего вида, что в кузове маячит включенная голова сына. Вот так, без родительских соплей – механизм его поведения был настроен на конкретную цель.

Максимыч затормозил лишь у Невольки. Неприличные выпуклости глинистого берега облизывала зеленая вода – здесь речку вброд не переедешь.

– Максимыч, еще с километр вверх, там можно переехать, – через борт наклонился к нему бледнолицый бич, успевший, как оказалось, забраться в кузов.

– А ты какого хрена здесь? – удивился Максимыч.

– Да вот, решил...

В это время лязгнула дверца, и в кабине очутился Николашка.

– Папка! – прильнул пацан к отцу.

Ну, без слезливых киношных сцен. Поехали вверх по речке.

Переварив детективный факт своего вызволения, Николашка ушел в себя. Перед глазами, как в мареве вибрировал образ волоокой смуглянки. Как она вы-

скочила из калитки, когда Николашка запрыгивал в кузов!? Поняв все происходящее, лишь прижала пальцами свои резные губы и опустила бестрепетные ресницы. Вот и все – резные губы и бестрепетные ресницы. Губы и ресницы...

В райцентр добрались еще засветло. Николашку Максимыч оставил у двоюродной сестры, подехав к ее дому с тылов, через пустырь, прямо по отрицательному чертополоху. У нее же оставил угнанный самосвал – пусть муж сестры отгонит на бетонно-растворный узел.

Сам без каких-либо объяснений пошел по праздно беззаботной улице под самоцветный светофор. Куда? А в милицию сдаваться.

– А мне что делать? – спросил бич, признав в Максимыче нового хозяина.

– Живи, дурак! – оптимистически посоветовал он.

IV

...Ефрата долго и дорого выхаживали в областной больнице: собирали косточки, вправляли сотрясенные мозги, шаманили над отбитыми потрохами.

Максимыча судили по новоявленной моде – судом присяжных заседателей. Присудили меньше меньшего.

За это время Катерина, стерев со следами архипелага детских веснушек и от мечтав о благожелаемой старости, забросила воспитание колхозных телят и начала челночить. Брала часто в поездки с собой Николашку, любившего, впрочем, плотницкое дело больше, чем торговое.

К возвращению Максимыча, закаленного колючей проволокой зоны, на застройке появились пирамидки свежеделанного самана и стопки оранжево обожженного кирпича. Фундамент расчистили от жирного фиолетового бурьяна и начали строить дом.

Виктор ШАРАВЬЕВ

Виктор Шаравьев родился в г. Бийске в 1967 году. Служил в армии, учился в институте. Публиковал стихи в местной прессе.

*Автор нескольких поэтических книг.
Руководитель Центра духовной поэзии.
Живёт в Бийске.*

Вы приснились мне ночью:
Вы лечили меня от прошлого.
От чего же? Разве это болезнь?
Я ношу его сдержанно, молча,
Как свое ритуальное бремя,
Или некую странную вещь.
Что дороже и что бесполезнее?

Я сижу в тишине,
не тревожен эфир.
В бездны звезды глядят
из зияющих бездн.
Там, во мне, беспредельный,
таинственный мир,
На мгновение грезящий,
будто я здесь.

НЕИЗВЕСТНОЕ

Нет в природе объяснений:
Только смех и всхлипы ветра,
Только знак в тумане ночи –
Будто птицы крик нездешний,
Только этот взгляд незримый
В твой приют глазами ночи –
Как прилив безбрежной жизни
Откровеньем в тишь рассудка.

Между мной и Тобой расстояние слов.
О Тебе в тишине нежно сердце поет.
Для себя не хочу ничего, ничего,
Но прошу: заberi расстоянье мое.

УЛЫБКА ДЖОКОНДЫ

Хорошо – когда не знаешь,
Что ты маленький и грешный,
Что поэма жизни это – неоправданное благо,
И когда в ладонях мая
расцветает твой подснежник,
И тебе, к твоей вселенной, ничего еще не надо.
Хорошо – когда возможность
в дар тоске о нерожденном,
И смиренное упрямство
из потерь выносит пользу.
Развенчав твою ничтожность,
Жизнь с улыбкою Джоконды
Вдруг чиста и не напрасна,
и упорствовать не поздно.
Вечным таинством приходов и уходов
мир согласен
с красотой твоих дерзаний
на «ничто» возделать «нечто»,
выпуская на свободу
твоё маленькое счастье,
и Грааль самопознания проливая в Бесконечность.

Станислав МИНАКОВ

Станислав Александрович Минаков родился в 1959 году в Харькове. Окончил радиотехнический факультет Харьковского института радиоэлектроники. Поэт, прозаик, эссеист, переводчик, очеркист, публицист. Публиковался практически во всех «толстых» журналах России. Член Национального союза писателей Украины, Всемирной организации писателей «Международный PEN-Club» (Русский центр, Москва), Международного фонда памяти Б. Чичибабина, Союза писателей России. Автор-составитель энциклопедии «Храмы России», альбомов «Храмы великой России» и «Святые великой России». Автор-составитель, в соавторстве с А. Минаковой, энциклопедий «Всеобщая история музыки» и «История мировой музыки: Жанры. Стили. Направления». Пишет паломнические православные очерки.

Член редакционной коллегии альманаха «Бийский Вестник».

СЕРАФИМ, АЛЕКСАНДР, НИКОЛАЙ. РУССКОЕ «ЦЕЛЬНОЕ ДУНОВЕНИЕ»

Николай Бердяев в трактате «Смысл Творчества», в главе «Творчество и аскетизм. Гениальность и святость» сделал простое, будто очевидное, но замечательное наблюдение: два величайших (не только потому, что это было совсем недавно, два столетия тому) русских человека, Александр Пушкин и Серафим Саровский, жили в одно время, в начале XIX века. Правда ведь, годы их смертей очень близки – 1837 и 1833! Бердяев вычленил эту «двоицу» и поставил рядом. Что само по себе – колоссальное продвижение русского национального сознания. Но философ, разумеется, не ограничился простым названием, а дал свою экспозицию:

Пушкин и св. Серафим жили в разных мирах, не знали друг друга, никогда ни в чем не соприкасались. Равно достойное величие святости и величие гениальности – сопоставимы, несоизмеримы, точно принадлежат к разным бытиям. Русская душа одинаково может гордиться и гением Пушкина, и святостью Серафима. И одинаково обеднела бы она и оттого, что у нее отняли бы Пушкина, и оттого, что отняли бы Серафима.

И вот я спрашиваю: для судьбы России, для судьбы мира, для целей Промысла Божьего лучше ли было бы, если бы в России в начале XIX века жили не великий святой Серафим и великий гений Пушкин, а два Серафима, два святых – святой Серафим в губернии Тамбовской и святой Александр в губернии Псковской? Если бы Александр Пушкин был святым, подобным св. Серафиму, он не был бы гением, не был бы поэтом, не был бы творцом. Но религиозное сознание, признающее святость, подобную Серафимовой, единственным путем восхождения, должно признать гениальность, подобную пушкинскую, лишенной религиозной ценности, несовершенством и грехом.

Лишь по религиозной немощи своей, по греху своему и несовершенству был Пушкин гениальным поэтом, а не святым, подобным Серафиму. Лучше было бы для божественных целей, чтобы в России жили два святых, а не один святой и один гений-поэт. Дело Пушкина не может быть религиозно оценено, ибо гениальность не признается путем духовного восхождения, творчество гения не считается религиозным делом. «Мирское» дело Пушкина не может быть

сравниваемо с «духовным» делением св. Серафима. В лучшем случае, творческое дело Пушкина допускается и оправдывается религиозным сознанием, но не опознают в нем дела религиозного. Лучше и Пушкину было бы быть подобным Серафиму, уйти от мира в монастырь, вступить на путь аскетического духовного подвига. Россия в этом случае лишилась бы величайшего своего гения, обеднела бы творчеством, но творчество гения есть лишь обратная сторона греха и религиозной немощи.

Так думают отцы и учителя религии искупления. Для дела искупления не нужно творчества, не нужно гениальности – нужна лишь святость. Святой творит самого себя, иное, более совершенное в себе бытие. Гений творит великие произведения, совершает великие дела в мире. Лишь творчество самого себя спасает. Творчество великих ценностей может губить. Св. Серафим ничего не творил, кроме самого себя, и этим лишь преображал мир. Пушкин творил великое, безмерно ценное для России и для мира, но себя не творил. В творчестве гения есть как бы жертва собой. Делание святого есть прежде всего самоустроение. Пушкин как бы губил свою душу в своем гениально-творческом исхождении из себя. Серафим спасал свою душу духовным деланием в себе. Путь личного очищения и восхождения (в иогизме, в христианской аскетике, в толстовстве, в оккультизме) может быть враждебен творчеству.

И вот рождается вопрос: в жертве гения, в его творческом исступлении нет ли иной святости перед Богом, иного религиозного делания, равнодостоинного канонической святости? Я верю глубоко, что гениальность Пушкина, перед людьми как бы губившая его душу, перед Богом равна святости Серафима, спасавшей его душу. **Гениальность есть иной религиозный путь, равноценный и равнодостоинный пути святости. Творчество гения есть не «мирское», а «духовное» делание.** Благословенно то, что жил у нас святой Серафим и гений Пушкин, а не два святых. Для божественных

целей мира гениальность Пушкина так же нужна, как и святость Серафима. И горе, если бы не был нам дан свыше гений Пушкина, и несколько святых не могло бы в этом горе утешить. С одной святостью Серафима без гения Пушкина не достигается творческая цель мира. Не только не все могут быть святыми, но и не все должны быть святыми, не все предназначены Богом к святости. Святость есть избрание и назначение. В святости есть призвание. И религиозно не должен вступать на путь святости тот, кто не призван и не предназначен. Религиозным преступлением перед Богом и миром было бы, если бы Пушкин, в бессильных потугах стать святым, перестал творить, не писал бы стихов. Идея призвания по существу своему идея религиозная, а не «мирская», и исполнение призвания есть религиозный долг. Тот, кто не исполняет своего призвания, кто зарывает в землю дары, совершает тяжкий грех перед Богом. К пути гениальности человек бывает так же избран и предназначен, как и к пути святости. Есть обреченность гениальности, как и обреченность святости. Пушкин был обреченным гением-творцом, и он не только не мог быть святым, но и не должен, не смел им быть.

В творческой гениальности Пушкина накоплялся опыт творческой мировой эпохи, эпохи религиозной. Во всякой подлинной творческой гениальности накоплялась святость творческой эпохи, святость иная, более жертвенная, чем святость аскетическая и каноническая. **Гениальность и есть иная святость, но она может быть религиозно осознана и канонизирована лишь в откровении творчества. Гениальность – святость дерзновения, а не святость послушания. Жизнь не может быть до конца растворена в святости, без остатка возвышенно гармонизирована и логизирована.** (Выделено мной. – С.М.)

Быть может, Богу не всегда угодна благочестивая покорность. В темных недрах жизни навеки остается бунтующая и богоборствующая кровь и бьет свободный творческий источник.

Оставляя до поры свои возражения автору не цитировавшихся здесь пассажей об умном делании и «иогизме», о «старости Христианства», о «нежизненности призывов к покаянию» и т.п., начну с малых быстротечных замечаний, поскольку их сделать проще.

Отчего-то Бердяев помещает св. Серафима в губернию Тамбовскую, хотя праведник родился в Курске, а подвизался в Нижегородчине. И Пушкин – родился в Москве, затем учился и жил в Петербурге и лишь восемнадцатилетним юношей (ровно в середине своего земного пути) впервые попал в Михайловское, то есть во Псковскую губернию. (Хотя, конечно, родовые и, полагаю, духовные корни его – именно в Святогорье.) Но это – биографические детали.

Нет возможности согласиться с мыслителем, что святой спасает только лишь себя.

Монах, несмотря на то, что он «моно», один, – спасает человечество и субъективно, молясь за всех, чаще всего и окормляя мирян – подобно старцам – в личном общении, и самим фактом существования (мир *знает* о нём, о его подвиге), а также объективно: Господь спасает многих ради молитв и праведного подвига единицы (единиц). Это – очевидность еще Ветхозаветная. Достаточно вспомнить Содом и Гоморру и дерзновенное препинание Авраама с Господом о количестве праведников, ради которых может быть спасен город.

И наконец, ох уж этот «свободный творческий источник», да еще и с «богоборствующей кровью» в придачу! Насмотрелись и наелись уже и при жизни Бердяева, и после, и, особенно, ныне.

Убежден: когда в человеке упразднена «святость послушания», тогда в нем не сыщется веками и «святость дерзновения». Уж Пушкин-то, думается, в последние свои годы понимал это как никто.

Святитель Тихон Задонский, скончавшийся за 16 лет до рождения Пушкина, сказал: «Для чего вам дали этот дар? Всякое дарование Божие обращается нам во вред, когда от него не Божией, но нашей славы ищем».

А вот слова, сказанные уже после смерти поэта праведником Иоанном Кронштадтским: «Даров Господних не должно удерживать в себе, но изливать на других; образец – природа: солнце не удерживает в себе одном свет, но изливает его на луну... Не должно ни у кого и спрашивать, нужно ли распространять славу Божию пишущею рукою или словесно, или добрыми делами. Это мы обязаны делать по мере сил своих и возможности. Таланты надо употреблять в дело. Коли будешь задумываться об этом простом деле, то дьявол, пожалуй, внушит тебе нелепость, что тебе надо иметь только внутреннее делание».

Пожалуй, и внушит.

Отсюда и пушкинская «слабость духа» в сочинении «Дар напрасный, дар случайный...». Но эти строки (как и состояние, их породившее) не только – свидетельство гордыни (уж самолюбия и амбиций Пушкину было не занимать), но и понятной по-человечески рефлексии художника, усомнившегося в совершенстве собственных сочинений и в действенности его слова в среде людей, в нужности и востребованности этого слова.

«С мирской точки зрения талантами считаются ум, ученость, музыкальные или художественные способности. Они не греховны, и хорошо, когда такую способность совмещают с христианской жизнью, когда посвящают ее Богу. Если же эта способность мешает жить по Богу и спасать свою душу, то ее следует оставить. Лучше быть поглупее и попроще, но спасти. Что пользы тебе, если ты весь мир приобретешь, душу же свою погубишь?» (Преп. Никон Оптинский.)

О том, что не все так просто в творчестве, что оно может иметь греховную природу, дерзновенно пародируя Творца (а за сие полагается воздаянье), хотя бы и эти пушкинские строки:

*Что с тобой, скажи мне, братец,
Бледен ты, как святотатец,
Волоса стоят горой!
Или с девой молодой
Пойман был ты у забора,*

*И, приняв тебя за вора,
Сторож гнался за тобой,
Иль смущен ты привиденьем,
Иль за тяжкие грехи,
Мучась диким вдохновеньем,
Сочиняешь ты стихи?*

Самоиронично сказано, и вдохновенье названо «диким». Кто бы мог ждать такого понижения штиля? Ан у Пушкина оно столь же естественно, как и возвышение, именно в этих волнах, в этом чередовании и есть композиторское искусство. Воистину – «веселое имя Пушкин»!

Вот – из того ж Михайловского, из письма к возлюбленному другу П. Вяземскому – на эту же тему, трезвого понимания ограниченности своих полномочий, своего дара (к слову, в таком трезвении тоже – прямо христианское смирение):

*В глуши, измучась жизнью постной,
Изнемогая животом,
Я не парю – сижу орлом
И болен праздностью поносной.*

*Бумаги берегу запас,
Натугу вдохновенья чуждый,
Хожу я редко на Парнас,
И только за большою нуждой.*

*Но твой затейливый навоз
Приятно мне щекотит нос:
Хвостова он напоминает,
Отца зубастых голубей,
И дух мой снова позывает
Ко испражненью прежних дней.*

Кто еще так вольно мог говорить о творчестве? Только тот, кто сам есть воплощение творчества. А уж обывателю совсем малопонятно такое отношение, «изнутри», из рабочего кабинета.

В «испражненьи прежних дней» немало шедевров – стоит лишь взглянуть на список пушкинских сочинений до 1825 года. Но Пушкин-то, в «Разговоре книгопродавца с поэтом» вдохновенье назвавший «признаком Бога», знал, что «...крайнее безумие – гордиться Божиими дарованиями». (Преп. Иоанн Лествичник.)

И, наконец, главное в нашем продолжении бердяевской тезы «Пушкин – Саровский».

Мне не кажется достаточным это «дуо». Когда речь идет о двух, всегда есть соблазн впасть в противопоставление частей, составляющих пару, в ущерб пониманию их взаимодополнительности.

В чем не может быть вольного или невольного противопоставления, так это в троице.

Николай Пунин в слове о рублевской иконе св. Троицы сказал: «...пусть это – одна душа, но у нее три формы, и она трепещет в приходящих по-разному этих формах... тончайшее разделение внутренне и внешне связанных состояний духа...»

Я клоню к тому, что с преп. Серафимом Саровским и Александром Пушкиным должен быть третий. Непременно должен.

Ученый муж Д. Менделеев, вышедший, как, к примеру, и В. Вернадский, из семьи священника, писал в «Заветных мыслях»: «Хочется-то мне выразить заветнейшую мысль о нераздельности и сочетанности таких отдельных граней познания, каковы: **вещество, сила и дух; инстинкт, разум и воля; свобода, труд и долг.** Последний должно признать по отношению к **семье, родине и человечеству**, а высшее сознание всего этого – выраженным в **религии, искусстве и науке.** Выкиньте что-то из каждой троицы – будет лишь анализ без полного синтеза, получится неустойчивая и слащавая шаткость, а в образовавшуюся пустоту, того и гляди, проникнет отчаяние либо ворвется какой-то вздор, не выдерживающий первичной критики».

Что ж, это нам близко. Поищем третьего – исходя из троичности, учитывая триаду, «русскую Троицу». Отводя, по Менделееву, преп. Серафима Саровского – религии, Александра Пушкина – искусству, следует дополнителя в триаде русского космоса разглядеть в науке. Эпоха, разумеется, должна быть той же. Ведь мы рассматриваем, хоть и чрезвычайную волну, но одну.

Как вам покажется в этом ракурсе Николай Иванович Лобачевский?

Родившийся в 1792 году – позже Прохора Мошнина (преп. Серафима Саровского), но на семь лет раньше Александра Пушкина. Умерший последним в этой троице – в 1856 году.

Коля Лобачевский родился в Макарьевском уезде Нижегородской губернии. Это та самая губерния, где совершил свои духовные подвиги преп. Серафим.

11 (23) февраля 1826 года на заседании отделения физико-математических наук Казанского университета Лобачевский доложил о результатах своего нового исследования. Доклад назывался «Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллелях» и содержал начала неевклидовой геометрии – открытия, совершившего переворот в представлении о природе пространства. Скромное исследование, совпадающее с великим Евклидом в четырех геометрических постулатах, но заменяющее последний, пятый, на противоположный: через точку, не лежащую на данной прямой, проходят, по крайней мере, две прямые, лежащие с данной прямой в одной плоскости и не пересекающие ее. Открытие Лобачевского, опубликованное в 1829–30 годах, не получившее признания современников, совершило переворот в представлении о природе пространства, в основе которого более 2 тысяч лет лежало учение Евклида, и оказало огромное влияние на развитие математического мышления. Мы до сих пор вряд ли осознаем революционность этого открытия.

Ставший профессором университета в 24 года, в 33 – ректором (всего он шестикратно избирался на должность ректора Казанского университета, в течение почти двух десятилетий – с 1827 по 1846 гг.).

В 1837 году труды Лобачевского были опубликованы на французском языке, а в 1840 году – на немецком. И заслужили признание великого Гаусса (следует вспомнить, что сам Лобачевский был в математике как бы «внуком» Карла Фридриха Гаусса, поскольку учился у

профессора Бартельса, воспитанника знаменитого немца). В России же Лобачевский не видел оценки своих научных трудов. Очевидно, его исследования находились за пределами понимания современников. Одни игнорировали его, другие встречали его работы грубыми насмешками и даже бранью.

Геометрия Лобачевского включает в себя геометрию Евклида не как частный, а как особый случай. Изучение свойств пространств в общем виде составляет теперь неевклидову геометрию, сегодня известную всему миру как геометрия Лобачевского. Пространство Лобачевского есть пространство трех измерений, отличающееся от нашего тем, что в нем не имеет места постулат Евклида. Основываясь на работах Лобачевского и постулатах Римана, Альберт Эйнштейн, уже в XX веке, создал теорию относительности, подтвердившую искривленность нашего пространства. Теория Эйнштейна была многократно подтверждена астрономическими наблюдениями, в результате которых стало ясно, что геометрия Лобачевского является одним из фундаментальных представлений об окружающей нас Вселенной.

Лобачевский – автор трудов по алгебре, математическому анализу, теории вероятностей, механике, физике и астрономии. Финал активной и плодотворной деятельности ученого – истинно русский. После 30-летней профессорской деятельности министерство отказало в ходатайстве Совета университета об оставлении Лобачевского на кафедре.

Министерские интриги, господа!

Лобачевский получил назначение помощника попечителя учебного округа, что, по словам одного из биографов, «могло его утешить так же, как Пушкина несвоевременное назначение камер-юнкером».

Занимательно, что в этой цитате, как и в наших размышлениях, тоже появляется имя Пушкина.

Не видя вокруг себя людей, проникнутых его идеями, Лобачевский думал, что эти идеи погибнут вместе с ним. Умирая, он произнес с горечью: «И человек ро-

дился, чтобы умереть». Его не стало 12 февраля 1856 года.

Вот что написал о. Павел Флоренский о рублевской «Троице»:

Нас умиляет, поражает и почти оживает в произведении Рублева вовсе не сюжет, не число «три», не чаша за столом и не крила, а внезапно сдернутая перед нами завеса ноуменального мира (выделено мной. – С.М.), и нам, в порядке эстетическом, важно не то, какими средствами достиг иконописец этой обнаженности ноуменального и были ли в чьих-либо других руках те же краски и те же приемы, – а то, что он воистину передал нам узренное им откровение. Среди мятущихся обстоятельств времени, среди раздоров, междоусобных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов, среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному взору бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир, «свышний мир» горнего мира. Вражде и ненависти, царящим в дольнем, противопоставилась взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной беседе, в вечном единстве сфер горних. Вот этот-то неизъяснимый мир, струящийся широким потоком прямо в душу созерцающего от Троицы Рублева, эту ничему в мире не равную лазурь – более небесную, чем само земное небо, да, эту воистину пренебесную лазурь, несказанную мечту протосковавшего о ней Лермонтова, эту невыразимую грацию взаимных склонений, эту премирную тишину безглагольности, эту бесконечную друг пред другом покорность – мы считаем творческим содержанием Троицы.

Да, мы избрали троичный пример из иной, не рублевской, не сергиево-радонежской эпохи, но разве и не о наших героях слова эти?

Взаимодополнение, соперетекание друг в друга трех составляющих триады таковы, что порой нет никакой возможности вычленивать пресловутое «одно». Думается, в таком вычленивании по самому большому счету нет необходимости (при-

кладная необходимость, быть может, и возникает иногда). Разве в речах преп. Серафима, а более всего, в знаменитой беседе с Н.А. Мотовиловым о стяжании Св.Духа, отсутствуют признаки искусства и науки? Или теория Лобачевского не прекрасна? И коль она есть прорыв к свету истины, то разве она не религиозна?

Преподобный Исаак Сириин заметил в VII веке: «Если твое делание благоугодно Богу, и Он даст тебе дарование, то умоли Его дать тебе и разум: каким образом смириться тебе при даровании, потому что не все могут сохранить дарование безвредно для себя». Как нам важны здесь не только «дар», но и «разум»!

А уж разве не религиозны лучшие пушкинские произведения?

Финал сочинения 1825 года «Люблю ваш сумрак неизвестный...»:

*Быть может, с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные,
И чужд мне будет мир земной;
Быть может, там, где все блистает
Нетленной славой и красой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытия,
Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя,
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я...*

Это отчетливо религиозное сочинение, обладающее мощностью прямого, проповеднического действия. Эмоциональная сила элегической грусти такова, что читатель сразу, немедленно и всецело включается в сопереживание, узнавая, прежде всего, свои собственные чувства...

Мне могут возразить, мол, углы обозначенного мной треугольника (хоть и вписанного в круг) разновелики. Но разве это только проблема изливающих свет – в том, что мы в разной мере способны его усвоить, принять? Безусловно, среди названных троих Пушкин известен (условно допустим, что и усвоен) больше, чем остальные. С высокой точностью можно было десять лет назад считать, что хоть с толикой его наследия знаком каждый русский человек. (Сегодня резко возрос-

ло число безграмотных – за счет появления сотен тысяч беспризорных детей.) Преп. Серафим был заслонен от народа (в том числе и по вине самого народа) в течение семи десятилетий большевизма. С открытиями Николая Лобачевского и сегодня знакомы лишь единицы. Однако светлы длятся. И «равновесие» светов может возникнуть в чуть более дальней перспективе. Во всяком случае, худо-бедно, в «религиозной» составляющей перспектива такого выравнивания наметилась. С на-

укой же всегда было трудней. Особенно тяжело ей сегодня, в пору «реформирования» системы образования. («Мы рушим на века, и лишь на годы строим...» – написал харьковчанин Б. Чичибабин.)

Быть может, в случае с нашими великими Серафимом, Александром и Николаем мы имеем дело даже не с тройственным аккордом, а (как сказал в связи с «Троицей» Рублева искусствовед Вяч. Щепкин в статье «Душа русского народа в его искусстве», 1920) с «цельным дуновением»?

Бийскому Вестнику - 10 лет!

Дорогие коллеги!

10 лет назад был создан ваш замечательный альманах «Бийский Вестник». Сегодня мы можем с безусловным на то основанием свидетельствовать, что надежды, связанные с созданием альманаха, в полной мере оправдались.

Минувшее десятилетие для качественной российской литературы – не самое лучшее. Для каждого честного писателя оно стало периодом тяжёлых нравственных испытаний, проверки на прочность писательских связей. Всем нам выпало жить и творить в нелёгкие рыночные времена – в другую политическую эпоху, в другом формирующемся государстве, при ином отношении высших и региональных эшелонов власти к творцам, провозгласившим себя «правопреемниками» классической русской литературы. В то же время символично, что 10-летний юбилей «Бийского Вестника» отмечается в году, провозглашённом Президентом России Годом русской истории.

С первых самостоятельных шагов альманах неукоснительно следует лучшим традициям русской литературы, утверждения державности, нравственности и реализма как главного художественного направления, борьбы за чистоту русского языка.

Сердечно поздравляю вас с юбилеем альманаха! Желаю всем сотрудникам редакции и авторам здоровья, неиссякаемого вдохновения, счастья и успехов во всех благих начинаниях! Надеюсь, что содружество писателей, живущих на берегах одной великой сибирской реки, будет как и ныне являть собой пример товарищеского единения для всего писательского сообщества России!

*Ответственный секретарь правления
Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России
Павел ЧЕРКАШИН*

Людмила ЛИХАЦКАЯ

Людмила Николаевна Лихацкая – кандидат искусствоведения, член Союза художников России. Работала в Выставочном зале Союза художников и в Государственном художественном музее Алтайского края. Занимается проблемами искусства Алтая. Автор монографии «Человек. Портрет. Эпоха». Живёт в Барнауле.

ЮБИЛЕЙНАЯ ВСТРЕЧА

Два года назад общественность Алтай широко отметила юбилей известного живописца В.Я. Курзина (1911–1984).

В юбилейный год в Выставочном зале г. Бийска прошла выставка работ мастера.

На выставке из 36 работ, принадлежащих фонду Бийского краеведческого музея им. В.В. Бианки и личному собранию Т.В. Скубневской, была представлена лишь малая часть творческого наследия В.Я. Курзина. Кроме произведений в экспозиции были показаны фотодокументы из личного архива Татьяны Валентиновны Скубневской, дочери художника, которая явилась вдохновителем и организатором данной выставки в выставочном зале Бийского краеведческого музея. Так было отмечено событие краевого масштаба – 100-летие со дня рождения живописца Валентина Яковлевича Курзина [1]. Главное впечатление – это высокий художественный уровень произведений мастера. Член Союза художников СССР с 1942 года, он с 1952 по 1960 год возглавлял Алтайскую организацию Союза художников СССР в должности председателя, был одним из первых художников-профессионалов, создавших Бийские художественно-производственные мастерские. Это была выставка-публикация: в витринах фотографии из личного фонда Т. В. Скубневской, каталоги выставок, альбомы, публикации. Уникальность этого события связана, конечно же, с масштабом личности. Вклад Валентина Яковлевича Курзина в развитие алтайского изобразительного искусства трудно переоценить. Выставка была не обширна, но качество работ, их профессиональный уровень говорит сам за себя. Сегодня персональная выставка произведений В. Я. Курзина по-

новому показала автора: работы становятся в иной контекст, контекст нашего современного регионального искусства. Чрезвычайно редко экспонируются персональные выставки художников старшего поколения, которых уже нет с нами. Возможно, проведение таких выставок чаще было бы хорошей школой для современных молодых художников.

Многочисленные гости, присутствовавшие на презентации, художники-коллеги, искусствоведы Ф.С. Торхов, З.М. Ибрагимов, Г.И. Прибытков, Т.М. Степанская говорили о Валентине Яковлевиче как о художнике, как о человеке, как о талантливом организаторе.

Творческие годы его работы на Алтае пришлись на 50-е, 60-е, 70-е и начало 80-х годов. Он живописец, мастер. Портреты, пейзажи, натюрморты... В творческом наследии В. Я. Курзина значительные произведения всех этих жанров. Работы демонстрируют академическую школу живописи.

Замечательно, что Валентин Яковлевич наш земляк. Он родился в Барнауле, 18 апреля 1911 года. В 1929 году окончил школу-семилетку, а с 1922 по 1931 гг. «работал учителем по ликвидации безграмотности, пройдя предварительно спецкурсы», как он сам указывает в своей автобиографии [9]. Говоря о формировании Курзина как художника, можно предположить, что в юношеские годы на него определенное влияние оказал его родственник, дядя, известный художник Михаил Иванович Курзин (1889–1957). Племянник, Валентин Курзин, также имел способности к рисованию. Рисовал он много и хорошо. А в 21 год юноша поступает в Самаркандское художествен-

ное училище. Работоспособность и целеустремленность – эти качества отличали студента Валентина Курзина на протяжении всего времени учебы (1932–1936). После окончания училища – работа в Самарканде в Узбекском национальном театре в качестве художника. Эта недолгая практика, безусловно, пригодилась. Однако Валентин Яковлевич идет дальше, к своей цели, и в 1936 году поступает в Институт живописи, скульптуры и архитектуры Академии художеств СССР в Ленинграде. Занятия в мастерской заслуженного деятеля искусств И. Бродского. Война прервала учебу. На фронте не был по состоянию здоровья. Жил в Барнауле, где работали эвакуированные художники. В это время Валентин Яковлевич активно участвует в выставках, о чем свидетельствуют каталоги выставок военных лет: [15-18]. Его работы получают хорошие отзывы: уже в 1942 году он становится членом Союза художников СССР. Когда закончилась война, Валентин Яковлевич завершает обучение в Академии художеств. Сразу же был направлен преподавателем живописи и рисунка в город Елец, в Орловское художественное училище, преподавал и в Московском художественном училище им. 1905 года.

Преподавательскую работу Валентин Яковлевич совмещает с творческой работой художника. Участвовать в выставках В.Я. Курзин начал еще в 30-е годы после окончания Самаркандского художественного училища (в возрасте 31 года Валентин Яковлевич Курзин становится членом Союза художников СССР (1942 г.)). Выставки того периода показывают высокий уровень искусства, его качественную сторону. Планка была высока. Это становится понятно при небольшом перечислении некоторых выставок, в которых участвовал В. Я. Курзин. В 1947 году Сибирская межобластная художественная выставка в Новосибирске. В Москве выставки произведений художников РСФСР в 1954 и 1955 годах. В 1956-м выставка произведений художников Сибири и Дальнего Востока в Иркутске. В 1980 – 5-я зональная выставка «Сибирь социалистическая» в Барнауле, а в 1982 году в Москве и в Гор-

но-Алтайске прошла юбилейная республиканская выставка «В горах голубого Алтая» и так далее.

С 1951 году Валентин Яковлевич Курзин решает окончательно «перейти на творческую работу», как указывает в автобиографии, и возвратиться на родину, в Барнаул. Уже в 1952 году он возглавляет творческий союз художников Алтая. В должности председателя Алтайской организации Союза художников РСФСР находился до 1960 года. Будучи председателем Алтайской организации Союза художников РСФСР Валентин Яковлевич несомненно внес вклад в развитие Союза художников и искусства Алтая. Это было интересное и трудное время. Время романтиков – «целина». Как и многие из его товарищей-художников, Валентин Яковлевич был награжден медалью «За освоение целины». Медаль художникам – за «освещение» этого крупномасштабного события в живописных и графических картинах и портретах, в репортажных зарисовках для газет. Работа в должности председателя Союза художников была хлопотной и разнообразной: организация выставок, творческих поездок. Нередко приходилось на подводах, на лошадях зимой везти картины в открывающиеся тогда сельские галереи. Это была по-настоящему насыщенная творческая жизнь. В то время искусство было и социальным по требованию времени, и лирическим. На выставках рядом с картинами о целине и революции, рядом с портретами современников были и лирические пейзажи алтайских художников-живописцев, которые ныне составляют золотой фонд алтайского искусства. На выставках участвовали все вместе, тогда еще молодые художники, а ныне известные мастера: М.Д. Ковешникова, М.Я. Жеребцов, Д.Л. Комаров, Ю.Н. Панин, М.Я. Будкеев, Ф.С. Торхов, Ф.Я. Филонов, А.Г. Вагин, П.А. Щетинин, В.И. Голдырев, П.Г. Кортиков...

В то время становления алтайского искусства Валентин Яковлевич был старшим среди них и по возрасту, и по опыту работы, и по мастерству. Однако все были коллегами, товарищами по совместной работе и в Союзе художников, и в Алтай-

ском отделении художественного фонда РСФСР, и по творческим поездкам, и в походах на этюды. А еще был и замечательный творческий и семейный союз с молодой, подающей большие надежды, Майей Дмитриевной Ковешниковой, ныне она заслуженный художник России.

Можно сказать, что общие черты присущи живописцам того периода. Все они оказывали влияние друг на друга в становлении живописного мастерства. Роль живописца и в недавнем прошлом педагога Валентина Яковлевича Курзина несомненна. В работах этой плеяды художников присутствует сложность цвета и богатство цветовой палитры. У них была сходная или общая школа. Классическая школа, основанная на традициях русской реалистической живописи и, в частности, пейзажа. Валентин Яковлевич регулярно вел студию для товарищей-художников, организованную им самим. Именно к этому периоду надо отнести начало развития лирической линии живописного пейзажа на Алтае.

Нужно отметить, что при жизни художника состоялась всего одна персональная выставка – в Бийске, в 1981 году. Следующая – только в 2011 году, организованная в память о художнике в его столетний юбилей дочерью Татьяной Валентиновны Скубневской.

Одна из сохранившихся работ 50-х годов, представленных на юбилейной выставке, показывает, как художник может почувствовать пейзажный образ и передать его в «акварельной» живописи маслом. Облака, бескрайние просторы и несущийся всадник. Это этюд **«Слившись в ветром» (1958. К., м.)**.

Постепенно пейзаж становится главным жанром творчества, в котором в полной мере проявилась способность В. Курзина выразить поэзию образа через полутона сложных оттенков. По работам очень хорошо видно, что весна для него как художника была особенным временем года. Он любит многообразие настроений переходных состояний природы. «Март», «Ранняя весна», «В полях белеет снег» – все это нюансы одного волнующего времени года.

«Март» (1963. Х., м.). Игра солнечных лучей на снегу, стволах деревьев. Потрясающая палитра. Яркий солнечный свет усиливается белыми стволами берез. Здесь Родина... Так прочитывается пейзажный образ. Здесь вся русская поэзия и русская культура 19 века. Традиции русской школы художников-передвижников являлись основой профессиональной школы для художников поколения Валентина Яковлевича. Глубокое чувство, мимолетность настроения и выверенность палитры.

Работу **«Ранняя весна» (1971. Х., м.)** можно назвать коротким рассказом, или пейзажной зарисовкой, или стихотворением. Точность характеристики природного состояния и выразительность пейзажного образа достигается не только живописной палитрой. Рисунок в произведениях В. Курзина играет важную роль. При этом и рисунок, и цвет работают согласованно. Если бы эти работы не были живописными, то состоялись бы как завершенные композиции в черно-белом графическом рисунке. Сложные оттенки цвета составляют богатейшую цветовую гамму. Ни в рисунке, ни в цвете, ни в композиции нет второстепенного. Все тщательно проработано и выписано, великолепно переданы световоздушная среда и перспектива. Противоборство холода и тепла, тени и света. Противоборство-диалог. Как написана вода, отражающая небо! Как можно в статическом виде искусства показать динамику таких уровней: едва уловимые процессы в природе и эстетические переживания человека. Когда произведение живописи удивляет и завораживает, это и есть настоящее искусство.

В композиции **«В полях белеет снег» (1979. Х., м.)** в переходах холодных тонов живое, трепещущее чувство. А вот **«Цветущий май» (1980. Х., м.)** с нежной майской зеленью. Играющие дети. Художник мастерски вводит в пейзажные композиции стаффажные элементы.

Иная симфония чувств в живописных полотнах, посвященных осени. Сколько грусти и сдержанной красоты в осеннем пейзаже **«Журавли летят» (1980. Х., м.)**,

как в русском романсе. У Курзина – гармония пластики, динамики, рисунка, цвета. В русском романсе – культура в сочетании всех элементов и целого. Таковы пейзажи Валентина Курзина. Валентин Яковлевич был человеком прекрасно образованным, знающим русскую литературу, поэзию и музыку. «Для себя» писал стихи. И это видно по работам. Он в своих пейзажах смог выразить и русскую культуру, и русскую душу. Музыкальность, ритмичность, рифмованность линий и элементов в его фигуративных композициях. В этой осенней композиции ясно прочитывается элегическая интонация. Это традиции классического русского пейзажа 2-й половины 19 века: Левитана, Васильева, Куинджи. И это не только прекрасная школа академического рисунка, живописной техники. Здесь русское чувство в этом пейзажном образе степного Алтая, а лирический герой – это автор. Virtuозное владение живописной техникой дает свободу, в том числе и в работе с фактурой. Градация от плотного – осязаемой тверди на переднем плане – до едва видимой паутины – цепочки улетающей в небесные выси журавлиной стаи.

В городском пейзаже автор стремится передать характер, неповторимость, индивидуальность города. Так легко узнаваемы Барнаул, Бийск, Самарканд... Вот старый Бийск в работе **«Зимний день» (Х., м.)**. Как настоящий колорист, Валентин Яковлевич гармонизирует реальные цвета при абсолютной правде повествования. В этом проявляется культура отношения к жизни, к миру, к реальности. Казалось бы, в обыденном он видит гармонию цвета в оттенках фиолетового, коричневого, оранжевого, серого. И это важно для зрителя, для истинного ценителя живописи, обладающего такой же культурой восприятия цвета и образа. Думается, что и при отсутствии рисунка, фигуративности, сюжета, его живописные работы, будучи абстрактными и состоящими только из цветовых пятен, были бы не менее интересными.

Бийску посвящено большинство городских пейзажей. В работе **«Морозный день» (1980. Х., м.)** старый Бийск с за-

снеженными крышами. Белая зима. Чувствуется мороз, снег мягкий и пушистый, только что выпавший. Деревья в инее. Мастерски передана фактура. При этом Валентин Яковлевич мастер детали. Деталь может стать главным персонажем живописного повествования, может стать поэтическим моментом этого повествования, как, например, в работе **«Ранний снег» (1973. Х, м.)**. И снова старый Бийск. Незамысловатость природы. Синие ставни небольших деревянных домов. Как ненавязчиво акцентируется деталь. Почти и не акцентируется. Во внимании к этим деталям ощущается теплота отношения художника к тому, что он наблюдает и изображает. Типичное для русских городов показывается как родное и трогательное. Во всем – глубокое личностное чувство.

Валентин Яковлевич обладал в большой мере очень важным для пейзажиста качеством: он мог пронзительно почувствовать мотив в пейзаже, эмоциональный характер местности. Вот Степной Алтай с его необъятными просторами. В пейзаже **«В пути» (1978. Х., м.)** – осенняя страда. Уходящая вдаль дорога, грузовик среди необъятных полей, стайка черных ворон на переднем плане, как яркий акцент на сияющей осенней желтизне. С одной стороны, эпический размах, а с другой – казалось бы, незначительные, но тонко подмеченные детали. Так тема хлебоборобного Алтая раскрывается монументально и в то же время лирично. Несомненно, что-то завораживает в его работах... Есть что-то, что сближает в мыслях и чувствах зрителя и автора.

Какой Алтай ближе Курзину: степной или горный? Он легко и сразу схватывает цветовую палитру, создающую пейзажный образ **«Горный этюд»**. Постоянная и неустанная, с вдохновением, работа на пленэре, наблюдение природы, тренировка глаза, собственных способностей восприятия тончайших оттенков и цветовых переходов. Только этот метод работы может привести к успеху живописца-реалиста. Недаром Валентин Яковлевич много лет отдал преподавательской работе. Сам он всегда являлся отличным примером для будущих художников. В

работе **«Чемал» (1968. Х., м)** – солнечный пленэр, точная передача естественного солнечного освещения и воздушной среды, реальные оттенки цвета. Только так, передавая живые краски природы Горного Алтая, можно создать его уникальный, величественный образ в пейзаже.

Романтик в душе, Валентин Яковлевич так и показывает зрителю свой Горный Алтай, и эта тема действительно занимала в творчестве живописца значительное место (**«Семинские кедры» (1967. Х., м)**, **«Горы» (Х., м)** и др.).

Еще одна тема увлекала Валентина Яковлевича. Она нашла выражение в живописном пейзаже **«Геологи»**. В 60-е годы эта тема была востребованной зрителем, и она активно разрабатывалась в разных видах искусства (например, в поэзии, в кино), и художники с самыми искренними чувствами в этой теме работали. Геологи – люди мужественной профессии, люди-романтики. Романтическая нота постоянно звучит в творчестве В. Я. Курзина. Пейзаж **«Курайская степь» (Х., м.)** – продолжение романтической темы в произведениях В. Я. Курзина. Здесь главное – даже не само содержание картины, а стиль повествования. Курзин показывает Курайскую степь как художник-романтик. Показывает как сказку, дивную страну. Горы, верблюды, голубые туманы...

Среди всех алтайских пейзажей, созданных художником в разные годы, в особую тему выстраиваются работы, посвященные Василию Макаровичу Шукшину. На юбилейной выставке две работы этой тематики: **«Вид на Пикет»** и **«Катунские дали»**.

Творчески активного художника невозможно было представить вне многочисленных творческих поездок (**«Самарканд»**, **«Море. Крым»** и др.).

В произведениях Валентина Яковлевича образы живые, «эмоциональные». Зритель всегда ощущает посыл автора. Так, в работе **«Сирень» (1979. Х., м.)** какая-то мимолетность, даже некоторая загадочность. Заметно, что каждый пейзажный мотив для этого художника связан с его культурным опытом. Лирическая поэзия, музыка, музыка классическая. Все это хо-

рошо знал и любил Валентин Яковлевич. Несомненно, все это в совокупности не может не отразиться на структуре образа, колористическом решении работы и находит отражение в драматургии пейзажного образа. Это в итоге и есть культура, культура общая, культура отношения к природе, живописная культура.

Его отношение к природе находит яркое выражение также и в жанре натюрморта. **«Натюрморт с капустой» (1966. Х., м.)** как живой фрагмент жизни. Сочность красок, разнообразие фактур. Есть чувство жизни в изображении плодов осени. Истинное наслаждение природой, разнообразием ее форм, цветов и оттенков. Однако авторский стиль проявляется в мужской сдержанности при богатой внутренней тонкости и глубине ощущений. Все это можно прочесть только лишь в колористической гамме одного натюрморта **«Натюрморт с рыбой» (1967. Х., м.)**.

Настоящая роскошь эстетического переживания в работе **«Пионы» (1978. Х., м.)**. В. Я. Курзин работает так, что не только передает фактуру и природный цвет, но и объем, пространство, свет и тень. Благодаря этому его натюрморты с цветами – живые. Это не только точная передача красоты природных форм, но и выражение искреннего чувства восхищения этой красотой.

Свежесть, аромат весны переданы через пронзительное качество синего цвета в натюрморте **«Кукушкины слезки» (1976)**. На столике рядом сигареты и спички. Сразу ощущается характер присутствующего здесь человека, мужчины. Это не просто букет весенних полевых цветов. Он собран художником, поставлен им на его рабочем столе. Эти цветы – часть его дня, его бытия. Как вспоминает дочь художника, кукушкины слезки – любимые цветы Валентина Яковлевича.

Совсем иные по сложности и социальной значимости задачи ставит перед художником жанр портрета. Портретный жанр в творчестве Валентина Курзина всегда занимал важное место. Им созданы портреты значимых для культуры и искусства Алтая людей. Вот **«Портрет Б. Х. Кадикова» (1965. Х., м.)**. Борис Хатмиевич

Кадиков – ученый, краевед, внесший большой вклад в изучении истории культуры края. На портрете, написанном Курзиным, это молодой специалист, недавно вступивший на свой профессиональный путь. Благородные сдержанные тона мужского портрета. Неуловимый стиль и сдержанная палитра реалистической живописи 60-х годов. Яркая социальная характеристика портретного образа: молодой специалист, представитель современной интеллигенции. Точная индивидуальная характеристика модели: благородство, прямота и открытость характера. Этот молодой человек – романтик! Пытливый взгляд молодого ученого обнаруживает предельную заинтересованность разговором, увлеченность, чувствуется эвристичность мышления. Живописец показывает живой характер ученого через взгляд, устремленный прямо перед собой, но не на зрителя, а в какие-то только ему ведомые дали. Лицо – скульптурно, его детали подчеркиваются светотенью. Мужская красота твердого характера подчеркивается лаконичностью цветовой гаммы. При сдержанности общего колорита – нюансировка цвета. Простота композиции, естественная поза человека – как фрагмент ситуации человека в беседе.

«Портрет Д. И. Кузнецова» (1966. Х., м.). Дмитрий Иванович старейший художник Алтая. Старый русский интеллигент начала XX века. Это образ коллеги, старшего товарища, учителя. Характер точен. В портретном образе традиции Валентина Серова (образная концепция).

Как в историческом портрете, так и в портрете современника проявляется мастерство. В.Я. Курзин как психолог хорошо чувствует модель (**«Портрет девушки», 1969. Х., м.; «Алтайка», 1972. Х., м.; «Портрет Третьяка», 1979. Х., м.).**

В живописном **«Автопортрете»** характер твердый, мужской. В этом портрете вся точность социальной и психологической характеристики, время и понимание социальной роли художника. Это образ интеллигента вне временных рамок. Пытливый, острый взгляд. Каков бы ни был угол зрения на работу – взгляд зрителя всегда встречается с взглядом портретируемого.

Судя по портретному образу и по его работам, Валентин Яковлевич Курзин – человек энергичного характера. Эта выставка работ мастера, посвященная 100-летию юбилею, является достойным свидетельством непреходящей значимости его произведений.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ И АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

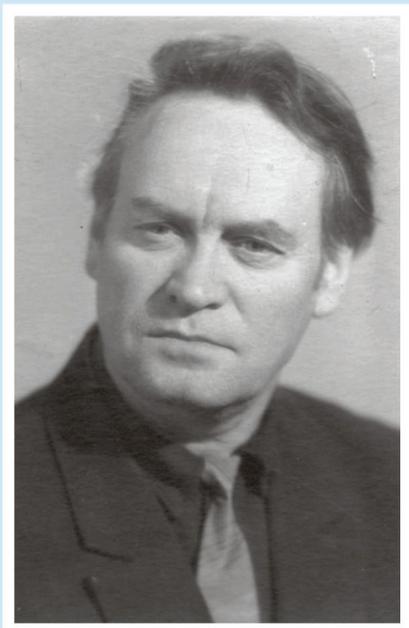
- 1 Мы снова вместе. Валентин Яковлевич Курзин. К 100-летию со дня рождения художника. Вст. Ст. С.А. Бартышева, Л.Н. Хвостенко. Буклет. Бийск. 2011. 1 сл. л.
- 2 Художники Алтая: [Альбом]. Авт вст. Ст., сост. Б.Н. Лупачев - Барнаул, 1973. - Из содерж.: Курзин В.Я.
- 3 Художники Алтая: [Альбом]. 2-е изд. доп. - Барнаул, 1980. - Из содерж.: Курзин В.Я.
- 4 Курзин Валентин Яковлевич: Каталог юбилейной выставки / Сост. И авт. вст. ст. Л.Н. Новикова. - Бийск, 1981. - 22с. ил.
- 5 Прибытков Г. От энтузиастов-одиночек до творческого коллектива Союза художников. - Бийск, 1990. - С. 33-42, 45, 47, 64.
- 6 Лихацкая Л.Н. 90 лет со дня рождения художника В. Я. Курзина (1911-1981) // Барнаульский хронограф. 2011 г.: календарь знаменательных и памятных дат. - Барнаул, 2000. - С. 13-14: портр. Библиогр.
- 7 Курзин Валентин Яковлевич // Художники Алтая XX век. Авт. Вст. Ст. Л.И. Леонова. - Барнаул, 2001. - С. 69-72.
- 8 Степанская Т. М. Художественная жизнь Барнаула // Барнаул: история культуры. - Барнаул, 2000. - С. 84-91. Библиогр.
- 9 Алтайская краевая организация Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Архив. Личное дело В. Я. Курзина.

- 10 Муратов П. Д. Художественная жизнь Сибири 1920-х годов. - Л.: Художник РСФСР, 1974. - С. 15, 33, 34, 46, 59, 96, 126, 127, 135.
- 11 Снитко Л. И. Художественная жизнь советского Алтая (1910-30-е гг.) // Изобразительное искусство Алтая. - Барнаул, 1977. - С. 5-14.
- 12 Лихацкая Л. Н. Человек. Портрет. Эпоха. - Барнаул: Издательский дом «Барнаул», 2010. - 230 с. С. 54, 55, 56, 208, 222.
- 13 XXV лет Октября. Художественная выставка, посвященная Великой отечественной войне. Каталог. Барнаул: изд-во «Алтайская правда», 1942г. - С. 8. Государственный художественный музей Алтайского края. Научный архив. Ф.1. Р.7. Д. 31. Изобразительное искусство Алтая в годы Великой Отечественной войны. Каталоги. Афиши.
- 14 Художественная выставка «XXV лет РККА. Союз советских художников Алтая. Каталог. Барнаул: изд-во «Алтайская правда», 1943г. - С. 8. Государственный художественный музей Алтайского края. Научный архив. Ф.1. Р.7. Д. 31. Изобразительное искусство Алтая в годы Великой Отечественной войны. Каталоги. Афиши.
- 15 Краевая художественная выставка «Алтай в дни Великой Отечественной войны». Каталог. Барнаул: изд-во «Алтайская правда», 1944г. Вст. ст. И. Либгот. С. 5. Государственный художественный музей Алтайского края. Научный архив. Ф.1. Р.7. Д. 31. Изобразительное искусство Алтая в годы Великой Отечественной войны. Каталоги. Афиши.
- 16 «Художники готовятся к выставке». «Алтайская правда». 10 октября 1943 г. Государственный художественный музей Алтайского края. Научный архив. Ф.1. Р.7. Д. 31. Изобразительное искусство Алтая в годы Великой Отечественной войны. Каталоги. Афиши.
- 17 Сибирская межобластная художественная выставка. Каталог. Барнаул: изд-во «Алтайская правда», 1947г. Государственный художественный музей Алтайского края. Научный архив. Ф.10. Д. 13. Фонд И. Е. Харина. Каталоги выставок.
- 18 9-я краевая художественная выставка. Каталог. Барнаул: изд-во «Алтайская правда», 1951г. Государственный художественный музей Алтайского края. Научный архив. Ф.10. Д. 13. Фонд И. Е. Харина. Каталоги выставок.
- 19 10-я краевая выставка произведений художников Алтая 1954. Каталог. Барнаул: изд-во «Алтайская правда», 1955г. Государственный художественный музей Алтайского края. Научный архив. Ф.10. Д.13. Фонд И. Е. Харина. Каталоги выставок.
- 20 Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов.: [в 2 т.], Барнаул: Алтайский Дом печати. - Т.1: А-Л. - 2005. - 452 с.

Примечания:

Упомянутые в статье произведения В.Я. Курзина являются собственностью Бийского краеведческого музея им. В.В. Бианки и Т.В. Скубневской.

К статье Л. Лихатской



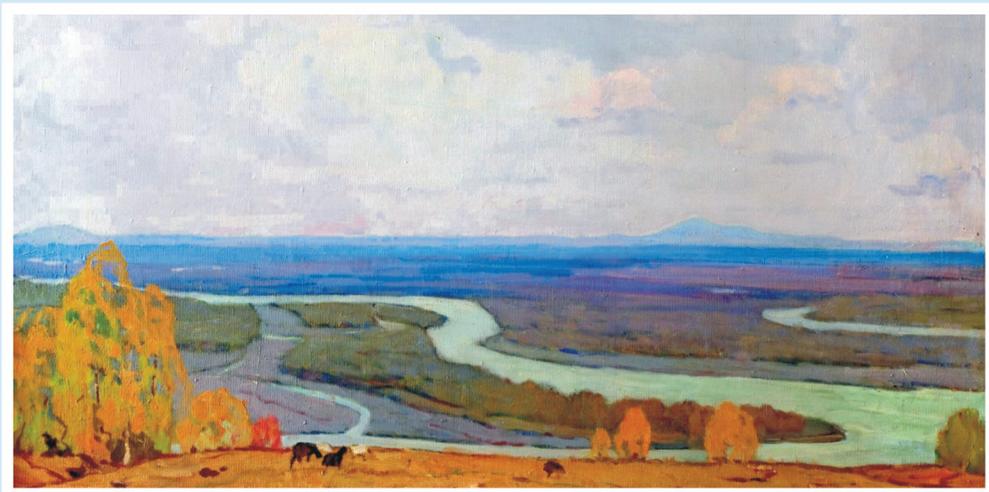
В.Я. Курзин



Валентин Яковлевич Курзин,
его жена Мая Дмитриевна Ковешникова
и их дочь Татьяна



В.Я. Курзин. Портрет Б.Х. Кадикова. 1965. х. м.



В.Я. Курзин. Катунские дали. 1979. х. м.



В.Я. Курзин. Март. 1963. х. м.

Борис РОМАНОВ

Борис Николаевич Романов родился в 1947 году в городе Уфе. Поэт, переводчик, литературовед, эссеист. В 1975 году окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Автор многих книг стихов, среди которых «Колодец света», «Яблоко в траве», «Книга сонетов», «Сквозь темное стекло». Автор статей о русской религиозной поэзии, о русском сонете. Составитель и комментатор ряда антологий и изданий русской и зарубежной классики. Среди них: «Русский сонет. Сонеты русских поэтов XVIII – начала XX века», «Русский сонет. Сонеты русских поэтов начала XX века и советских поэтов», «Путешествия в Святую землю: Записки русских паломников и путешественников XII–XX вв.»

«И ДОЛГО ДУМАЛ ОН О БОГЕ...»

Сергей Клычков и народная вера

Строчка «И долго думал он о Боге...» из стихотворения Сергея Клыčkова перекликается со словами Александра Блока о многомиллионном народе, который «с XV века несет одну и ту же однообразную и упорную думу о Боге (в сектантстве)»¹. Эти слова, написанные в 1907 году (возможно, после публикации они Клычкову стали известны), связаны с письмом Клюева к Блоку. Поэты, совсем по-иному, чем народ, занятые «упорной думой о Боге», именно в русском сектантстве надеялись обрести, разглядеть, словно Китеж на смутном дне Светлояра, новое откровение. Ждали поначалу и от собратьев, вышедших из мистических «мужицких» глубин.

Стихотворение Клыčkова «До слез любя страну родную...» написано в послеблоковские (около 1930 года), богоборческие и «мужикоборческие» времена. И о другом говорили теперь его строки – о народной вере и думе:

*С жестокой и суровой плотью,
С душой, укрытой на запор,
Сберег он от веков лохмотья,
Да синий взор свой, да топор.*

*Уклад принес он из берлоги,
В привычках перенял он рысь,
И долго думал он о Боге,
Повечеру нахмураясь ввысь.*

¹ Письма Александра Блока к родным. Л.: «Academia», 1927. С. 182.

*В ночи ж, страшась болотных пугал,
Засов приладив на двери,
Повесил он икону в угол
В напоминание зари.*

*В напоминание и память
О том, что изначальный свет
Пролит был щедро над полями,
Ему же и кончины нет.*

Каждого поэта-мифотворца, к какой бы он конфессии не принадлежал, можно счесть сектантом, обвинить в язычестве или ереси. Но поэт не богослов, его образ мира и «дума» о Боге могут принимать самые причудливые формы. Хотя вряд ли произвольные, выдуманные. В поэзии и прозе Сергея Клыčkова христианский образ мира неотрывен от народной веры, с особенной ревностью сохранявшейся в старообрядчестве. Хотя ни семья поэта, ни тем более он сам уже не были крепки в древних устоях.

Одно из проявлений народной веры – паломничество по святым местам.

На страстной неделе 1913 года Сергей Клычков с юристом и стихотворцем Григорием Забежинским² и приятелем-художником совершили паломничество в старинный монастырь под Дмитровом. Забежинский, встретивший старость в Нью-Йорке, писал о советской Москве:

² Забежинский Григорий Борисович (1879-1966) – поэт, переводчик, критик; с начала 1920-х гг. в эмиграции; автор воспоминаний о С.А. Есенине.

«Василий не блажен, и Спас не над стеной, / Где рдеют и страшат кремлевские сполохи...» А о паломничестве с Клычковым вспоминал светло, хотя и с немногими подробностями: прошло сорок лет. Забежинский сообщает, что, пройдя пешком около 70 верст, они провели в монастыре три дня, встретив в нем Светлое Воскресение. Пасха в том году прилась на 14 апреля по старому стилю.

Мемуаристом не названный, но легко угадываемый, Николо-Пешношский (Пешношский) монастырь был основан учеником Сергия Радонежского Мефодием в 1361 году, у речки Пешноши, на ее изгибе перед впадением в Яхрому. Лучшие времена Обители, которую за сто лет до паломничества молодых поэтов митрополит Платон называл «второй Лаврой», были позади. Но в ней находились чтимые святыни: частица Ризы Господней, чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Прежде Рождества и по Рождестве Дева». В ней обнаружился образ Иоанна Предтечи, написанный Андреем Рублевым. По большим праздникам в монастырь стекались богомольцы издалека и окрестных деревень, были здесь и клычковские земляки из талдомской округи.

Древний монастырь узнается в романе Клычкова «Князь мира», где он поэтически описан, названный Николонапестовским (в уцелевшей главе романа «Серый барин» похожее название – Никола-на-Пестоши). Как всегда у Клычкова, церковное неотрывно от природы, увиденной как проявление Божественного в земном.

«Нехотя будто текет мимо монастырской стены вильливая речка, пышно по ее берегу развесились над водой многовековые ветлы и липы, сплетаясь через реку ветвями, – в дуплах у них богомольцы спали в летнюю пору и под осень монастырские служки, пася ночное, разводили посередке грудки, – удивительны монастырские стены по-за этой речке, с ажурным рисунком старых бойниц, крашенные всегда, словно только вчера, в белую краску и походившие очень на упавшее с неба крыло, когда подъезжаешь издали к монастырю и он фасадом вдруг высунется из березовой рощи; густ и бархатен го-

лосом, словно кафедральный дьякон, колокол в семьсот пудов весом, в котором, по преданию, половина чистого серебра, четвертая часть чистого золота, и только в самой малости вошли в колокольный сплав медяки, накопленные монастырской казной за долгие годы...»

Из романа ясно, что судьба монастыря в советские времена Клычкову не безразлична, он горько замечает, что монастырь «пришел в запустение <...> еще во время войны», что теперь в нем «обосновался совхоз, в котором совсем новые люди, и что тут было на этом месте, не только не помнят, но и не знают!»

Паломники познакомились в студии скульптора К.Ф. Крахта, где собирался кружок Эллиса, в котором рассуждали о религиозном устремлении в современном искусстве и о символизме, как мистическом мироощущении. «Клычков был в то время, – вспоминал Забежинский, – верующим, но с вывихом в старую веру, о которой он уже немало знал. Были у него и связи в старообрядческой среде»¹.

О паломничестве Сергея Клычкова в июне того же 1913 года к граду Китежу рассказал его друг с университетских времен и соратник Петр Алексеевич Журов. Они встретили у Светлояра толпы богомольцев, старообрядцев разных толков и сектантов, слушали громкие споры о вере, пение духовных стихов. Изредка мелькали среди простонародья интеллигентские фигуры, любопытствующих и «взыскующих града». «Все в целом, – вспоминал Журов, – представляло необычайную, волнующую картину народной мистерии. Тут можно было увидеть иконописных старцев, будто сошедших с картин Нестерова, и молодых девушек поразительной красоты в платочках. Рассказывались легенды о китежском звоне, о возах с пшеницей, перед которыми раскрывались в воде ворота; читали рукописную летопись о граде Китеже, укрытом от злых татар Божию дланью. Сергей слушал, смотрел, спрашивал, запоминал»².

¹ Забежинский Г. О Сергее Клычкове // Новый журнал. 1959. № 29. С.139-140.

² Журов П.А. Две встречи с молодым Клычковым // Русская литература. 1971. № 2. С. 150-151.

Возможно, тогда задуман не написанный Клычковым роман «Китежский павлин».

Для Клычкова и позже, видимо, будут значимы подобные паломничества. Он помнил о деде, когда-то ушедшем на богомолье, да так и не вернувшемся... Весной 1928 года тому же Журову Клычков говорил: «Мне Афон надо посмотреть, хоть он и Новый, а все же Афон... поплакать в ту землю»¹. Желание, высказанное уже после того, как в «Чертухинском балакире» он рассказал историю о ходивших на гору Афон братьях Спиридоне и Андрее.

Как раз с Афона в 1661 году впервые привезен в Россию список с подлинной иконы Троеручицы. А в первой книге Сергея Клычкова «Песни» (1910) стихотворение «Образ Троеручицы» кажется одним из существеннейших. Оно как бы освящает путь поэта:

*Образ Троеручицы
В горнице небесной
В светлой ризе лучится
Силою чудесной.*

*Три руки у Богородицы
В синий шелк одеты
Три пути от них расходятся
По белому свету...*

*К морю синему – к веселию
Первый путь в начале...
В лес да к темным елям в келию
Путь второй к печали.*

*Третий путь – нехоженный.
Взглянешь, и растает,
Кем куда проложенный,
То никто не знает².*

«Три пути» можно истолковать, например, биографически. Первый путь – в Италию, по которой девятнадцатилетний Клычков путешествовал. Второй – возвращение в родную Дубровку, к трудной жизни родительского дома, глядяще-
1 Клычков С. Собр. соч.: В 2 т. Т.2. М.: Эллис Лак, 2000. С. 640.

2 Все цитаты из произведений С.А. Клычкова, как правило, приводятся по изд.: Клычков С. Собр. соч.: В 2 т. М.: Эллис Лак, 2000.

го окнами на лесные заросли. А третий путь – неизвестное будущее поэта-певца, как он себя называет. Но такое истолкование поверхностно и недостаточно.

В русской поэзии немало стихотворений, посвященных Богородице и Ее иконам, начиная с Симеона Полоцкого («Икона Богородицы»). Но стихотворение Клычкова восходит не к этой книжной традиции, в нем след поэзии калик переходных, духовных песнопений Людей Божьих.

В известном духовном стихе, бытовавшем в старообрядчестве, «Встреча инока со Христом» (в другом варианте «О старце») ³, Христос посылает инока, уронившего в море «ключ церковный», «к синему морю», которое «выплёскало ключ ёму церковной», затем обещает вернуть иноку утерянную «книгу златую», и, наконец, на жалобу, что нападает на него «дьяволе», говорит: «...в лес уйди подальше, / Ты сострой себе килию по елью...»⁴ Отсюда у Клычкова: «В лес да к темным елям в келию...».

Больше того, за взыскующими жалобами инока и ответами Христа на них можно увидеть будущие сюжетные мотивы и поэзии, и прозы Сергея Клычкова.

В «Чертухинском балакире» (третья глава романа) есть упоминание подобного сюжета, возможно, вариации стиха «Встреча инока со Христом». Спиридон идет из Чертухина домой и «духовный стих про себя поет – про пустыню и старца и о том, как попадается этому старцу в пустыне сам Бог». Но и сам Спиридон в романе предстает, как некий взыскующий старец. Правда, вместо Бога неизменно встречает другого, Ему противостоящего.

³ Названия даны собирателями, но известные варианты стиха различны. В «Сборнике русских духовных стихов» (СПб., 1860; С. 183-187) речь идет о старце или монахе, а кроме того нет строк, которые переключаются с клычковскими и где вместо леса речь идет о пустыне или о горах и пещерах; вариант же с «лесом» и «келию по елью» говорит о иноке (записан в Архангельской губернии в 1901 г.; Труды Музыкально-этнографической комиссии. М., 1906. Т. 1. С. 25-27). Возможно, С.А. Клычков знал иную версию этого сюжета, так же как и С.А. Есенин, цитирующий духовный стих «о поющем старце» в «Ключах Марии».

⁴ Народные духовные стихи. М.: Русская книга, 2004. С. 369.

Даже наименование села в романе – Чертухино (хотя этот топоним не выдуман, лес под Дубровицами именовался Чертухинским¹) – указывает на то, что здесь нечисто, хотя и возносится над ним «колокольный купол чертухинской церкви».

А устройство Спиридоном в подзыбнице собственной скитской церкви или молельни, разве не попытка обрести утерянный «ключ церковный»? И обрести «под елию» – «посреди чертухинского леса», где, кажется, перестанут, наконец, одолевая «худыя мысли» и отойдет «дьяволе». Потому Спиридон променял на мельницу дивную книгу «Златяя уста»². Книга утеряна и старцем-иноком в духовном стихе: «Утерал-то я книгу-ту златую». Весь мир «Чертухинского балакиря» – искаженный, омраченный, поддавшийся бесовщине, потому таинственная «глубинная» книга, лежавшая на божнице, похоже, и отдана в сомнительные руки.

Народное религиозное мироощущение духовных стихов поэтом не перенято, как новое откровение, оно ему родное. Скульптор Сергей Коненков вспоминал, как он, Есенин и Клычков вместе певали духовные стихи: «Клычков – в критическом обиходе именовавшийся не иначе как крестьянским поэтом – лучше нас мог пропеть Лазаря. Я взял в руки отложенную было в сторону лиру, и мы втроем довольно стройно спели песню об "Алексии божьем человеке, о премудрой Софии и ее трех дочерях Вере, Надежде, Любви"»³.

В другом, несколько более позднем стихотворении Клычкова о Троиручице

рядом с Богородицей, кажется, совсем неожиданно появляется русалка:

*Вся в тумане, в дремоте околица,
Только с краю светок от окон:
То тайком моя матушка молится
И кладет за поклоном поклон...*

*Смотрит в очи ей лик Троиручицы,
А в углу предрассветная мгла –
«Полно плакать, родимая, мучиться,
Ты бы лучше вздремнула, легла...»*

*Уж светает, уж брезжится по полю,
Уж мелькает русалочья тень...
Вот и кони с ночныны протопали,
И за тын смотрит труженик-день...*

В этой «поэтической» вольности можно находить, в зависимости от угла зрения, и следы древнерусского двоеверия⁴, и романтическую традицию русской поэзии, и, шире, народное мироощущение. Оно особенно явственно в духовных стихах, органично хранивших следы язычества. В них, пусть прихотливо, отразились особенности народной веры, часто неотделимой от суеверия. На ранних ступенях истории, замечал С.Н. Булгаков, народная вера «столь же национальна, как язык»⁵. А «национальные религии представляют собой ступени естественного откровения, касания мира божественного, лучи которого преломляются через призму национальной души и ее своеобразных восприятий»⁶. Поэтому в них следует видеть, «прежде всего, известный религиозный опыт»⁷.

Как же все-таки истолковать появление русалки рядом с иконой Божьей матери? Как прихоть поэта, увлеченного языческим мифом? Или как свойство народного поэтического мироощущения? Исследователь народного искусства и поэт В.М. Василенко, изучая образ русалки-береги-

¹ Топонимы, происходящие от слова «черт», нередки: Чертово городище, Черторой, Чертова каменка и т.п.; и хотя о происхождении топонима Чертухинский лес с уверенностью говорить нельзя, поэт подобное толкование явно подразумевает.

² «Причину существования подобных книг становится неверие народа в Церковь и Православие - так осмысляет проблему Клычков», - прямолинейно и вряд ли верно истолковывает этот образ М.М. Дунаев, обзоревающий историю русской литературы с православно-церковной точки зрения. (Дунаев М.М. Православие и русская литература. Ч.6. Кн.1. М.: Христианская литература, 2004. С. 118.)

³ Коненков С.Т. Воспоминания. Статьи. Письма. Т.1: Мой век. М., Изобразительное искусство, 1984. С. 160.

⁴ О присутствии двоеверия в творчестве Клычкова см.: Михайлов А.И. Пути развития новокрестьянской поэзии. Л.: Наука, 1990. С. 82-89.

⁵ Булгаков С.Н. Размышления о национальности // Христианский социализм. Новосибирск: Наука, 1991. С. 188.

⁶ Там же. С. 189.

⁷ Там же.

ни в резьбе и росписи по дереву, отметил исторический факт: «изображения русалок есть и в некоторых иконах Богоявления XVII века, а также на заставках печатных старинных книг (псалтырь 1624 г.)»¹. Этот факт подтверждает не только художественную органичность, не сочиненность клычковского образа.

В одном из писем Журову (2 ноября 1911) Клычков восклицает: «Милый Боже, люблю и целую твою дочку – сырую землю!» Здесь христианское переосмысление народного представления, у народа земля – мать. «Народ сохраняет дистанцию между миром божественным и земным, но <...> переносит на матерью-землю значительную часть того комплекса религиозных чувств, которые обычно у него связаны с Матерью Божией»².

В стихотворениях Клычкова (тут он очень близок Клюеву) «комплекс христианских чувств» переносится на всю природу, все в ней соотносится с религиозными символами, она представляется живым храмом: «И висит иконой / месяц над полями...», «Вдали леса, и, словно лица, / Горят над ними купола...», «Тихий свет – лесные зори, / Как оклады икон...», «...над лесом, / Где в сокрытии стоят алтари...», «Да помолись златому лику / Неугасающей зари...».

В прозе Клычкова, множеством переключек связанной с его поэзией, изображение природы как храма, храма непременно православного, встречается очень часто.

Уже на первых страницах романа «Сахарный немец» с чувством, как собственное переживание, описано причастие, совершающееся в сосновом бору перед готовящимся наступлением: «Все мы, может, никогда так не молились, как под этими высокими соснами, стоявшими словно большие свечи с зеленым пламенем...» И отец Никодим в серенькой походной ряске с золоченым передником становится похож на сказочную птицу, а причащающиеся солдаты на «серых воронят с широ-

ко раскрытыми ртами». В том же романе «озеро, как яичко пасхальное – круглое, как лампада перед образом – синее, как сердце Божье – глубокое...», а на месяце, «как у святого на иконе <...> светится венчик», да и «купол церковный, и синее-синее под месяцем небо – одно», и «в лесу, как в церкви»...

Все это говорит не столько о «двоеверии» или пантеизме, который легко приписывается многим поэтам, сколько о традиционном поэтическом языке, восходящем к 148 псалму: «Хвалите Господа от Земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющей слово Его, горы и все холмы...»

Литературная стезя Сергея Клычкова во времена исторических ломок оказалась прямой, не петляющей, революционные события не сбили его, не стронули с глубинных мировоззренческих устоев, заставили о них задуматься. Хотя, конечно, и он менялся, сомневался, вглядывался и вслушивался в совершавшееся, отзывался на него. Но основ держался со староверческим упорством. Отсюда целомудрие в отношении к слову, «художественная мера», умение «ожидать часа возмущения воды». И это в его характере.

«В конце-то – что суть творчество? Это послушание, долгое, долгое послушничество, приступление к Вышним, к Сущим вне нашего ока и вне нашей души!»³ – размышлял он в письме Журову 23 октября 1911 года. Сакральное понимание писательства осталось в нем до конца, и через десятилетие стиль он определял в статье «Лысая гора» как «литургическое слияние духовного и плотского в слове, в пропорции, соответствующей данной творческой индивидуальности...». В верности себе Клычков оказался крепче многих сотоварищей по «крестьянской купнице». Послереволюционная критика несгибаемость поэта отметила сразу.

Цитируя Николая Клюева, «уму – революция, сердцу – Китеж-град», В.В. Сиповский, с еще профессорской укоризной замечал: «В то время, когда почти все поэты – рабочие отдают революции и ум и

¹ Василенко В.М. Народное искусство. М.: Советский художник, 1974. С. 50.

² Федотов Г. Стихи духовные: Русская народная вера по духовным стихам. М.: Прогресс; Гнозис, 1991. С. 57.

³ Журов П.А. Две встречи с молодым Клычковым // Русская литература. 1971. № 2. С. 152.

“пламенное сердце”, поэты крестьянской Руси сердца ей не отдают, оттого и революционного пафоса в их песнях нет. <...>

Некоторые поэты крестьянские совсем не отозвались на бурные переживания эпохи. Таков, например, С. Клычков, который и в прежних своих сборниках (1911–12 гг.), и в последнем «Дубравна» (1919 г.) не откликнулся на величайший социальный переворот наших дней: он – певец Лады, Леля, таинственной Дубравны – певец полей, лугов и лесов...»¹.

Тогда же быстро перестроившийся Городецкий корил Ширяевца и Клычкова: «До сих пор их творчество протекает в русле старой подъяремной деревни, и до сих пор революция не дождалась еще от них песен новой деревни...»². И ценивший Клычкова критик В.Л. Львов-Рогачевский (по замечанию Б.М. Эйхенбаума, сбитый с толку марксизмом) уверенно находил, что у поэта «вместе с огоньком поэзии пробивается порой идеология крепкого мужика»³.

Но главные атаки на Сергея Клычкова начались после появления его прозы.

Слова удивленного «Чертухинским балакирем» Горького не раз цитировались. Для него клычковский роман оказался неожиданным преимущественно потому, что появился «в коммунистическом и материалистическом государстве» в 1926 году⁴! Непримируемая атеистическая война с православной церковью шла двадцатые и тридцатые годы, нарастая. Как раз в апреле 1926 года состоялось специальное антирелигиозное совещание при ЦК ВКП (б). Война с религией и с крестьянством шли рука об руку. «Отец кулацкой литературы» Клюев и его «первый ученик» Клычков стали всеобщими мишенями боевой партийной критики. Выходцы из старообрядчества оказались «не из-1 Сиповский В.В. Поэзия народа: Пролетарская и крестьянская лирика наших дней Пг.: Книгоиздательство «Сеятель» Е.В. Высоцкого, 1923.

2 Городецкий С. Деревенские соловьи // Город и деревня. 1923. №2. Цит. по: Городецкий С. Жизнь неукротимая. М.: Современник, 1984. С. 207.

3 Книга для чтения по истории новейшей русской литературы: Рабоче-крестьянское творчество за 30 лет. Л.: Прибой, 1925. С. 136.

4 М. Горький и советские писатели: Неизданная переписка. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 335.

ломившимися» представителями народного религиозного сознания. Потому их, в конце концов, и убили исполнители партийно-державной воли.

Как писал один из самых пламенных борцов с «кулацкой литературой» Осип Бескин, Клычков развивал «в отдельных своих стихах (и в особенности в прозе) мистическую средневековщину, почерпнутую из русского фольклора»⁵. В «клычковской философии» Бескин видит прежде всего религиозную картину мира, в котором «два начала – божеское и бесовское. (Все имеет своего самостоятельного беса – есть бес соборный, бес скотский, блудный, железный и даже очажный маленький бесенок <...>). Двупостасность правит миром...»⁶. (В литературных кругах у критика было прозвище – Мелкий Бескин. И есть некая мистическая ирония в том, что он так старательно классифицирует клычковских бесов.) Как ни странно, с рядом наблюдений Бескина нельзя не согласиться. Критик понимал, с кем воюет, давая лестную характеристику уничтожаемому писателю: «Прекрасный “народный” язык», пользование всем богатством русского фольклора, исключительное владение сказовой формой, умелое (не назойливое) пользование ритмической прозой – все это ставит Клычкова в ряды первоклассных мастеров слова»⁷.

Точны наблюдения и другого разоблачителя крестьянских писателей, которых он именовал «апостолами кулацкого “спаса”», Медынского (сына священника, скрывшего за псевдонимом «поповскую» фамилию Покровский). Клычковский «пессимизм, – писал он, цитируя стихотворения книги “Талисман” (1927), – перерастает в мистицизм, в более или менее открытую религиозность. Ее мы видим во всей красе и древнерусской неприкосновенности у Клюева и у Клычкова»⁸. Нельзя с ним не согласиться, что «приро-

5 Бескин О. Клычков // Литературная энциклопедия. М.: Изд-во Коммунистической академии, 1931. Т.5. Стб. 320.

6 Там же. Стб. 321-322.

7 Там же. Стб. 324.

8 Медынский Г. Религиозные влияния в русской литературе. М.: ОГИЗ; Государственное антирелигиозное изд-во, 1933. С. 206.

да у Клычкова <...> выступает в качестве высшего источника поэтического вдохновения и религиозного умиления»¹.

Добросовестно изучил предмет и воинствующий безбожник Борис Кисин, в большой статье обзорева и «развенчивая» образ Богородицы в русской литературе (в 1922 году он составил сборничек своих ученических стихов с характерным названием «Черный Христос»). Не прошел Кисин и мимо романа «Чертухинский балакирь» «матерого крестьянского мастера», как он величал Клычкова: «С глубоким чувством говорит о Богородице кровно связанный с консервативной частью крестьянства С. Клычков: „Словно уж и крыши нет для него, над головой седьмое небо висит, с неба Христос ножки свесил, улыбается Спиридону, около него стоит в синем платье мать-богородица, держит его за ручку, будто боится, чтобы сынок не упал; кружатся у сыновних ног ласточки стаями, режут вкось и вкривь мимо быстрые стрижи, горят ниже монастырские и скитские кресты”»².

Небывалая государственная война с крестьянством, церковью и верой шла под лозунгом борьбы за «новую деревню» и социализм.

Пришвин приводит в «Дневнике» любопытный разговор с В.П. Полонским, последовательным защитником крестьянских писателей: «Между прочим, он сказал о "новой деревне" и я спросил: "Да есть ли она?" Он стал говорить о европейской деревне, что при свете электрической лампочки исчезает демонология. Вместе с тем получалось у Полонского хуже, чем у Клычкова: у того плач о погибающей русалке, у этого радость о лампочке и тракторе самих по себе. Обычная ссылка на Европу, что вот-де там было и то же будет у нас. Упускается из вида, что – смерть русалки, все равно как и смерть человека, бывает разная: христианская кончина или повешение... В Европе и демоны умирали по-христиански, у нас с ними расправляются по-свойски»³.

¹ Там же. С. 214.

² Кисин Бор. Богородица в русской литературе. [М.]: Атеист, [1929]. С. 26.

³ Пришвин М.М. Дневники: 1928-1929. Кн. 6. М.: Русская книга, 2004. С. 293.

Характерно, что и критики, поддерживавшие крестьянских писателей, и воевавшие с ними, навешивавшие на них всех идеологических собак, представляли конфликт социологически, как столкновение наступающей на деревню цивилизации и косного крестьянского сознания, по-марксистски всюду отыскивая классовую борьбу. Поэтому истолкование романов Клычкова и его зоилами и редкими защитниками чаще всего кажется упрощенным. И упрощенным сознательно: зоилами, чтобы ущучить идеологического врага, защитниками – с благими намерениями.

Обилие бесовщины в клычковской прозе⁴, ее мистериальные мотивы – свидетельство интуитивного ощущения мистической подоплеки совершающегося. Это многое объясняло. Здесь Клычков не одинок. «Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно Его. Нетрудно понять чья это работа», – записал Михаил Булгаков в дневнике 1924 года, отмечая присутствие в тогдашней Москве сил Зла. В конце 20-х и начале 30-х у Даниила Андреева появляются стихи, в которых он говорит о демоническом начале, властвующем на московских улицах:

*Что разум, и воля, и вера,
Когда нас подхватят в ночи
От сломанных крыл Люцифера
Спирали, потоки, смерчи?*

Из тех же богоборческих лет берет начало демонология «Розы Мира». Ее главы о демонических и светлых «стихиялях» могли бы послужить мистическим комментарием к русалкам и лучшим клычковской прозы.

Автор статьи (а затем и брошюры) об Антихристе в «Литературной энциклопедии» Б. Кисин делал вывод, что эволюция образа Антихриста имеет тенденцию «в творчестве представителей особо реакционных групп превратиться в мистиче-

⁴ А.И. Михайлов писал о том, что демонология Клычкова восходит к символистской (Сологуб, Ремизов, Блок, Городецкий), но следует отметить, что у Клычкова, впрочем, как и у его предшественников, она не противоречит христианской картине мира.

ский символ большевизма»¹. Ни Клычков, ни Булгаков не были столь прямолинейными ни в своем творчестве, ни в размышлениях о судьбе России. Но в годы всевластия зла определенный смысл приобретает запись Клычкова: «Ориген был великий мыслитель. Он учил, что Господь Бог в веках простит и спасет ангела зла: сатану»².

В романах Сергея Клычкова действие отнесено в дореволюционное мифологическое прошлое. В «Сахарном немце» оно еще вполне исторично, но в «Чертухинском балакире» и «Князе мира» становится сказочно ирреальным. Судьбы действующих лиц втягиваются в колдовскую логику событий, подготовленных недобрыми силами. Клычков изображает присутствие этих таинственных сил в темных глубинах народной жизни. И в современности революционное насилие над жизнью легко истолковывается народным религиозным сознанием как проявление тех же inferнальных сил, что действовали на Руси исстари.

Прочтя клычковскую прозу уже в эмиграции, не зная о судьбе расстрелянного поэта ничего, его давний приятель писал: «...Годы лихолетья не унесли и не развеяли из духовного бытия Клычкова религиозно мистических настроений. Может быть, наоборот, – прощательно заключал Забежинский, – загнанные в заповедную глущь его духа, прячущаяся от окриков цензоров и политотделов, они продолжали жить еще более интенсивно»³.

Родион Березов (Акульшин), и тоже в эмиграции, вспоминал о встрече с Есениным в 25-м году у Василия Наседкина, где присутствовал и Клычков. После того, как поэты вместе спели: «Есть одна хорошая песня у соловушки. / Песня панихидная по моей головушке», – рассказывает Березов, – «Есенин не выдержал: уронив голову на колени Клычкова, зарыдал. Нежно глядя его по спине, Клычков сказал:

¹ Кисин Б. Антихрист // Литературная энциклопедия. М.: Изд-во Коммунистической академии, 1930. Т.1. Стб. 181.

² Сергей Клычков: переписка, сочинения, материалы к биографии // Новый мир. 1989. № 9. С. 204.

Русская литература. 1971. № 2. С. 152.

³ Забежинский Г. Указ. соч. С. 141.

– Молиться надо, Сереженька, молиться; ты совсем стал Безбожником»⁴.

В «Чертухинском балакире» есть размышление о вере, вполне авторское и высказанное не без пафоса:

«Как перекрестишься и как возгласишь – не все ли это равно... Вот теперь как пошло: совсем лба не крестят... И тоже, пожалуй, что и это не в счет, потому в делах веры важит больше не то, что в рот, а... что изо рта... <...>

Вера в человеке – весь мир!..

Убить ее никогда ничем не убьешь!.. Разве вот сама она сгаснет, как гаснет лампада, в которую набьются с ветра глупые мухи, летя из темноты на лампадный огонь... как сгаснет, может и... мир!..»

И в заметках Клычкова, в «Неспешных мыслях» мы встречаем записи, говорящие о том, что думы о вере не оставляли поэта. Он задает себе не новые вопросы: «Неужели действительно нет этого волшебного слова, по которому, замороженный, засыпает мир? Неужели и вправду нет Бога? Тогда обращается все в страшную бессмыслицу!»⁵.

Его стихотворения (конечно, при жизни не опубликованные) конца двадцатых и тридцатых свидетельствуют о неотступных и трудных раздумьях о Боге и православной вере⁶ в атмосфере громогласного богоотступничества и богоборчества. Эти раздумья сосредоточены на внутреннем разладе человека с самим собой, на богооставленности:

*Наш путь – железная дорога,
И нет ни троп уж, ни дорог,
Где человек бы встретил Бога
И человека – Бог!*

Такая удрученность «железной дорогой», не оставляющей места для Бога, отнюдь не отрицание технической цивилизации «косным» крестьянским сознанием. Об этом думал Достоевский.

⁴ Березов Р. Лекция об Есенине // Красота. Нью-Йорк. 1963. С. 366.

⁵ Сергей Клычков: переписка, сочинения, материалы к биографии // Новый мир. 1989. №9. С. 203.

⁶ См. об этом: Солнцева Н. Сорочье царство Сергея Клычкова // Клычков С. Собр. соч.: В 2 т. Т.1. М.: Эллис Лак, 2000. С. 52-55.

Вспоминается логика «русского дженгельмена», черта в «Братьях Карамазовых», который заявляет, что вначале «человечество отречется поголовно от Бога», а затем, «побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных»¹. Или в «Бесах» ироническое: «...русский Бог, по последним сведениям, весьма неблагонадежен <...> А тут железные дороги...»².

Несмотря на редкую цельность поэтического мира и характера, Клычков ощущает разлад в себе и в жизни с самого начала литературного пути. Причины разлада, истоки вовсе не в подготавливавшейся и быстро восторжествовавшей революционной действительности. Здесь скорее «тютчевский» разлад бунтующей души, не желающей поступиться свободой, и в своем бунте не видящей (постароверчески) подлинной свободы в Боге: «Ес[ли бы] Господь Бог привел меня в свой пресветлый рай, я бы сказал: „Господи, оставь за мной право, когда мне подскажет мое сердце, не соглашаться с тобой. Оставь мне свободу мою или отпусти меня на муку. Я не создан Тобою для славословий, ты знаешь, Господи”»³. Эта запись поэта не может не напомнить монологических построений Ивана Карамазова, в разговоре с братом Алешей

отстаивающего право не соглашаться с Господом.

В стихах из цикла «Заклятие смерти» Клычков говорит о чувстве богооставленности – «Он в темноте оставил нас!», о некоей общей вине, о последней надежде на живую, не погубившую себя человеческую душу. И говорит не о вселенской вине, а о собственном деде, давным-давно не вернувшемся домой с богомолья. Это дед, уходя, перед иконой Спаса «Все лампы потушил», и:

*С той поры отец пьет водку,
И в избе табачный чад,
И неверная походка
Появилась у внучат...*

*Да и сам я часто спяна
Тычу в угол кулаки...*

Свято место пусто не бывает, –

*И вот теперь в привычном месте
Висит не Спасов образок,
А серп воздания и мести...*

Поэт действительно заглянул «в мрак и тьму», где «ворочается время, / Как в глухой берлоге зверь!» В этом зверином времени он чувствует свою обреченность.

Вышедший из старообрядчества, Сергей Клычков прошел широко петлявшими путями своего времени от «мистики символизма» до отчаяний неверия, но его поэтический мир остался неотрывен от апокрифов и песен «калик перехожих», от народной веры в Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу, от памяти мужицких предков, несших долгую думу о Боге.

1 Достоевский Ф.М. Полное собр. соч. В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 15. С. 83.

2 Достоевский Ф.М. Указ. соч. Л.: Наука, 1974. Т. 10. С. 287.

3 Сергей Клычков: переписка, сочинения, материалы к биографии. С. 204.

Юрий АРХИПОВ

Юрий Иванович Архипов родился в 1943 году в Малой Вишере. Окончил филологический факультет МГУ. С 1969 до 2003 – научный сотрудник Института мировой литературы АН СССР. Защитил кандидатскую диссертацию по австрийской литературе. Автор полутора тысяч статей, предисловий, рецензий, около ста переводов с немецкого (от Тика, Гофмана, Бюхнера, Ницше до Кафки, Р. Вальзера, Рота, Бёлля, Грасса) и на немецкий (в частности – Константина Леонтьева, изд. в Вене). Лауреат премии им. А. Дельвига. Член СП России.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

Мастерская

«Вернуться в Россию стихами» было мечтой «первого поэта эмиграции». Так его величала не одна только Зинаида Гиппиус. Впрочем, до 1939 года это первенство более чем весомо оспаривали своим творчеством Цветаева и Ходасевич. Но в том роковом году русский поэтический Парнас внезапно опустел: Ходасевич скончался, а Цветаева вернулась в СССР, где ее поджидали горькая никому-не-нужность и петля на крюку елабугинской избы. Последние двадцать лет своей жизни Георгий Иванов царил в одиночестве – чтобы, умирая, передать лавровый венец вождя поэтической эмиграции Игорю Чиннову.

Ныне он вернулся в Россию не только стихами в самых разных, отчасти роскошных изданиях, но и прозой, вошедшей в нарядный трехтомник, а теперь вот и биографией в престижной серии ЖЗЛ. Написал ее Вадим Крейд, теперешний главный редактор нью-йоркского «Нового журнала», в котором более всего печатался Иванов в последнее десятилетие своей жизни.

Книга сделана без особых претензий и ожидаемых (раз уж Иванов!) изысков, но вполне добротна, со всею мыслимой справочной полнотой. Однако вот случай, когда и не знаешь, надо ли ее рекомендовать поклонникам поэта.

Дело в том, что как всякая биография, эта книга более о человеке, чем о поэте Иванове. А человек он был, что называется, со всячинкой. Колючий, вздорный, надменный. А в юные, до эмиграции,

годы еще и вульгарно эстетствующий. Ладно там трости, хризантемы в петлице да бабочки, но он не брезговал и макияжем, подкрашивал губы – о чем, к примеру, Ахматова вспоминала с омерзением. Так что ледяной холодок отчуждения сопровождал его всегда. И в эмиграции его, в основном, не любили, многие избегали, а другие многие и вовсе сеяли о нем самые неприглядные слухи. (Но не такова ли судьба и «егозы» Пушкина, и «бретёра» Лермонтова?) Помимо обожаемой спутницы жизни поэтессы Ирины Одоевцевой (чуть было не ушедшей от него, однако, после тридцати лет супружества к поклоннику-богачу, что и обрекло его на предсмертный инсульт), надежным другом и заступником ему была еще все та же Гиппиус: «Вы пишете прекрасные стихи и верите, что Иисус Христос воскрес, а что еще нужно?»

Ходасевич его ненавидел, вел с ним ожесточеннейшую литературную войну. В связи с этим как не подумать: какая отрада все-таки быть просто читателем и, ничего не ведая о тусовках и распрах, поребачьи доверчиво любить и того и другого!

Справедливости ради нужно сказать, что при жизни Ходасевич настоящего Иванова не знал, не мог еще знать. Потому что настоящий Иванов, Иванов-классик начался только в 1943 году, когда он вернулся к стихам после пятилетнего перерыва военного лихолетья. Всё свое лучшее он написал в последние пятнадцать лет жизни, и все это вошло в последние

его сборники – «Портрет без сходства» (1950) и «Стихи 1943-1958». Заключает этот сборник целый цикл-шедевр «Посмертный дневник».

Кажется, нет более подходящего поэта в качестве образца для любого введения в поэтологию. Если уж препарировать стихи, то лучше всего пустить на это дело шедевры Георгия Иванова. Вот где последняя спелость русской поэтической речи, истончившейся до невесомости, до соскальзывания в музыку. Вот где явно видно, что поэзия – это, прежде всего, волшебное соединение слова и музыки. Это область непрямого высказывания, где интонация нередко опровергает логику. «Никто нам не поможет – и не надо помогать». Что это, как не зов о помощи? Только прямолинейные умы эмиграции могли не заметить отчаянной мольбы в так шокировавших всех строках Иванова:

*Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.*

А ведь все это было написано в разгар моды на экзистенциализм с его «заброшенностью» и «мифом о Сизифе», и уж хотя бы Сартр, доступный, как газета, мог бы критикам что-то пояснить об истинном, непрямом смысле такого художественного высказывания. Не говоря уже о контексте поэзии самого Иванова. Не ему ли принадлежали пронзительнейшие ностальгические стихи о любви к почившей России Царя – самые памятные из всех, когда-либо об этом написанных:

*Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица
И как это было давно.*

*Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны –
Наследник, императрица
Четыре великих княжны...*

Отрицание отрицания как заклинание как раз того, что якобы отрицаешь – этот

прием или поэтический ход стал метой позднего Иванова – когда тоска по Родине превратилась в одну сплошную ноющую боль:

*Мне больше не страшно. Мне томно.
Я медленно в пропасть лечу
И вашей России не помню
И помнить ее не хочу.*

*И не отзываются дрожью
Банальной и сладкой тоски
Поля с колосющейся рожью,
Березки. Дымки. Огоньки...*

Перекличка с любимым Лермонтовым здесь очевидна. Лермонтову посвящено и одно из самых прославленных и самых загадочных стихотворений Иванова:

*Мелодия становится цветком,
Он распускается и осыпается,
Он делается ветром и песком,
Ветвями ивы в воду опускается...*

*Проходит тысяча мгновенных лет,
И перевоплощается мелодия
В тяжелый взгляд, в сиянье эполет,
В рейтузы, в ментик,
в «ваше благородие»,
В корнета гвардии –
о, почему бы нет?..*

*Туман... Тамань...
Пустыня внемлет Богу.
– Как далеко до завтрашнего дня!..*

*И Лермонтов один выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня.*

Этот своего рода мистический круговорот природы, в котором мелодия становится цветком, ветром, песком, чтобы потом из сгустка вещных энергий обернуться великим поэтом, слагателем новых мелодий, словно заворачивает Иванова, становясь его постоянной темой (его постоянной мелодией). Это не может не напомнить лирика-философа Заболоцкого, послевоенная поэзия которого складывалась параллельно лирике Иванова (они и умерли в один год). Раз-

ница, пожалуй, в том, что Заболоцкого больше влечет природа, космос, стихии, а более привычный домен Иванова – культура. Его мысль слагает свои мелодии в постоянной перекличке с предшественниками, имена коих то и дело мелькают в его стихах. «А мы Леонтьева и Тютчева сумбурные ученики...» К имени Тютчева с его «зарницами» и «проблесками» потустороннего он, мистик, взывает постоянно. (Вот только тютчевская яркая Ницца становится у него, по чужбинным обстоятельствам, «постылой».) Но то и дело всплывает в его стихах вереница и других дорогих имен, представляющих как родные опоры в горьком и хладном омуте чужбины: Пушкин, Баратынский, Гоголь, Блок, Ахматова, Анненский, Гумилёв... И не отличишь всякий раз, о ком пишет Иванов – о них или о себе: «Там грустил Тургенев... И ему казалась \ Жизнь стихотвореньем, музыкой, пастелью...» Особенно тонко виртуозным становится воспоминание о культурной общности, пережитой въеве и унесенной потоком времени в безнадежное никауда:

*В пышном доме графа Зубова
О блаженстве, о Италии
Тенор пел. С румяных губ его
Звуки, тая, улетали и*

*За окном, шумя полозьями,
Пешеходами, трамваями,
Гаснул, как в туманном озере,
Петербург незабываемый.*

*...Абазур зажегся матово
В голубой, овальной комнате.
Нежно глядя пса лохматого,
Предсказала мне Ахматова:
«Этот вечер вы запомните».*

Звукопись Иванова, плещущая полутонами («Полутона малины и рябины...»), изумительна. И ведь она не пустая игра ассонансов и консонансов, как, например, у Бальмонта. У Иванова тончайшим

образом инструментованная звукопись – мостик между мирами, видимым и невидимым. Равновесие между ними, гармония зеркальных отражений – пусть нечетких и зыбких, но в случае удачи уловимых поэтическим словом: «на границе снега и таянья», «на грани музыки и сна».

*Друг друга отражают зеркала.
Взаимно искажая отраженья...*

Или:

*День превратился в свое отраженье,
В изнеможенье, головокруженье...*

Поэт одержим стремленьем остановить легко улетающее мгновение, увековечить его, не дать пропасть навсегда. Ведь бытие так хрупко, «жизни изумительной улыбка» так ненадежна: всего миг – и нет ее. Но ведь где-то она осталась? Хотя бы тенью, отраженьем, мановеньем бабочкиного крыла? Георгий Иванов весь – в поисках этого утраченного времени; в чем-то существенном – он словно бы Пруст, переложенный на самые совершенные стихи.

*Все неизменно, и все изменилось
В утреннем холоде странной свободы.
Долгие годы мне многое снилось,
Вот я проснулся – и где эти годы!*

*Вот я иду по осеннему полю
Все, как всегда, и другое, чем прежде:
Точно меня отпустили на волю
И отказали в последней надежде.*

Отказали в надежде обрести прошедшее, утраченный рай. Но в надежде на бессмертие своих созданий истинному поэту отказать невозможно. Георгий Иванов это знал: «Как поэт я не умру...» И: «Остаются только звезды и стихи...» А все остальное, «жизни мышья беготня», как он сам заметил, «не так уж и важно».

Владимир ЦВЕТКОВ

*Владимир Георгиевич Цветков родился в 1946 году в г. Горьком.
Профессия – юрист-правовед. Публицист, историк, прозаик. Автор
многих книг, изданных в России.
Член СП России. Живёт в Нижнем Новгороде.*

ИЗБРАННИЧЕСТВО МИНИНА

Четыреста лет назад, 5 августа 1611 года, святой Патриарх Гермоген из заточения в подвале Чудова монастыря Москвы отправил через верных людей своё последнее прижизненное послание. Предназначалось оно для Нижнего Новгорода и существенно отличалось от всех прежних. На этот раз послание Предстоятеля-мученика Русской Православной Церкви было очень конкретно. Святейший призвал нижегородцев подняться на освобождение русской столицы и России от иноземных захватчиков и благословил взять для этого великого дела из Казани святую чудотворную Казанскую икону Божией Матери, которую сам же и обрел там 8/21 июля 1579 года в бытность простым приходским священником. Кроме того, он особо предостерегал нижегородцев об опасности, исходившей от казаков, которые незадолго до этого по подложному письму изрубили на своём кругу главу Первого Народного Ополчения – Прокопия Ляпунова.

Следует заметить, что пытаться разобраться в давних событиях Смутного времени в России начала XVII века со светских позиций официальной истории есть дело совершенно пустое и бессмысленное. Такой подход только осложнит и запутает понимание того драматического периода в жизни родного Отечества, ибо ключ к разгадке его лежит в духовной сфере, где действует независимый от людей всеведущий Промысл Божий. Не случайно Лаврский игумен Андроник писал по случаю 600-летия со дня преставления святого Печальника и Игумена Земли Русской, Преподобного Сергия Радонежского:

«И когда уже, казалось, не будет надежды на спасение Родины, в то время

в Нижнем Новгороде жил благочестивый человек Косма Минин. Он был простым торговцем мясом и не помышлял о том, чтобы возглавить борьбу за освобождение России, так как по общественному положению он находился внизу иерархической лестницы. Но вот однажды, осенью 1611 года, во время сна ему яляется Преподобный Сергий и говорит: "Собирай казну, собирай людей и веди их на освобождение Москвы!" Косма, конечно, не поверил этому явлению. Потом это случилось второй раз, третий. И в третий раз Преподобный Сергий ему сказал: "Для того, чтобы ты удостоверился в истинности, ты заболеешь". И он добавил: "Старые уже не пойдут на освобождение России, только от юных это может начаться". В удостоверение истинности явления Преподобный Сергий поразил Косму болезнью. Тогда Косма во всём последовал тому, что ему сказал Преподобный».

Этот непреложный факт прямо или косвенно, серьёзно или скептически упоминают практически все авторы исторических и художественных произведений, затрагивающих Смутное время. Например, известные нижегородские писатели В. И. Костылев и В. А. Шамшурин. Для первого, в частности, воспитанного в атеистическом духе, явление Преподобного Сергия представляется умышленно придуманным настоятелями Спасо-Преображенского собора Нижегородского Кремля – протопопом Саввой Евфимьевым, и Свято-Вознесенского мужского монастыря – архимандритом Феодосием по уговору с Кузьмой Мининым для более эффективного сбора денег на Ополчение.

Не в пример Валентину Ивановичу куда основательнее подошёл к этому вопросу писатель-историк из Москвы, авторитет-

нейший биограф князя Дмитрия Михайловича Пожарского, автор исторического романа-хроники «Дмитрий Пожарский» Д. В. Евдокимов. Почти за полвека работы над эпохой Смутного времени он изучил русские летописи и народные сказания, разрядные книги и другие архивные источники, а также множество воспоминаний польских, итальянских, французских, английских, немецких, голландских и шведских современников тех далёких событий. Это позволило Дмитрию Валентиновичу строго документировать свой объёмный труд, сделать его убедительно-доказательным. Он приводит очень важное свидетельство, что чудесное видение Минину было не когда-нибудь, а в следующую же ночь после оглашения послания Патриарха Гермогена в Нижнем Новгороде:

«В те дни он не в доме, а в саду ночевал, в повалуше. Так вот, лежит он в темноте, вдруг сверху яркий свет и голос: "Повелеваю тебе, Козьма, казну собирать, ратных людей наделять и с ними идти на очищение Москвы от врагов". И понял Козьма, что слышит он голос святого Сергия! Однако когда проснулся поутру, сомнение его взяло – точно ли видение было? Да и видано ли, чтобы ему, чёрному мужику, такое дело было доверено? Никому ничего он не сказал, а ночью снова голос слышит: "Разбуди всех уснувших и иди на Москву". И опять Козьма не поверил. А на третью ночь – тот же голос, но уже грозно рёк: "Вставай и иди! На то есть Божие изволение помиловать православных христиан и от великого смятения привести в тишину!" Пришёл Козьма в трепет от этого нового видения и даже заболел тяжело, лежал долго, не шевелясь. Однако превозмог свою болезнь и сомнения и, решившись исполнить повеление свыше, стал думать, как начать это великое дело. Как раз в этот же день избрали его земским старостой. И понял Козьма, что это случилось по Божью указанию, и тогда обратился Минин ко всем людям посадским, рассказал им о своих видениях и рёк ещё: "Московское государство разорено, люди посечены и пленены, невозможно рассказать о таких бедах. Бог

хранил наш город от напастей, но враги замышляют и его предать разорению, мы же нимало об этом не беспокоимся и не исполняем свой долг!"»

Почему же Божиим Промыслом на великий подвиг спасения России был избран именно нижегородец Кузьма Минин, казалось бы, самый простой на первый взгляд человек низкого происхождения? Конечно, каждому хорошо известно, что пути Господни неисповедимы. Тем более, что Бог зрит сердце человека, что недоступно людям. И как очень точно выразился М. Ю. Лермонтов в стихотворении «Смерть поэта»: «И мысли и дела Он знает наперёд».

И всё же, если обратиться к образу великого земляка, то многое становится понятным.

Семейство Мининых отличалось выраженным благочестием, в основе которого лежало твёрдое исповедание Православия. Его не могли поколебать никакие соблазны быстротекущего времени и отступления от святоотеческой веры. Не случайно отец Кузьмы Минина стал монахом Мисаилом Свято-Вознесенского Печёрского мужского монастыря, в поминальном синодике которого, кроме него самого, были также записаны Кузьма и его сын Мефодий, или Нефёдий. То есть знаменитый сын и внук насельника обители. И совершенно неправильным представляется досужее предположение одного из биографов Кузьмы Минина, И. И. Голова, писавшего: «В Нижнем отцу Кузьмы, видимо, не повезло, он ушёл в монастырь и там постригся под именем Мисаила».

В монастырь уходили, как правило, забываясь о спасении души, что и сделал родитель великого нижегородского патриота. Только это и двигало его искреннее желание постричься в монахи, чтобы посвятить остаток жизни уединённой молитве и монастырским послушаниям под руководством опытного духовника и в окружении иноческой братии.

Точно так же поступила под старость лет и вдова Кузьмы Минина, Татьяна Семёновна, приняв монашеский постриг, а затем и великую схиму с именем Таи-

сии, предположительно в Воскресенском женском монастыре Нижегородского Кремля. Интересно, что духовником её был «чёрный поп Мисаил». Можно думать, что это был не кто иной, как свёкор, ставший к тому времени опытным в духовном делании иеромонахом, то есть тем самым «чёрным попом», которого упомянула в своём исследовании Н. И. Привалова, ещё один биограф Минина.

Имя схимонахини Таисии, по свидетельству А. Я. Садовского, рядом с Мефодием, находилось в синодике Архангельского собора Нижегородского Кремля. Аналогично П. И. Мельников-Печерский нашёл имена Кузьмы Минина и его сына Нефёда, или всё того же Мефодия, в поминальном синодике Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Твёрдое исповедание святоотеческой православной веры у «торгового человека из простых людей» Кузьмы Минина, который к тому же был «смышлён и язычен», прекрасно сочеталось с его привлекательной внешностью. Кузьма был высок ростом, широк в плечах и обладал недюжинной силой, способной укротить даже быка. Красивые карие глаза его смотрели на мир прямо и открыто, излучая доброту к людям. Естественно, что всё это как нельзя лучше привлекало к нему народ.

Семья Кузьмы до 1612 года жила в небольшой Благовещенской монастырской слободке, чуть более двадцати домишек которой примыкали к древней обители с южной стороны. Её местоположение уточнялось как «на горе, на всполье», что некоторых исследователей потянуло на Гребешок. В действительности же дом Минина находился, можно сказать, в полугоре, у святого храма Рождества святого Пророка и Предтечи Иоанна, Крестителя Господня, сохранившаяся колокольня которого и по сей день заметно выделяется слева от разорённого ныне Мельзавода-2. Теперь это улица Гаршина. Не так давно верх колокольни вновь увенчался небольшой маковкой с восьмиконечным православным крестом. Сам храм решено восстановить. Были планы воссоздать рядом с ним и дом великого патриота.

Кстати, что дом его был именно там, писал и Благовещенский архимандрит-историк Макарий (Миролюбов), многое сделавший своими замечательными трудами для сохранения нижегородской истории. «Со всею вероятностью можно полагать, – писал он, – что эта Предтеченская церковь была приходской Козьмы Минина Сухорукова, когда он был ещё незнатным торговцем и жил в своём родовом доме». Он же категорически отверг неведомо откуда возникшую версию, что Кузьма Минин жил наверху, у Похвалинской церкви, где и был погребён. Церковный историк назвал это не более чем сплетней, не имеющей под собой никаких оснований.

К несчастью, с родословной великого русского патриота произошла большая путаница, которую, не подозревая об этом, повторяет и архимандрит Макарий (Миролюбов). Ею занимались многие исследователи, в том числе нижегородцы П.И. Мельников-Печерский, А.Я. Садовский, И.А. Кирьянов, И.И. Голов, Н.И. Привалова, В.А. Шамшурин и другие. Не всегда это было удачно. Например, в 1842 году, будучи чиновником Министерства Внутренних Дел Императорской России, установлением потомков Кузьмы Минина по поручению властей занимался наш замечательный писатель и краевед П.И. Мельников-Печерским и привёл всех в тупик, потому что по ошибке напал на след однофамильца «спасителя Отечества» – Кузьмы Захарьевича Сухорука, а не его самого. Отсюда Павел Иванович пришёл к ложному выводу, что прямых потомков Кузьмы Минина нет, ибо его единственный сын Нефедий, или Мефодий, вскоре после неожиданной кончины отца тоже умер бездетным, а оставшееся имущество, как вымороченное, было передано в казну.

Уже в наши дни известный нижегородский краевед И. А. Кирьянов на основании новых архивных источников установил, что настоящий Кузьма Минин происходил из рода балахнинца Мины Анкудинова.

А его коллега И.И. Голов открыл, что у патриота, кроме старшего сына Мефо-

дия, был ещё и Леонтий, видимо, много младше первого. Потомки его хорошо известны в Туле, где сохранился и герб Мининых. Он представляет собою щит, разделённый надвое. В верхней половине перекрещенные оливковая и лавровая ветви, в нижней – шпага, вонзённая в серебряный полумесяц. Щит увенчан дворянским шлёмом и короной. В описании герба сообщается, что основатель рода Мининых – Козьма Минин – оказал «достохвальный пример усердия к Отечеству, отдав всё своё имение на жалование ратников, преклонил сограждан предпринять спасительные меры и, жертвуя собою, сделался причиной избавления государства от гибели». Но вернёмся к началу рассказа.

Безусловно, церковь святого Пророка и Предтечи Иоанна, Крестителя Господня, при Минине была совсем другая, сравнительно с той, последней, каменной, о которой свидетельствует своим видом сохранившаяся до наших дней высокая колокольня. В Сотной грамоте за 1621 год она описывается так: «В старом остроге, выше Благовещенского монастыря у Оки реки у Острогу церковь Рождество Ивана Предтечи древяна и ветха с трапезою...»

Нетрудно предположить, что постоянный, по сути, ежедневный путь Минина пролегал через Благовещенскую площадь, далее по улице Рождественской к Скобе, Балчугу и Кремлю, где бурлила торговая жизнь города, тесно связанная со своими большими реками Окой и Волгой, которыми многое тогда доставлялось по воде.

Несомненно, значительное место при этом в жизни Кузьмы Минина занимал храм святых бессребреников Космы и Дамиана, располагавшийся на пути к Скобе и Балчугу, на Софроновской площади, на месте нынешнего здания «Нижновэнерго». Наверняка он постоянно заходил в него и уж точно был неременным участником престольных праздников храма, проводившихся дважды в год – 17/30 октября и 1/14 ноября.

Всё это потому, что первый из святых братьев врачей-бессребреников, древнехристианский подвижник веры III века

Косма был Небесным Покровителем Кузьмы Минина, получившего в святом Крещении вскоре после рождения, то есть во младенчестве, это имя по Святам. В обыденной жизни он определяется как «день Ангела», или «именины». Благочестивые миряне, к которым, как сказано выше, относился Кузьма Минин, в этот день, как правило, обязательно исповедовались в храме, а затем приобщались Святых Христовых Таин.

Это важное обстоятельство побудило в своё время Высокопреосвященного Иакова (Вечеркова), Архиепископа Нижегородского и Арзамасского, правящего архиепископа епархии, устроить в подвале кафедрального Спасо-Преображенского собора в Нижегородском Кремле, где до 1849 года стояли только гробницы, трёхпрестольную церковь. Один её святой Престол, посвящённый бессребреникам Косме и Дамиану появился как раз потому, что «первый был ангел Козьмы Минина».

Два других Престола нижней церкви собора – святого Великомученика Димитрия Солунского и Казанской иконы Божией Матери – также были связаны с событиями 1612 года, потому что имя первого «носил князь Димитрий Михайлович Пожарский», а вторая – «послужила орудием чудесного избавления Москвы» и России от иноземных захватчиков.

Кстати, здесь хочется сказать об именах. Они в быту, в повседневном обиходе, существенно отличаются от Святцев, которые на протяжении веков сохраняют их в неизменном исходном виде. Народное же сознание и язык переделали святочные имена на свой лад для удобства пользования в быту. В результате имена из Святцев трансформировались, приобрели несколько другое звучание и произношение. Так, например, Иоанн стал Иваном, Пелагия – Пеллагейей, Полиной, Полей; Иосиф – Осипом, Георгий – Егором, Матрона – Матрёной... Отсюда мало кто узнает в просторечивом «Осяне» – Осипа, тем более, Иосифа.

То же самое произошло и с Космой, которого народный язык превратил за века в Кузьму. Пытаться унифицировать

это имя в какое-то единственное, на чём, например, настаивал И. И. Голов, утверждая, что Минин не называл себя Козьмой, – невозможно. Это удалось, пожалуй, одним только армянам, которые русское имя Александр с множеством производных сузили до уродливо усечённого «Сашик». Современных же вариаций Космы в русском языке найдётся немало. Достаточно вспомнить одну лишь знаменитую «Кузькину мать».

Само собой разумеется, что подвиг Минина, как и народный подвиг 1612 года в целом, протекал в теснейшем, точнее, неразрывном единении с Православной Церковью, что мы особенно отчётливо видим у известного историка Русской Православной Церкви Н. Д. Тальберга:

«Митрополит Ефрем Казанский благословлял патриотическое делание кн. Дмитрия Пожарского и Косьмы Минина, создавших второе народное ополчение в Нижнем-Новгороде, обосновавшееся потом в Ярославле. Ближайшим помощником Минина в его почине был нижегородский протопоп Савва. Дело это горячо поддерживал и архимандрит тамошнего Печерского мон. Феодосий. Митрополит Кирилл Ростовский был духовным руководителем и миротворцем ополчения».

Нижегородская епархия была учреждена лишь в 1672 году. До этого вся Нижегородчина с храмами, духовенством и мирянами относилась к Московской митрополии. Местное управление возлагалось на настоятеля кремлёвского Спасо-Преображенского собора, кем был тогда протопоп (по-современному – протоиерей) Савва Евфимьев. Независимым от него являлся только настоятель Свято-Вознесенского Печёрского мужского монастыря архимандрит Феодосий. Они-то первыми и узнали от Минина о явлении Преподобного Сергия и его повелении. Оба этих священнослужителя ревностно взялись за всенародное оглашение чуда и выполнение Божией воли.

«Протопоп Савва и архимандрит Печёрского монастыря Феодосий, – иронизировал романист В. И. Костылев, – по уговору с Мининым, после каждой службы в хра-

ме твердили богомольцам о гибели, грозящей Москве...»

На самом же деле шла ежедневная, горячая проповедь. Эти трое нижегородцев, не жалея ни времени, ни сил везде и всюду призывали народ на освобождение русской столицы. С помощью Божией их горячее слово обрело силу, и со всех сторон в Нижний Новгород потянулись добровольцы, желавшие встать в ряды нового Ополчения. Каждый шаг по его созданию получал благословение о. Саввы и архимандрита Феодосия, привлекая на ополченцев Благодать Божию.

Эта же дружная троица единым духом решила призвать в качестве военного руководителя нового Народного Ополчения князя Дмитрия Михайловича Пожарского и снарядила к нему специальное посольство, в котором приняла личное участие.

Но чудесное явление Кузьме Минину Преподобного Сергия было не единственным, чрезвычайным и сверхъестественным событием, оказавшим мощное мобилизующее воздействие на народные массы. Тогда же и тоже в Нижнем Новгороде другой благочестивый мирянин по имени Григорий сподобился страшного видения в полночи. Он увидел, как исчезла крыша его дома, и ослепительной яркости «свет вечный облистал комнату, куда явились два мужа с проповедью о покаянии, очищении всего государства нашего!» Случай этот, а его упоминает и известный историк Н.И. Костомаров, моментально облетел всю Россию. «...После этого во всех городах всем православным народом приговорили поститься, от пищи и питья воздержаться три дня даже и с грудными младенцами». Этот строгий пост не был обычным, то есть не исходил от священноначалия и уставов Православной Церкви, а стихийно принят народом «по приговору». Всё это в единении с явлением Минину, конечно же, как нельзя лучше благоприятствовало общему делу пробуждения и подъёма народных масс на освобождение Родины от иноземных захватчиков.

К горькому сожалению, за столь неприязнительными и обидными словами «говядарь» или «мясник», а также «старо-

ста», как-то по странности замалчивается настоящий облик Минина искусного и неустрашимого воина с полководческими задатками, явно проявившимися в критической ситуации у Крымского брода Москвы, где гетман Хоткевич чуть было не прорвался к осаждённым в Кремле полякам. Кузьма вовремя увидел эту опасность и с малыми силами опрокинул врага, обратив его в бегство. После этой неудачи гетман Хоткевич потерял всякую надежду на успех и, отступив с войсками, принял решение покинуть пределы России. Но и до главных московских сражений на улицах столицы во главе Нижегородского Народного Ополчения Минин всё время воевал всё в той же Москве. Менялись нижегородские воеводы Репнин и Алябьев, а Минин неизменно пребывал среди воинов под их рукой. Да и дома-то было неспокойно и не раз приходилось с отрядом наводить порядок в окрестностях Нижнего Новгорода, где, соблазнившись посулами «Тушинского вора», втягивались в Смуту легковёрные поселяне.

За свой великий подвиг, «что он с боярами и воеводами и ратными людьми пришёл под Москву, Московское государство очистил», Кузьма Минин получил звание думного дворянина с денежным окладом в 200 рублей, был введён в состав боярской Думы, награждён поместьем и вотчиной в Нижегородском уезде (сёла Богородское, Ворсма, Пумра и другие) и домом с садом в Нижегородском Кремле.

С этого времени семья патриота навсегда покинула Благовещенскую слободу, поселившись в кремлёвском доме.

«Основываясь на показаниях сотной грамоты Нижнего Новгорода, составленной в 1621 году, – пишет архимандрит Макарий (Миролюбов), – надлежит принять за верное то, что Козьма Минин жил в последние годы до самой смерти (1616 г.) близ кафедрального собора, в пожалованном ему царём Михаилом Фёдоровичем доме и погребён был в самом соборе».

Скоропостижная смерть при невыясненных обстоятельствах на обратном

пути из Казани сравнительно молодого и могучего Кузьмы Минина очень походит на насильственную и вызвала большие сомнения у известного нижегородского историка, профессора В. П. Макарихина.

Гробница патриота была устроена Преподобным Павлом II (Пономарёвым), Епископом Нижегородским и Алатырским в 1797 году. Деньги на неё в сумме 200 рублей поступили от московского купечества. Одновременно на гробницу установили памятную дощечку с надписью:

*«Избавитель Москвы, отечества любитель
и издыхающей России оживитель,
Отчизны красота, Поляков страх и месть,
России похвала и вечна слава, честь:
Се Минович Козма здесь телом почивает,
Всяк, истинный кто Росс, да прах его лобзает».*

Кроме этой дощечки с приведённой на ней надписью, гробница имела ещё три чугунные плиты со своими надписями, отображающими наиболее памятные события в жизни родной Отчизны. Особенно примечательная надпись была на третьей плите, посвящённой нижегородскому патриоту:

«Бог Иаковль.

*Бывшее в 1612 году, по освобождении
Москвы содействием приснопамятного
сына отечества Козмы Минина, чрез
собранныя полчища в странах Нижнего
сега Новаграда и руководимыя к сокращению
врага пламенноносным Пожарским,
уже известно Россиянину всякому. И сие
последнее избавление России от нашествия
Галлов в 1812 году совершилось, по
занятии уже врагами древняя столицы
Москвы, остановленными на пути своих
богопротивных движений и вспять обра-
щёнными при виде конечно новоявленных
ополчений, сосредотачиваемых в сем же
Богоспасаемом граде Нижнем.*

*Знаменая на нас свет лица Твоего, Господи,
и о имени Твоем возрадуемся во веки.*

*Сия сказательная доска при гробе Козмы
Минина устроена 1815 года».*

Юрий СИДОРОВ

Юрий Евгеньевич Сидоров – профессор одного из университетов Санкт-Петербурга, доктор технических наук. Статьи Юрия Сидорова, посвященные жизни тех, кто является гордостью российской истории и культуры, публикуются в литературных журналах страны.

НЕИСТОВЫЙ СТАСОВ

*Вот человек, который делал все,
Что мог, и все что мог – сделал.
А.М. Горький. О Стасове.*

Этот очерк об одном из крупнейших деятелей русской культуры, чрезвычайно много сделавшем для развития и становления таких ее областей, как музыка, живопись, литература, археология. Благодаря таким людям и обрела величие Россия, обросла богатствами духовными, которыми щедро делилась и делится с миром.

Очерк о нем поможет, как хотелось бы надеяться, вспомнить и осознать величие истории России, ее неповторимой культуры, обогатившей многие земли и народы своей высокой духовностью, чистотой, искренностью и человечностью. Многие приведенные высказывания и мысли Стасова, как нам кажется, не только актуальны в сегодняшней России, но и как будто только что рождены.

При работе над очерком мы пользовались многочисленной литературой о Стасове, его письмами и воспоминаниями о нем, особенно работой литературоведа О.Д. Голубевой.

На фасаде главного здания Публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в Петербурге (ныне Российская национальная библиотека), выходящего на площадь Островского, установлена мраморная мемориальная доска работы скульптора Ю.Г. Ключе: «Здесь с 1855 по 1906 г. работал выдающийся деятель русской культуры Владимир Васильевич Стасов».

Он был одним из ярчайших представителей русской демократической куль-

туры второй половины XIX – начала XX века, крупнейшим музыкальным и художественным критиком, другом виднейших художников и композиторов России, историком искусства и ученым-археологом. И он был великим библиотечным работником. С помощью библиотеки, где он заведовал Художественным отделением, Стасов воздействовал на широчайший круг людей русской культуры, помог обогатить национальную культуру многими бессмертными художественными творениями, завоевавшими всемирное признание и славу. Его библиотечная деятельность органически сливалась с его энциклопедическими познаниями в области искусства. Он был библиотекарем-искусствоведом в одном лице, великим знатоком и просветителем.

Ровно десять лет спустя после открытия в Петербурге Публичной библиотеки для публики, 2 января 1824 года, в доме № 18 по Первой линии Васильевского острова в семье известного русского архитектора Василия Петровича Стасова родился сын Владимир. Род Стасовых был очень старым: с 1380 года они числились русскими дворянами. Предок их вышел из Пруссии. Владимир был пятым ребенком в семье. Шести лет он потерял мать, погибшую от свирепствовавшей в Петербурге холеры.

Большое влияние на воспитание Владимира оказал отец, передовой человек своего времени, после смерти матери ставший очень близким Володе. Еще при жизни матери отец сформулировал свои взгляды на воспитание детей, чтобы они

выросли искренними, честными и трудолюбивыми, уважали других. В молодости он был близок с просветителем Н.И. Новиковым, входил в кружок директора Императорской Публичной библиотеки и президента Академии художеств А.Н. Оленина, дружил с П.К. Хлебниковым – библиофилом екатерининского времени, собирателем рукописей и основателем семейной, но общедоступной библиотеки.

Отец оставил по себе память в виде многих зданий, украшающих до сего времени Петербург. По его проектам и под его руководством сооружены Измайловский и Спасо-Преображенский соборы, Московские и Нарвские триумфальные ворота, им были перестроены Царско-сельский лицей, Таврический и Петергофский дворцы. Он имел звания академика и почетного вольного общника Академии художеств. Отец был самым дорогим и близким Владимиру человеком.

Юный Владимир получил хорошее домашнее образование. Природа щедро одарила его блестящими способностями, необыкновенной памятью, любознательностью, трудолюбием. Мальчик очень рано пристрастился к чтению. Читал сказки, рассказы из всемирной истории, романы Вальтер Скотта, «Робинзона Крузо» Д. Дефо, повести А. Марлинского и т.п.

По воскресеньям у Стасовых собирались любители музыки. Старшая сестра Владимира Софья, обучавшаяся музыке и пению у знаменитого столичного педагога Герке, играла концерты Фильда, сочинения Моцарта. Среди приглашенных находились недурные исполнители произведений Бетховена и Баха. Первые музыкальные уроки получил у Герке и Владимир. Это были хорошие зерна будущей сильной любви Стасова к музыке.

В детстве юный Владимир мечтал стать архитектором, как и отец. Это не удивительно: Василий Петрович часто брал его с собою на стройки своих объектов, в семье часто бывали известные архитекторы. Отец постоянно беседовал с сыном об искусстве, вместе они рассматривали имевшееся в доме французское многотомное издание «Музейная летопись»,

в котором были воспроизведены творения величайших европейских мастеров Н. Пуссена, П. Рубенса, В. Тициана, Х. Рембрандта, Леонардо да Винчи, Б. Микеланджело и др. Иногда вместо беседы Владимир писал отцу письма, на которые тут же получал ответы. Эту привычку и страсть писать письма Владимир Васильевич сохранил на всю жизнь.

Семью Стасовых часто навещали не только архитекторы, но и художники, музыканты. Влияние последних оказалось очень сильным. Увлечение музыкой и серьезное ее изучение изменили планы молодого человека: он стал видеть себя уже будущим композитором! В юности первым композитором, завладевшим им целиком, стал Л. Бетховен. В более зрелые годы кумиром сделался И.-С. Бах. За ним на долгие годы даже закрепились кличка «наш Бах».

Вот откуда пошло сильное и постоянное желание Стасова поддерживать, помогать, оберегать композиторские таланты России. На протяжении всей жизни Владимир Васильевич опекал и радовался успехам композиторов «Могучей кучки», вместе с Глинкой и Даргомыжским создававших национальную русскую симфоническую и оперную музыку.

Для продолжения образования отец решил поместить Владимира в Царско-сельский лицей, а когда сын не выдержал экзамена, то весной 1836 года отдал его в незадолго до того открывшееся Училище правоведения. Это было закрытое аристократическое учебное заведение, которое призвано было готовить просвещенных чиновников, знающих, честных, с нравственными устоями.

Все семь лет пребывания в Училище Стасов считал для себя счастьем. Этому мнению немало способствовало то, что в Училище усиленно культивировалась музыка. Почти все воспитанники играли на каких-нибудь музыкальных инструментах. После занятий, как вспоминал Стасов, весь дом Училища словно превращался в консерваторию, по всем этажам звучали фортепиано, виолончели, скрипки, валторны, флейты, контрабасы... Сам Владимир прекрасно играл на рояле. И в

Училище он продолжал усиленно читать об искусстве, посещал концерты, театры. Его другом стал А.Н. Серов, впоследствии известный композитор и музыкальный критик.

Все воспитанники Училища увлекались журналом «Отечественные записки», лучшим в то время журналом в России, призывавшим к уничтожению крепостного права и просвещению народа. «Я помню, – пишет Стасов, – с какою жадностью, с какою страстью мы кидались на новую книжку журнала ("Отечественных записок"), когда нам ее приносили... Все первые дни у нас только и было разговоров, рассуждений, споров, толков, что о Белинском, да о Лермонтове... Белинский же был – решительно нашим настоящим воспитателем. Никакие классы, курсы, писания сочинений, экзамены и прочее не сделали столько для нашего образования и развития, как один Белинский со своими ежемесячными статьями... он прочитал всем нам глаза, он воспитывал характеры, он рубил рукою силача патриархальные предрассудки... Мы все – прямые его воспитанники».

Статьи Белинского пробудили у Стасова любовь к Пушкину и Гоголю. Когда Пушкин был убит, воспитанники зачитывались стихотворением М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта». «Мертвые души» Гоголя читали коллективно, так как установить очередь оказалось невозможным. «В продолжении нескольких дней, – пишет Стасов, – читали и перечитывали это великое, неслыханно оригинальное, национальное и гениальное создание. Мы были точно опьяненные от восторга и изумления».

Белинский и русская классическая литература, литература критического реализма, воспитали в Стасове критическое отношение к действительности. От Белинского Стасов на всю жизнь воспринял идеи *общественного назначения искусства, его народности, реализма, патриотизма и гуманизма*. Многие же сокурсники Стасова впоследствии стали «столпами порядка», ревностными защитниками крепостного права. «Кто бы тогда, – сокрушался Стасов, – между все-

ми нами вообразил, что из этих прекрасных милых мальчиков выйдет: из кого – всеподданнейший раб III отделения, из кого – бестолковейший и бездушный деспот, из кого – индифферентный ко всему хорошему и дурному, пошлейший чиновник, хватающий только ленты и аренды, и проплясавший на балу не одно важное народное дело».

Но, наконец, 10 июня 1843 года учеба окончилась успешно для Стасова. Он получил чин титулярного советника, чиновника 9-го класса. Следующие восемь лет он проводит на государственной службе, занимая различные должности в департаментах Сената. Началась скучная и однообразная служба мелкого чиновника: помощник секретаря, младший помощник секретаря в Межевом департаменте, секретарь в департаменте геральдии, с лета 1850 г. – помощник юрисконсульта в Министерстве юстиции.

Сухие служебные дела не удовлетворяли Владимира Васильевича, душа его не лежала к юриспруденции. Однако служить нужно было, так как средств к жизни было немного. Титулярный советник Стасов все свободное время по-прежнему отдает искусству: много играет на фортепиано, часто посещает Эрмитаж, наряду с музыкой и живописью серьезно изучает графику.

В письме к отцу от 1 января 1844 года Стасов писал, что решил посвятить жизнь художественно-критической деятельности. В этом же году он знакомится с К.П. Брюлловым, в 1849 году – с М.И. Глинкой. Его первые публикации появились в журнале «Отечественные записки» в 1847 году. Это были обзоры новых произведений английской, немецкой и французской литературы, произведений живописи, скульптуры, архитектуры и музыки.

Когда в 1851 году ему представился случай выехать за границу вместе с потомком много сделавших для России уральских промышленников Демидовых богачом и меценатом А.Н. Демидовым, он с радостью согласился и 15 мая 1851 года вышел в отставку. Работал у Демидова литературным секретарем, консультантом по вопросам искусства, библиотекарем в

имении Сан-Дonato близ Флоренции, аннотировал и рецензировал для Демидова купленные книги. И сам узнал «пропасть новых книг и вещей».

За три года, проведенных у Демидова, Стасов побывал не только во многих городах Италии, но и в Германии, Англии, Франции, Швейцарии, где работал в архивах и библиотеках, общался с художниками и учеными. Ему удалось хорошо познать подлинники мастеров античного, средневекового и современного западного искусства. Он часто встречался с русскими художниками, проживающими в Италии – с Александром Брюлловым, Сергеем Ивановым и др. В 1852 году, узнав о смерти К.П. Брюллова, Стасов поехал в Рим, собрал все сведения о последних днях его жизни и написал статью «Последние дни К.П. Брюллова и оставшиеся в Риме после него произведения». В статье он оценивал художника как непревзойденного мастера русской академической живописи.

В 1854 году вместе с Демидовыми Стасов вернулся на родину. В Петербурге он с «великой жадностью» читает все об искусстве. В эти годы на его мировоззрение огромное влияние оказала знаменитая диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855), утверждающая, что искусство не только особая форма познания жизни, но и *особое средство борьбы за ее преобразование*.

Стасов все чаще теперь думает о том, что лишен возможности как-то влиять на пробуждение национального самосознания. «Великий народ, нравственно прекрасный и терпеливый, не знает светочей своих. Ему не известна мощь своего творческого духа. Не только в массах, но и в интеллигентской среде господствуют грубые предрассудки, далекие от истины». Стасов часто вспоминает Герцена, который с «великим талантом, умом, знаниями и силой воюет против ложных людских понятий».

Следуя важнейшим положениям демократической эстетики, Стасов считал, что художественная критика, оценивая произведения искусства, должна, так же как

и искусство, *раскрывать нужды народа, вызывать сострадание к слабым и обездоленным и выносить свой приговор*. По убеждению критика художники и музыканты должны создавать искусство большого общественного значения, *воспитывающие мысль и чувство народа*.

В статье «Художественная статистика» (1887) он негодовал на бесправие народа, на недоступность для него образования, обличал самодержавие за издание реакционного закона, по которому доступ в гимназии детям неимущих классов был закрыт. (Как это близко к положению дел в стране и в образовании сегодня!) «Что ж бы было, если б всему этому люду не было помех и бревен поперек дороги вроде крепостного права, отсутствия свободной печати, общей приниженности?» – задавал вопрос Стасов. Илья Ефимович Репин, прочитав статью, пришел в восторг и признался автору: «Вот уже поистине следует пасть перед Вами на колени в благоговении... Особенно нам, крестьянам, мещанам и прочим париям. Какая смелость, какая сила! Я совершенно поражен, удивлен: как это Вам сошло!!! В наше паскудное время царства идиотов, бездарностей, трусов, холуев и тому подобной сволочи, именуемой министрами... Жму от всего сердца Вашу благородную руку и благодарю земным поклоном Ваш благородный подвиг!!!»

Во всех своих статьях и письмах, требуя от художника в первую очередь содержания, Стасов настойчиво подчеркивал *оригинальный, самостоятельный характер русского искусства*. Поражение России в Крымской войне, по словам Стасова, отвалившее «плиту от гробницы, где лежала заживо похороненная Россия», разбудило искусство, «его образы не могут кутаться и прятаться, они прямо говорят всю свою правду».

Основоположником новой русской национальной школы живописи Стасов считал П.А. Федотова, его наследником В.Г. Перова. Высоко оценивал творчество В.В. Верещагина, «самого заклятого, неутомимого и дерзкого реалиста». С 1874 до 1904 года, в котором Верещагин погиб, Стасов не переставал прославлять

художника и называть его Львом Толстым в живописи (Лев Толстой был для Стасова всю жизнь не только авторитетом, но и кумиром, он называл его везде Львом Великим). Но выше всех современных ему художников был для Стасова И.Е. Репин – реалист-обличитель, глубоко национальный мастер.

Обладая природным даром распознавать молодые таланты, сразу, как говорится, с первого взгляда, Стасов сумел первым «открыть» И.Н. Крамского, В.Г. Перова, Ф.А. Васильева, И.Е. Репина, И.И. Шишкина, В.В. Верещагина, М.М. Антокольского, В.М. Васнецова, В.А. Серова и многих других. Сюда надо добавить гениального русского певца Федора Шаляпина, которого Стасов не только «открыл», но и предсказал ему великое будущее.

Но иногда Стасов и ошибался. Он явно недооценивал некоторых выдающихся мастеров изобразительного искусства XVIII – первой половины XIX вв. – Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского, О.А. Кипренского, А.Г. Венецианова, скульпторов И.П. Мартоса, Н.С. Пименова, П.К. Козловского, Ф.И. Шубина.

В статье «По поводу выставки в Академии Художеств» (1861) критик осуждает Академию за то, что она, как и девятью годами назад, предлагает дипломникам мифологические и античные темы. Он считал, что художники сами могут и должны выбирать сюжеты для картин, не довольствуясь темами из греческой мифологии, Библии и древней истории. Перед художниками встали задачи, связанные с *жизненными интересами угнетенного и страдающего народа*.

Не без влияния стасовских статей четырнадцать учеников Академии художеств дважды подавали прошение в Совет Академии о праве свободного выбора сюжета картины, представляемой на соискание большой золотой медали. Так как прошения остались без ответа, то группа во главе с И.Н. Крамским в знак протеста в ноябре 1863 г. вышла из Академии и образовала свою собственную «художественную артель», которая в 1871 году перевоплотилась в «Товарищество передвижных

выставок», повернувшее русское искусство в сторону отражения реальной жизни. В это Товарищество вошли: Г.Г. Мясоедов, И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.И. Шишкин, В.Г. Перов, В.Е. Маковский, А.К. Саврасов, Н.А. Ярошенко, С.В. Иванов, В.А. Серов, В.И. Суриков и другие художники.

Как видим, в этом списке выдающиеся имена, навсегда оставшиеся в истории русской и мировой культуры. Сила обличения картин этих художников была настолько велика, что, как рассказывали, историк Н.И. Костомаров, увидев картину «Неравный брак» В.В. Пукирева, отказался от женитьбы на молодой особе.

Стасов поддерживал, воодушевлял, просвещал, отстаивал «передвижников», которые были для него эталоном демократического и реалистического искусства. В ответ на реакционную критику, обвинявшую «передвижников» в утрате эстетического чувства прекрасного, в пессимизме, в изображении «маленьких» людей с их горем и страданиями, Стасов писал в работе «Искусство XIX века»: «Если русский народ преимущественно состоит не из генералов и аристократов ...не из больших людей, а всего более из маленьких, не из счастливых, а из бедствующих, – то, понятно, большинство сюжетов в новых русских картинах, если они хотят быть "национальными", русскими, непритворно, а равно и большинство действующих лиц в русских картинах должны быть не Данте и Гамлеты, не герои и шестикрылые ангелы, а мужики и купцы, бабы и лавочники, попы и монахи, чиновники, художники и ученые, рабочие и пролетарии, всяческие "истинные" деятели мысли и интеллекта. *Русское искусство не может уйти куда-то в сторону от действительной жизни*» (выделено мною. – Ю.С.).

Надо подчеркнуть, что советское искусство шло по дороге, которую задолго до Советов указал Стасов и другие выдающиеся деятели русской культуры, – по пути *демократического, социалистического реализма*.

В живописи, как и в литературе, такой реализм стал господствующим направлением.

Одним из самых высоких искусств, доставляющих человеку счастье, Владимир Васильевич считал *музыку*, особенно *русскую*. В конце своей жизни, как бы подводя итоги, Стасов делился со своим другом, доктором астрономии и философии В.П. Энгельгардтом (16 сентября 1904 г.): «Скажу тебе, положи руку на сердце, что при всех нападавших на меня и глодавших меня бедах, главною и чудесною мне всегда была *музыка*. Не только ни одно другое искусство, но и ни одно другое средство не доставляло мне столько отрады, помощи и, по возможности, счастья и утешения, как она. Какое счастье, что были когда-то на свете раньше меня, или в одно со мною время, такие люди как Глинка, Бетховен, Шуман, Шопен, Лист, Ф. Шуберт, Бородин, Мусоргский и все *великие русские*. Именно – *русские*» (выделено мною. – Ю.С.).

В 1854 году Стасов примкнул к музыкальному кружку молодежи, группировавшемуся вокруг М.И. Глинки, и написал целый ряд статей по музыкальным вопросам. Русское общество долгое время отказывалось понимать музыку Глинки, называя ее музыкой кучеров. Стасов сумел показать обществу, что Глинка начал «новую эру в русской музыке».

Все мало-мальски значительные музыкальные события Стасов приурочивал к 27 ноября, считая этот день знаменательным для русской музыки. Именно в этот день состоялись премьеры двух великих опер Глинки – «Жизнь за царя» (1836) и «Руслан и Людмила» (1842). Когда Глинка умер (1857), Стасов написал его биографию и хлопотал о перевозке его тела из Берлина в Петербург, устройстве торжественной заупокойной службы в Конюшенной церкви, в той самой, где в 1837 году отпевали Пушкина. Немало труда Стасов приложил к постановке надгробного памятника композитору в Александровской лавре и памятников в Смоленске и Петербурге. Как это было важно для укрепления и увековечивания достижений русской музыки!

В начале 60-х гг. XIX века в Петербурге сложился небольшой кружок очень талантливых молодых людей, горячо лю-

бивших русскую музыку. Единственным профессиональным его музыкантом был глава кружка композитор Милий Алексеевич Балакирев. Остальные не были таковыми. М.П. Мусоргский являлся гвардейским офицером, А.П. Бородин военным врачом, впоследствии профессором химии, Н.А. Римский-Корсаков морским офицером, Ц.А. Кюи был военным инженером.

В статье «О славянском концерте Балакирева», написанной в 1867 году, Стасов назвал этот кружок «*маленькой, но могучей кучкой русских композиторов*». Это определение оказалось настолько удачным, что прочно вошло во всеобщее употребление.

Главную свою задачу «кучкисты» видели в пропаганде произведений Глинки и в развитии заложенных им (и развитых А.С. Даргомыжским) основ русской симфонической музыки. Это было особенно актуально в то время, когда господствующее положение в театрах имела итальянская опера. Члены «Могучей кучки» всеми силами прокладывали *новые, русские, пути создания оперно-симфонической музыки*. А сил этих было немало! Их стараниями в 60-е годы чуть ли не каждый день появлялись то романсы, то акты оперы, то фортепианная пьеса.

Основная заслуга же Стасова состояла в том, что он первый распознал, поддержал и выпестовал эту группу, сделался ее «крестным отцом». Он говорил Б.В. Асафьеву, тогда начинающему музыковеду: «Моя роль – толкать их... Они лучше знают, как и что делать. Ну, а по части нужных материалов я уже по самой должности своей (разумелась Публичная библиотека) и хозяйству своему им всем помощь, а в деле защита. Они знают – зубами, клыками воюю, лишь бы трудились. А толкать приходится из всех сил».

Музыканты собирались либо у Балакирева, либо у сестры Глинки Л.И. Шестаковой, либо у Стасовых, дружный дом которых много лет был центром музыкального и художественного Петербурга. У Владимира Васильевича своей семьи в общепринятом смысле не было, он жил с родными тремя братьями и двумя сестра-

ми как бы холостяком. Сам же считал, что состоит в гражданском браке с Елизаветой Клементьевной Сербиной, дальней родственницей. У них была дочь, Софья Владимировна, которую отец нежно любил.

Стасовские вечера были отмечены не только высокой интеллектуальностью, но и весельем. Сам Владимир Васильевич был неистощим на выдумки и шутки. Всю жизнь он питал отвращение к курению, вину и картам, так привычным на вечеринках. Предоставим слово С.Я. Маршаку, который бывал гостем у Стасова, правда, в более позднее время: «...квартира Стасова на Песках, – писал он, – могла бы с полным правом называться понынешнему "Домом искусств". ...Здесь всегда были раскрыты настежь двери для старых и молодых мастеров – композиторов, певцов, пианистов. Отсюда они уходили с новыми силами, а подчас и с новыми замыслами».

Стасов был непосредственным участником творческой жизни «кучкистов», делал, как он выражался, им «внушения». Он посоветовал Балакиреву написать музыку к трагедии Шекспира «Король Лир», музыкальное произведение, посвященное тысячелетию России, – вторую симфоническую увертюру «Тысяча лет» («Русь»); Мусоргскому подсказал сюжет «Хованщины», Римскому-Корсакову – сюжеты «Садко», «Сказки о царе Салтане», Бородину – «Князя Игоря», Кюи – «Анжело». Под влиянием Стасова Кюи стал музыкальным критиком.

Из всей пятерки он считал самым талантливым Мусоргского. Переписка Стасова с Мусоргским показывает, какую помощь оказал он композитору в работе над оперой «Борис Годунов» и в создании либретто «Хованщины». По совету Стасова Мусоргский запечатлел в музыкальных образах выставку рисунков и акварелей талантливого архитектора В.А. Гартмана, создав знаменитые фортепианные миниатюры «Картинки с выставки» (лучшие переложения этого шедевра для симфонического оркестра сделали независимо друг от друга в 1922 г. французский композитор Морис Равель и в 1954 г. русский

музыкант Сергей Горчаков). Мусоргский как-то признался Стасову, что «никто жарче Вас не *грел* меня во всех отношениях; никто проще и, следовательно, глубже не заглядывал в мое нутро; никто яснее не указывал мне путь-дороженьку». Дорогого стоит *такое* признание *такого* Мастера!

«Кучкисты» и Стасов отрицательно отнеслись к открытию в 1862 году Петербургской консерватории, не до конца понимая, что ее учреждение было прогрессивным явлением в музыкальной жизни. В противовес, в том же году, усилиями Балакирева, хорового дирижера Г. Ломакина и Стасова была создана Бесплатная музыкальная школа, которая просуществовала до 1917 года и сделала немало как в пропаганде лучших произведений русской и мировой музыкальной классики, так и в приобщении к музыке бедных, но талантливых людей.

Отдавая должное талантам «кучкистов» и понимая их значение для музыки, для истории России, Стасов писал о них статьи, биографии, некрологи, издавал их письма, организовывал концерты из их произведений, хлопотал о сооружении памятников, собирал творческие архивы, переписку.

«Стасов, Стасов! Ах, какой это ангел хранитель и воодушеватель талантов своего времени!!! – писал Репин К.И. Чуковскому в 1911 году. – Как он лелеял, как распластывался во всю для русского искусства!..» Как выразился один современник, «никто выше его не ценил и никто порывистее его не любил молодого русского искусства». Когда надо было заступиться за друзей-соратников, Стасов не стеснялся в выражениях. Одна из его статей – «Музыкальные лгуны» – даже вызвала судебный процесс. Статья была направлена против врагов Балакирева, вынудивших композитора уйти из дирижеров симфонических концертов «Русского музыкального общества».

Один из «музыкальных лгунов» профессор консерватории А.С. Фаминицын привлек Стасова к суду за клевету. Обвинение в клевете суд отверг (30 апреля 1870 г.), но нашел в статье «брань» и при-

говорил критика к штрафу в 25 р. и домашнему аресту на семь дней.

О чувстве благодарности и уважения русских композиторов к Владимиру Васильевичу Стасову говорят многие посвященные ему произведения: опера «Хованщина», романсы «Раек», «Озорник», «Жук», «Картинки с выставки» Мусоргского; «Король Лир» Балакирева; романс «Пусть на землю снег валится», «Гимн Стасову», «Мистический хор для трех женских голосов» Кюи; «Шехерезада», романсы «Порок», «К моей песне», а также сборник народных песен Римского-Корсакова; симфоническая фантазия «Буря» П.И. Чайковского; симфоническая картина «Лес», «Торжественное шествие», Струнный квартет № 4 А.К. Глазунова; четыре интермеццо и другие произведения А.К. Лядова. Уже после смерти Стасова Глазунов написал прелюдию для оркестра «Памяти В.В. Стасова».

Стасова нередко упрекали в парадоксальности, тенденциозности, пристрастности. Он отвечал, что ничего плохого в этом не видит, не терпит половинчатости, золотой середины, не любит людей, которые ни холодны, ни горячи, а всегда лишь тепленькие.

Его откровенно травили, особенно газетчики из «Нового времени». Однако Стасов не склонил головы и даже гордился тем, что враги обзывали его «трубой иерихонской», «мамаевой оглоблей», «тараном» и т.д. «Что ж, – писал он в статье "Итоги трех нововременцев" (1893), – мне на такие прозвища жаловаться нечего, я готов был бы признать их в высшей степени лестными и почетными... Я хотел бы быть той мамаевой оглоблей, которая должна сокрушить и сверзить те ненавистные перья и бумаги, которые распространяют одурение и убыль мысли, которые сеют отраву понятий и гасят свет души» (выделено мною. – Ю.С.).

Стасов искренне сочувствовал рабочим, ставшим в начале XX века на борьбу с бесправием, и всей душой желал им победы. Он был твердо убежден, что самодержавию должен наступить конец, что «долго так продолжаться не может: максимум 25–30 лет...». Вскоре после январских со-

бытий 1905 года он писал: «Поднялось и двинулось вперед великое дело народного освобождения...» Он приветствовал Валентина Александровича Серова, заявившего после Кровавого воскресенья о своем отказе от звания пожизненного члена Академии художеств – звания, которое было утверждено царем: «Великая Вам честь и слава за Ваше гордое, смелое, глубокое и непобедимое чувство правды и за Ваше омерзение к преступному и отвратительному. Честь и слава Вам».

В эти годы отовсюду «страшные известия о смертях, виселицах, пулях и нагайках». И Стасов «полон злобы и досады», – узнаем мы из его письма Репину. А тут еще декаденты со своими картинами, которые не что иное, как *«печальные потуги бессилия и растрепанного бессмыслия»*. «...Но ведь не вся же художественная Россия состоит только из паралитиков», – говорит Владимир Васильевич в статье об очередной выставке модернистов. Критик верит в лучшее будущее: «У нас уже есть целая масса людей, которые способны что-нибудь понимать в искусстве...»

Не об этих ли массах думал Стасов, когда писал Льву Толстому: «...Пролетариат русский (как я его нынче узнал и полюбил, и боготворю – первый и лучший, современнейший, возвышеннейший пролетариат во всей Европе) стал, как на фундаменте гранитном... Где видно, в истории мира, еще в другом каком месте подобное зрелище? Забастовка всего государства... К русской революции прислушивается вся Европа».

Свою творческую работу Стасов всю жизнь расценивал как деятельность «для России и будущего времени», а свои «работы на общую пользу, и еще на пользу тех, из чьих рук собраны деньги на жалованье – на пользу народу».

Друг Чайковского поэт А.Н. Апухтин в своем стихотворении «Певец во стане русских композиторов», перебирая всех музыкальных деятелей 70-х гг. XIX века, отметил и Стасова:

*Кого я вижу? Это ты ль,
О, муж великий Стасов,*

*Постигший византийский стиль,
Знаток иконостасов?*

*Ты – музыкальный генерал,
Муж слова и совета,
Но сам отнюдь не сочинял...
Хвала тебе за это!*

Владимир Васильевич Стасов страстно любил Россию и не представлял жизни без нее. Своей внучке, Софье Медведевой, вынужденной из-за полицейского преследования уехать в Швейцарию, дед внушал мысль, что жить вне Родины невозможно. Он писал: *«Все мною виденные примеры доказывали мне всегда, что нельзя безнаказанно покинуть навсегда Россию. Через несколько времени всегда следовало раскаяние, горькое сожаление и напрасные, запоздалые самоугрызения, невзирая ни на какие успехи общественные, художественные, научные, а тем более – ограниченные и эгоистические семейные. Я видел, что даже великие люди (или по крайней мере значительные люди), например, Герцен, А.А. Иванов, кн. Кропоткин, Гоголь, Тургенев и десятки других, никогда не были довольны (после некоторого времени) долго жить за границей и жадно стремились назад в Россию, ко всему своему и всем своим. Кому из них это не удавалось, завядали, страдали и мучились долго, неизлечимо».*

Он всегда верил в талантливость русского народа, у которого *«слишком много неумелости и незнания, но инициатива умственная и всякая такая, как, пожалуй, ни у кого».* Однако он не страдал национальным шовинизмом, выступал против каких бы то ни было стеснений прав любой народности, страстно желал, *«чтобы люди и народы были друг другу братьями, а не насильниками, с одной стороны, и бесправными, угнетенными, с другой».*

Огромный ежедневный труд (Стасов только в Рождество и Пасху не ходил на работу в Публичную библиотеку) и время подтачивали его могучий организм. В 1890-е г. начались «первые предостережения»: сердцебиение, головокружение, онемение рук и ног, кратковременные по-

тери речи, боли в желудке, кровотечения... Противоядие неизбежности смерти он видел только в творчестве и работе. 78-летний старик сокрушается, что нет времени и нужно вставать не позднее 6 ч утра, чтобы что-нибудь успеть сделать (!?).

Смерть, как всегда, пришла неожиданно. В субботу, 30 сентября 1906 года, был бодр и сидел за своим рабочим столом в 15-м зале Публичной библиотеки, готовый каждому обращающемуся оказать помощь. Был необыкновенно словоохотлив, интересовался новостями. На следующий день, 1 октября, в воскресенье утром, по привычке в постели читал газеты. А когда позже заглянули к нему в комнату, нашли его уже наполовину парализованным. Парализовались левая рука и нога, он лишился речи. 8 октября кровоизлияние повторилось со страшной силой. Наступил общий паралич, 48 часов он пролежал в забытии. Поздно вечером 10 октября его не стало.

13 октября весь культурный Петербург пришел отдать последнюю дань выдающемуся деятелю культуры России. Студенты хотели нести гроб до Тихвинского кладбища Александро-Невской лавры на руках. Но полиция не разрешила, как и хоругви с надписью «Незабвенному Владимиру Васильевичу Стасову – могучему борцу за самобытное искусство». Среди множества венков – венки от Корсаковых, от Шаляпина, Репина, Глазунова и Лядова, от студентов консерватории с надписью «Борцу за свободу в жизни и в искусстве». На могилу ложатся венки от Публичной библиотеки, Академии художеств, Русского музея, от редакций газет и журналов.

В Некрополе Александро-Невской лавры высится бронзовая фигура могучего человека в русской косоворотке, в сапогах. Памятник, замечательный по сходству, как писал современник, *«до полной иллюзии воспроизводящий живого Владимира Васильевича в лучшую пору его жизни, полным бодрости и энергии»*, изваяли друзья – скульптор И.Я. Гинцбург и архитектор И.П. Ропет.

«Его стихией, религией и богом было искусство, – писал Горький. – Он всегда

казался пьяным от любви к нему и – бывало – слушая его торопливые, наскоро построенные речи, невольно думалось, что он предчувствует великие события в области творчества, что он стоит накануне создания каких-то крупных произведений литературы, музыки, живописи, всегда с трепетною радостью ребенка ждет светлого праздника...»

Просеивая его жизнь через «решето и сито времени», мы должны признать, что Владимир Васильевич Стасов сумел полностью реализовать свою жизнь и получить прижизненное признание. **Он внес неоценимый вклад в становление, пропаганду и бурное развитие русской**

культуры, завоевавшей мировую славу. Мы все ему обязаны. Наслаждаясь многими творениями русских художников, композиторов, писателей, благодарные потомки должны помнить имя Владимира Васильевича Стасова, этого **неистового искателя, охранителя, пропагандиста и защитника россыпи талантливых русских мастеров культуры.**

Уже более ста лет прошло со дня смерти этого гиганта. И прав был Самуил Яковлевич Маршак, когда написал о нем:

*Но он такой проделал путь,
Что, вспомнив прошлое столетье,
Нельзя его не помянуть.*

Бийскому Вестнику - 10 лет!

Правление Союза писателей России наградило Почётной Грамотой альманах «Бийский Вестник» «за активную и плодотворную работу в современной русской литературе».

Почётной Грамотой Правления СП России «за большой вклад в сохранение традиций русской литературы и русского языка» награждены:

- Козлова Людмила Максимовна – литературный редактор,
- Чепров Сергей Васильевич – зам. главного редактора по развитию.

*Поздравляем Тюменскую областную
писательскую организацию с 50-летним юбилеем!
Желаем дальнейших творческих успехов!*

*Редакционная коллегия
и редакция альманаха «Тюменский Вестник»*

РИТМЫ ПЕРВЫХ СТРОК И СТРОЕК

В 1963 году в литературной жизни Тюменской области произошло поистине историческое событие. 16 февраля первые шесть профессиональных писателей Тюмени – ненецкий поэт и прозаик Иван Истомин, болгарка по национальности, поэтесса Майя Сырова, русские прозаики Иван Ермаков, Василий Еловских, Михаил Лесной (Зверев) и Константин Лагунов – с «благословения» секретаря правления Союза писателей СССР Сергея Баруздина и первого секретаря обкома КПСС Бориса Евдокимовича Щербины сплотились в единую профессиональную организацию. Содружество тюменских писателей на 20 лет (до 1983 года) возглавил Константин Яковлевич Лагунов (1924–2001) – Писатель с большой буквы. Его страстное слово было и по сей день остаётся неотъемлемой частью духовной культуры Тюменской области, а заложенную им школу творческих семинаров-совещаний прошли почти все ныне активно действующие писатели области. У истоков создания Тюменского отделения Союза писателей РСФСР, в котором до 1990 года числились профессиональные поэты и прозаики Югры и Ямала, стояли, кроме вышеназванных, поэты, прозаики и очеркисты Владислав Николаев, Леонид Лапцуй, Любовь Славолубова, Евгений Ананьев (Шерман) и первый профессиональный писатель манси Юван Шесталов.

Писательская организация в Тюмени зарождалась в самом начале эпохи бурного промышленного освоения Югры и Ямала. Строилась железная дорога Ивдель–Обь–Тавда; создавались новые лесопункты и леспромхозы; сотни, тысячи парней со всех концов страны, многих союзных республик прибывали по комсомольским путёвкам на строительство городов и посёлков; пошла первая шаимская нефть; одно за другим открывались нефтяные месторождения; ударили первые газовые фонтаны... Совмином СССР была поставлена задача создать на востоке страны новую крупную базу нефтегазодобывающей промышленности...

Константин Яковлевич Лагунов в 1993 году («Тюмень литературная», № 3) вспоминал: «Время рождения нашей писательской организации было окрашено в красный цвет. Это было время отречения от всего недоброго и злого, что накопилось в нашей жизни со времён Октябрьского переворота. Для нас, тюменцев, это время было подсвечено огнями таёжных буровых да первыми газовыми факелами: тогда только-только загоралась заря тюменского нефтяного исполина и каждый владеющий пером почитал своим долгом помочь партии и народу поскорее выдернуть из вечной мерзлоты и таёжных болот сибирского нефтяного Муромца, поставить его покрепче

на ноги и сделать всё возможное, чтоб рос да мужал великан не по дням, а по часам».

В поисках новых тем и героев для своих произведений в округ зачастили тюменские поэты Николай Денисов, Анатолий Кукарский (чьё детство прошло в посёлке Октябрьский), Булат Сулейманов, прозаики Раиса Лыкосова, Зот Тоболкин. Двадцатилетний поэт Владимир Нечволода был рулевым буксирного парохода «Капитан», доставившего 5 июня 1964 года первую баржу с промышленной нефтью из Усть-Балыка на Омский нефтеперерабатывающий завод...

«Валом повалили произведения всех жанров о жизни тюменских нефтяников: буровиков и вышколомонтажников, промысловиков и учёных, строителей и работников сфер обслуживания... — вспоминал К. Лагунов. — Без перебора можно утверждать, что скорой всемирной славой своей и заслуженной популярностью первопроходцы нашего Севера обязаны прежде всего тюменским писателям... Но литература — это человековедение. Главный и единственный предмет писательского исследования — человек. Вот о человеке на Тюменском Севере, о нуждах, болях и бедах геологов, нефтяников, газовиков и строителей первыми забеспокоились писатели-тюменцы... Уже в 1966 году в журнале «Новый мир» появился наделавший много шума очерк «Нефть и люди», в котором было отрицательно оценено навязанное нефтяникам ускорение нефтедобычи, осуждена шапкозакидательская позиция карьеристов-временщиков, которые, не щадя ни людей, ни природу, спешили поскорей да побольше «рвануть» сибирской нефти...»

В июле 1970-го в Тюменской области впервые прошли Дни советской литературы. За 10 дней пребывания в южных районах, на Ямале и в Югре писатели проехали в общей сложности более 10 тысяч километров, провели 90 литературных встреч и вечеров, на которых присутствовало свыше 50 тысяч человек (велась, оказывается, и такая статистика!).

Начиная с 1970-го, Дни советской литературы, как и Всесоюзные творческие конференции писателей и критиков, стали проводиться во многих областях и союзных республиках. В своей не произнесённой, но приложенной к протоколу V съезда писателей РСФСР (11 декабря 1980 года) речи ответственный секретарь Тюменской писательской организации К. Лагунов по этому поводу утверждал: «Для того, чтобы появились всем известные ныне произведения о Тюмени, нужны были объединённые усилия многих талантливых прозаиков, поэтов, драматургов и публицистов. Нужны были новые формы связи целой армии писателей с передним краем борьбы за энергетическое будущее страны... И такие формы родились в Тюмени. Это, во-первых, Дни советской литературы, которые позволили многочисленному отряду советских и зарубежных писателей увидеть, как по воле партии за три пятилетия поднялся среди болот и дикой тайги крупнейший в стране энергетический исполин...»

Под занавес десятилетия, осенью 1989-го, избранные народными депутатами СССР хантыйские писатели Еремей Айпин, Роман Ругин и председатель литературного объединения «Югра» Андрей Тарханов обратились в правление Союза писателей РСФСР с просьбой о создании межкрупной Угро-Ямальской организации народов Обского Севера. Такая организация с местонахождением в Ханты-Мансийске и с открытием финансирования с начала 1990-го была создана постановлением секретариата № 38 от 18 декабря 1989 года за подписью председателя правления Союза писателей РСФСР Сергея Михалкова. Ответственным секретарём был назначен А. Тарханов.

С созданием своей организации у писателей округа возникла острая необходимость в помещении для штатных сотрудников и работы с авторами. В апреле 1990-го на первой организационной сессии окружного Совета народных депутатов 21 созыва председателем окрисполкома был избран Александр Васильевич Филипенко. К нему и обратился Андрей Семёнович со своими первостепенными проблемами. Вскоре окрисполкомом было принято решение о строительстве Дома писателей в Ханты-Мансийске, затаянувшемся, правда, в силу известных причин на добрую «семилетку». Вторым основным и успешным (до начала приватизационных процессов в нефтяной промышленности) направлением работы организации стало создание Фонда поддержки писателей.

В апреле 1996-го администрацией округа было принято решение об издании окружного ежегодного литературно-художественного альманаха «Эринтур (Поющее озеро)», а уже в феврале следующего года учредители и авторы провели презентацию первого выпуска. За 16 лет издано 16 солидных по объёму и содержанию томов. Эти 16 томов стали для нас, писателей Югры, своеобразным мостиком в XXI век, скрепами, соединившими в неразрывное целое два тысячелетия. Сегодня даже у закоренелых скептиков не возникает сомнений в том, что первый на югорской земле литературный альманах не только прижился, пустил корни, но и дал весомые плоды: открыл читателю десятки новых ярких имён, опубликовал значительную часть творческого наследия Владимира Волдина, Кронида Гарновского, Александра Корнеева, Владимира Кочкаренко, Григория Лазарева, Владимира Плесовских, Геннадия Сазонова, Семёна Покачева, Владимира Двоеглазова (Купора), Валерия Косихина, Михаила Плотникова... В разделе «Творчество наших детей» дебютировали прозаическими и стихотворными опытами около 170 юных сочинителей. Альманах с честью справился с поставленной перед собой 16 лет назад нелёгкой задачей «быть своеобразным магнитом, притягивающим всё самое яркое и талантливое в литературах Югры», стал мощным катализатором формирования полноценного литературного процесса в автономном округе.

В декабре 1996-го писатели и литераторы Ямало-Ненецкого автономного округа на состоявшейся в Салехарде международной конференции «Слово в духовном возрождении народов» приняли решение о выходе из состава межокружной и создании самостоятельной организации. Такая организация – «Ассоциация писателей Ямала» под председательством прозаика Юрия Афанасьева – ими была объявлена в январе следующего года. Писатели Югры оказались перед необходимостью юридического оформления своего нового – окружного де-факто – статуса.

К осени 1997 года большинство писателей округа пришло к убеждению в необходимости созыва конференции, чтобы сообща найти выход из сложившейся ситуации и решить, каким образом строить свою работу в новых условиях. 13–14 ноября в Ханты-Мансийске состоялась конференция, в работе которой приняли участие 17 поэтов и прозаиков округа. Назовём их по именам: Еремей Айпин, Мария Вагатова (Волдина), Борис Зуйков, Николай Коняев, Анна Конькова, Новомир Патрикеев, Андрей Тарханов, Фиридун Рагимов, Галина Хорос из Ханты-Мансийска; Маргарита Анисимкова и Николай Смирнов из Нижневартовска; Евгений Вдовенко и Владимир Волковец из Советского; Сергей Сметанин, Леонид Сидоров, Никон Сочихин и Пётр Суханов из Сургута. Они приняли решение о создании Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России, объединившей всех писателей, постоянно проживающих в округе. В творческое бюро вошли Е. Ай-

пин, Б. Зуйков, Н. Патрикеев и А. Тарханов. Ответственным секретарём на альтернативной основе был избран Н.И. Коняев.

В нынешние времена многое из прошлого подвергнуто отрицанию, осмеяно и опошлено. У каждого писателя Югры и Тюмени своё видение и свои оценки известных событий и фактов, свои уроки, извлечённые из прошлого и нынешнего дня. И всё же, многие, думаю, согласятся со мной в том, что в период освоения наиболее ярко высветились такие качества человеческой натуры, как бескорыстие, энтузиазм, готовность поступиться личным благом ради общего большого дела. Сотни писателей, советских и зарубежных, в том числе и участники знаменитых Дней литературы и зародившихся на тюменской же земле Всесоюзных творческих конференций, таких как «Герои великих строек», ехали в округ не с целью изучения технологии бурения скважин или производства геологоразведочных работ, а для того, чтобы постичь природу души и найти ключик к секрету характера рабочего человека, способного на трудовой подвиг. Души и характера, так и оставшихся загадкой для полчищ своих и иностранных «пишущих туристов». Но я убеждён, что раскрыть эти «секреты» предстоит новому, не ангажированному поколению писателей, которое, настанет время, обязательно обратится в своих будущих произведениях к правдивому отображению подвига дедов-созидателей...

Николай КОНЯЕВ,
ответственный секретарь, председатель правления
Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России
в 1997–2011 гг.

Николай ДЕНИСОВ

Денисов Николай Васильевич. Родился в 1943 году в с. Окунево Тюменской области. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького (1971). Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат Всероссийских литературных премий им. Д.Н. Мамина-Сибиряка и «Имперская культура». Ответственный секретарь Тюменской областной организации Союза писателей России. Живет в Тюмени.

В ЧИСТОМ ПОЛЕ

«В чистом поле» — новая книга поэта и прозаика Николая Денисова, лауреата Международной литературной премии «Имперская культура». Это строки о друзьях-товарищах по литературному цеху, их жизненном и творческом пути. Автор прослеживает наиболее важные вехи в истории организации тюменских писателей — на фоне событий советской и постсоветской эпохи — через личное восприятие светлых и горьких моментов бытия.

СОСТЯЗАНИЕ АКЫНОВ НА САМОТЛОРЕ

С поэтом Анатолием Кукарским мы вместе, точнее, одновременно писали свои поэмы о гремевшем и прославленном нефтяном месторождении Самотлор. Писали о его людях-открывателях, нефтедобытчиках и строителях. Это был, как тогда называли, социальный заказ. И мы на него согласились, несмотря на отдельные ухмылки либеральной братии, ревнителей «чистого искусства»: вот, мол, «заказуху» выполняют...

Благословил нас Константин Лагунов: действуйте смелее!

Мне, хоть и бывавшему на Тюменском севере, никогда не доводилось ещё видеть в действии буровую, да и само «чёрное золото», знал его только по школьной пробирке на уроке химии.

Как рассказать о Самотлоре убедительно и в поэтических красках? Ведь тут ещё надо учитывать романтику, всеобщий духовный подъём, азарт освоения, колоссальный напор техники и «пламенных

сердец». Всё это было в ту пору, как и промахи, насилия над природой, которые признаем много позднее. А пока — от поэтов требовалось сказать своё яркое слово, сообразуясь с поэтическим душевным настроем, порывом, задачами области и страны в целом.

На дворе стоял март 1973 года.

Прежде чем попасть в город Нижневартовск, на Самотлор, и устроить «состязание двух акынов», как шутил Толя Кукарский, полетели в Нефтеюганск, где мы в группе тюменских литераторов участвовали в местных днях литературы.

Всякие авиаперелёты для Кукарского были серьёзным жизненным испытанием, он панически боялся подниматься в воздух. Но если уж деться-то в общем было некуда, он граммов сто пятьдесят «принимал на грудь» для храбрости. Не знаю, как он в шестидесятых годах справлялся со своей должностью собственного корреспондента газеты «Тюменский комсомолец», постоянно проживая в Салехарде, где, кроме оленьих нарт с погонщиком и тынзяном, основной транспорт — самолёт Ан-2 и вертолёт? Но, кажется, справлялся не плохо. Его материалы и стихи о Ямале в молодёжной газете мелькали часто. Имя его было на слуху.

По натуре, по складу характера Кукарский был человеком мягким, не шумным. Жизненные неурядицы и явную несправедливость к себе переживал, как говорится, внутри себя, был далеко не бойцом, не ввязывался в «драку» за убеждения. Но поэзии, литературе он предан был истово, удовлетворяясь малыми бытовыми благами. Оставив бывшей жене двухкомнатную квартиру, жил

с матерью, Павлой Леонтьевной, в старой коммуналке на улице Максима Горького, где едва помещались диван, раскладушка, стол и полка с книгами. Поразительно, что он не писал никаких заявлений, чтоб улучшить свои жилищные условия, хотя мог бы – одно время он преподавал философию в индустриальном институте, издал несколько сборников стихов, книгу документальной прозы.

В последние годы короткой своей жизни (прожил на земле сорок четыре года) он нигде не служил на должности, пробавлялся скудными литературными заработками, иногда выезжая на выступления по путёвкам Бюро пропаганды литературы.

Забавная деталь. Он не носил при себе никаких документов. Паспорт был, но не имел штампа о прописке, и вообще «паспортина» эта была у него давно просрочена, продлить её или обменять в милицейской конторе он почему-то не стремился! Обходился стареньким корреспондентским удостоверением, оно имело силу в ту пору даже при посадке в самолёт и, вероятно, при получении редкого гонорара в какой-нибудь издательской или газетной бухгалтерии...

Ближе к вечеру Анатолия Степановича можно было встретить в центре Тюмени, неторопливо идущего, хорошо выбритого, всегда в опрятном костюме, при галстукке. Позднее он «завёл» себе аккуратную бородку, мягко и русо курчавившуюся на лице. Встретившись, заглядывали мы к критику Виталию Клёпикову в издательский филиал, работавший от Свердловска. Ещё заходили в «союз», где собирались в конце дня писатели, оторвавшись от дневных трудов за письменными столами, вели просторные разговоры. Табакуров чрезвычайно аккуратная бухгалтер-секретарь Зинаида Белова, строго следящая за цветочными растениями и фикусом в большой кадке, выпроваживала подымить в коридор. Но в отсутствие «нашей Зины» курильщики, угробляя цветущую флору, порядок этот безоглядно рушили...

Я работал по соседству, в редакции «Тюменской правды», которая располагалась тогда на улице Ленина, напротив

горсада, и мне всегда было интересно заглянуть к старшим товарищам, послушать наших аксакалов. Впрочем, какие там «аксакалы»! Самому солидному по возрасту было едва за сорок, что уж говорить о зелёной молодёжи, как о нас с Нечволодой или о поэтессе Гале Слинкиной, студентке из Тюменского пединститута, по роду северянке из Ханты-Мансийска. Среди молодых была и Алла Кузнецова, недавняя доярка из Голышмановского района.

А в «союзе» собиралось немногочисленное тогда профессиональное писательское войнство. Иван Ермаков, Владислав Николаев, Людмила Славолубова, Евгений Шерман, Юван Шесталов, молодая поэтесса, но уже член Союза писателей Люба Ваганова. Заходил Владимир Фалей – комсомольский журналист, стихотворец и автор часто исполняемой на радио песни «Нефтяные короли».

*...Мы добываем кровь земли,
И бьют фонтаны из земли!
Мы – короли!
И это наше королевство!*

Иногда доставляли прямо в кресле не ходящего, обезноженного в детстве из-за болезни Ивана Григорьевича Истомина Жил он недалеко, в центре, и такому вниманию, случаю – посидеть среди своих! – был несказанно рад.

Решались на этих сходках творческие и житейские вопросы, а кто-то заходил за командировкой в какую-нибудь точку области или в Москву, в Свердловск – по издательским делам. Во главе руководящего стола, конечно же, царил ответственный секретарь организации Лагунов. Попутно отвечал и на телефонные звонки. Мог позвонить и Первый из обкома партии. И то, что звонил Щербина, нам было ясно сразу: Лагунов брал трубку и произвольно вставал, вытягивался. И будь он при головном уборе, наверное, взял бы и под козырёк. Отвечал Первому чётко, с готовностью тотчас исполнить руководящее указание: «Да, Вас понял, Борис Евдокимович... Слушаю! Да, обязательно передам нашим товарищам... Спасибо, Борис, Евдокимович! Спасибо...»

В атмосфере этих ежедневных сходок царили и духовность, и доброжелательность. Конечно, мог что-то выплеснуть экспрессивный Юван Шесталов, считавший себя «мансийским Пушкиным», вставить колючую шпильку ответственному секретарю Иван Ермаков, зарокотать смехом в ассирийскую свою бороду Шерман...

Хмельных застолий в помещении Союза не допускалось, хоть и время было – «застольно-застойное». Не терпится, иди злоупотребляй дома или в ресторане... Это позднее – в конце 80-х и в 90-х годах, когда уехали в иные края или ушли в иной мир многие из прежнего состава организации, творческий и нравственный климат порядком деградировал, как и во многих сферах в стране, когда до власти дорвались нечестивые и приبلудыши, серость. Она, серость, лихорадочно плодила себе подобных, укрепляясь, хамски торжествуя: «Нас больше, мы сильнее!»

Но – о Кукарском. Помню, как – опять же в себе! – переживал Анатолий то, что приёмная коллегия СП России не утвердила решение нашего собрания о приёме его в члены Союза писателей. Это было несправедливостью, ведь, несмотря на промахи роста, писание «датских» стихов, которыми он грешил в начальный период, работая под руководством редакторов партийных изданий, Кукарский был всё же истинный поэт. И этим жил. В только что вышедшем новом сборнике «Колокола России», который он представил на приём в Союз, было немало стихотворений крепкого звучания.

Вернусь в март 73-го.

Отработав в Нефтеюганске, мы разлетелись. Основная часть литературной команды – в Тюмень. Нам с Анатолием – на Самотлор. На аэродром, по утреннему снежку, пришли пешком, благо, аэродром был совсем рядом с молодым городом. Ну, говорю Кукарскому, полетели состязаться!

Выясняется, что у него и денег на билет нет. И не только на билет, там ещё, в Нижневартовске, надо столоваться, за гостиницу платить. Проси, говорю, у Шумского, он нас сюда по линии Бюро привёз. Не даёт

этот драматург, отвечает Толя. Я уж для него трагедию в стихах и кровью написал, не даёт! Как это – кровью? Показывает лист бумаги, на котором всё, как положено в заявлениях начальникам, значит: мол, слёзно прошу в счёт будущей оплаты за выступления дать на билет до Нижневартовска. И действительно – кровью. Палец себе иголкой проколол человек специально...

Ладно, говорю, билет я тебе покупаю. Но в Нижневартовске – кровь из носу! – денег надо достать! Иначе нам хана обоем. Не волнуйся, отвечает Кукарский, пойдём сдаваться в редакцию городской газеты, предложим свои стихи, выручат. Впервой, что ли?!

О, сколько тогда выручали нас северные редакции! И в Салехарде, и в Тазовске, и в Ханты-Мансийске, и в Сургуте, и в Новом Уренгое, в Тарко-Сале даже... Относились с почтением, с пониманием. Проблемы сии решались просто и скоро.

...Долетели. В Нижневартовске поселяемся в разных местах: он в гостинице НГДУ (нефтегазодобывающего управления), мне достаётся холодная – зато отдельная! – комната в общежитии № 20 по соседству с кафе «Белоснежка». Я сразу кидаюсь в кипень Самотлора. Обустройство его – впечатляющие виды! Есть уже главная бетонка-дорога, по которой в обе стороны летит и движется могучая техника, вахтовые автобусы с работягами, а то и легковые авто, над которыми развеваются разноцветные шары и ленты. Это местная традиция: свадебный кортеж должен обязательно побывать у подножия месторождения, как бы получить благословение для молодой, рождающейся здесь семьи – таёжной ячейке общества. Вдали, сквозь морозный туман, контуры буровых вышек, похожие на поднявшихся на задние лапы доисторических звероящеров. Горящие факелы попутного газа с утробным завыванием пронзают небеса, выжигая в них пустоты, опасные не только для пролетающих птиц, но и для рукотворных летательных аппаратов, то есть самолётов, вертолётов. Там и там неровные строчки лежнёвок – временных дорог к буровым и промыслам. Как вехи

вчерашнего пути, в болотных пропаринах торчат кабины насмерть застрявших тракторов, остовы другого, непонятного для новичка, железа.

Да, путь к нефтяным глубинам нелёгок и порой трагичен!

Месторождение обустроивается разными организациями и предприятиями, приходится всякий раз обращаться к тому или другому начальнику за помощью, чтоб попасть в производственное подразделение. Перекачивающие дожимные станции, строящиеся лежнёвки, промыслы, но особо поражает, даже восхищает буровая знатного мастера Виктора Китаева, её глубинная работа.

И – вокруг люди, люди. Из разных мест могучей страны, разных национальностей. Русские, украинцы, белорусы, кавказцы в меховых шапках, завязанных тесёмками у подбородков. Да, кавказцы – не при лотках с мандаринами, а при тяжёлых гаечных ключах... Разговоры с первопроходцами. Оптимистичный настрой всюду. Вдохновение так и взрывает свежие впечатления.

По вечерам, возвратившись с производственных плацдармов, накинув полушубок, строчу я свои строки. Азартно, горячо. Не очень пока задумываясь об отделке строк. Потом, потом... Главное – уловить суть, настроение и вложить всё это побыстрее в каркас рождающейся поэмы о первопроходцах!

Это потом уж было немало переделано. Переписано заново. Оттачивалось, уточнялось, пока поэма не вошла в московский сборник, изданный в издательстве «Современник» в 1975 году. Книжка эта, получившая комсомольскую премию, именовалась «Снега Самотлора».

Иду как-то вечером к Кукарскому. В его гостинице шумно, табачный дым коромыслом даже в коридоре. Полушубки, рюкзаки, унты, бутылочная тара, тут и там весёлые компании за дверями жилых комнат. Часто хлопает входная, с улицы, дверь. Кто-то очередной, в ватнике или в шубе, вваливается с мороза, таща за собой шлейф стужи. Толя, пристроившись на одном из подоконников в коридоре, пишет у заиндевелою окна. Ты что, спра-

шиваю, сидишь тут, никуда не едешь? А он: я с народом разговариваю, тут, знаешь, какой народ! А ездить? Это для тебя в новинку...

Поэму Анатолий Степанович назвал – «Мне рассказал Самотлор». Так называлась и его последняя стихотворная книжка, вышедшая в Свердловске в 1978 году. Толя успел подержать в руках только сигнальный экземпляр...

Умер он скоропостижно от сердечного приступа, как заключили медики «скорой». Умер после ноябрьских праздников того же 1978-го. На печальной тризне одна знакомая докторица, которая знала и даже лечила поэта, доверительно сказала нам: «Знаете, ребята, конечно, ишемия... Но здесь и – похмельный синдром...»

Человек и поэт родной ему Сибири Анатолий Кукарский воспевал Сибирь, её людей. Он любил эту землю.

Памятник на его могиле сделан из железной нефтяной трубы в виде пера. На памятнике надпись и строки из его стихов:

*Я знаю, что землёю стану сам,
И оттого она ещё дороже...*

ВЕСЕННИЕ ГАЙКИ

Плезно послушать толковый совет – даже с Запада, который во все века ходил на нас опустошительными войнами. А Русь-то, Россия наша, собравшись с силами, всегда отбивалась. Чаше сокрушительно!

Не о войнах, не о противостояниях речь. Пусть посольские чины, рассевшись на переговорных насестах, поспевают плести на эти темы примиряющее страны и народы, всесветное дипломатическое кружево. Моя небесполезная «запятая» – по контексту – о мирном, об «Искусстве поэзии» – о познавательном стихотворении француза Раймона Кено (Перевод М. Кудинова), чьи строки оригинально подчеркивают свойство таланта, практическое применение его в живом литературном деле.

*Возьмите слово за основу
И на огонь поставьте слово,
Возьмите мудрости щепоть,
Наивности большой ломоть,
Немного звёзд, немножко перца,
Кусок трепещущего сердца
И на конфорке мастерства
Прокипятите раз и два,
И много-много раз всё это.
Теперь пишите. Но сперва
Родитесь всё-таки поэтом.*

Толково сказано, со знанием процесса. Рационально и предварено: «прокипятите!» (всю жизнь стараюсь!). И сейчас «трепещущим сердцем» на родном поэтическом поле озарю продолжение разговора.

«Больше поэтов хороших и разных», – говорил Маяковский. Нынче, при свободах, «разных» числом и нахрапом больше, нежели «хороших». И издаются они ловчей. И покровителей – при деньгах – находят скорей, когда одарённый человек не умеет и стесняется являть подобную ловкость.

При бюджетном, то есть государственном финансировании творческих организаций ежегодно проводились семинары молодых литераторов. Накануне нашего приезда молодых сочинителей в Тюмень в писательский Союз поступала масса рукописей. И руководители семинаров (ими назначались подготовленные люди) отбирали для предстоящего разговора-анализа наиболее крепкие произведения.

Я всегда был рад, если в стихотворном потоке попадалось настоящее. От него ведь не уйдёшь, не отмахнёшься, оно «вцепится» в тебя, завладеет твоим воображением, и ты стремишься побыстрее познакомиться воочию с создателем этих строк.

Вот как, например, с автором строк, встретившихся мне в начале 80-х в присланной из северного посёлка Советский папочке стихов:

*Заблестела земля в гараже
Повидавшего виды фуфайкой.
Из весенних сугробов уже
Показались и первые гайки.*

Так свежо, ново, с детской непосредственностью о наступлении весны, кажется, ещё никто в обозримых весах не говорил. Ни грачи, ни скворцы, ни звон ручейка, а вытаявшие из снега эти, бог ты мой, железяки – гайки. Увидеть и изобразить эту весеннюю солнечную картинку мог человек со своим не только духовным – практическим опытом! Им оказался молодой слесарь ремонтной автомастерской лесозаготовителей Владимир Волковец. В его папочке присутствовал ещё ряд живописных виршей. И я волею председателя семинара поставил эти стихи на «разбор» первыми. Обсуждение было приподнятым, радостным. Вынесли вердикт: перед нами поэтически одарённый человек, его творчество требует всяческой поддержки.

Будущий сборник поэта ещё только «проглядывался», требовалась работа над строками, учёба, в конце концов. И писательская организация рекомендовала Владимира Волковца поступать – конечно же! – в Литературный институт имени Горького.

Творческий конкурс в единственный в мире писательский вуз Володя прошёл успешно, сдал вступительные экзамены по программе средней школы и был зачислен студентом очного отделения. А это – прямой путь в писатели. И ответ на вопрос: как им становятся.

Бесспорно, пишущий должен иметь от рождения «Божью искру». Всё остальное – успехи, достижения стихотворца зависят не только от обстоятельств жизни, а от него самого. От биографии, самовоспитания, обретения кругозора, нравственной и гражданской позиции, большого труда и целеустремлённости.

Иногда, в изначальной своей сельскости, зрю я труд литератора как труд огородницы. Скажем, пашут две соседки-хозяйки на одинаковых по качеству огородах-плантациях. У одной все прёт, как на дрожжах, у другой – скукоживается, сохнет на корню. И солнышко светит, и дождики не обижают обеих. А дело – в разном соображении, старании. И ещё – руки «из разного места растут», как в народе говорят. Одна хозяйка радуется

делам рук своих, другая, неудачливая, сердится на весь окружающий мир.

В литературном творчестве те же, да простят меня щелкоперы-пародисты, причины успеха или неуспеха.

Владимир Волковец, а человек он уже в то время был семейный, три года проучился на очном отделении, в институте стал командиром студенческого производственного отряда, заместителем парторга вуза. Налаживал контакты с печатными органами. Первая его книжка стихов «Сосновый дом» вышла в издательстве «Современник».

Перейдя в заочники, Володя вернулся в Советский. Написал новый сборник стихов, мы приняли его в члены Союза писателей СССР.

От «станка», вернее, от баранки большого автомобиля, перевозящего трубы для строящихся нефтепроводов, пришёл в поэзию сургутянин Пётр Суханов. Тоже не миновал на своём пути областных семинаров молодых, литобъединения при городской газете, нашего родного лица – Литературного института.

Разными путями пришли в литературу ныне активно издающие книги Владимир Фомичёв и Александр Игумнов – из того же Советского. Город этот дал плеяду талантливых литераторов. Владимир Фомичёв, приехав туда из Москвы, пять лет трудился в редакции городской газеты, вернулся в Москву, где при демократии «прогремел» на всю Россию своей боевой газетой «Пульс Тушина». Смелая её гражданская позиция так разозлила врагов русского государства, что они едва не упекли в тюрьму редактора. Отстаивала Фомичёва вся честная Россия, многие патриоты в пору самого жуткого демократического беспредела не боялись возвыситься за него свои голоса.

Александр Игумнов – бывший военный пилот-вертолётчик. Отважно воевал в Афганистане, стал не только хорошим прозаиком, но и стойким бойцом за русское дело.

Областные семинары наши были особой статьёй. И разного порядка случался на них народ. То мечтатель из городских студентов, то скромная рифмовательница из дальней деревни, а то и быстро ос-

воившаяся в новой среде «звезда» гостиничных тусовок...

Но сколько литературные мероприятия эти дали полезных напутствий одарённым участникам! Одни ими воспользовались, другие – нет, иным просто не повезло. По этому поводу вспоминается не столь смешной, сколько горький случай, произошедший в конце семидесятых.

Похвалили мы за стихи человека из Салехарда. Не юношу – зрелого мужчину лет тридцати трёх, как говорится, ровесника Христа. Газета «Тюменская правда» охотно опубликовала подборку виршей салехардца, пожелала ему в одном из декабрьских номеров «доброе пути», как делалось в таких случаях.

Проходит месяц. Семинарское уж позабылось. Другие заботы приспели. И вдруг на улице Республике, в центре Тюмени, встречаю похваленного семинариста. В добротном авиаторском крытом полушубке, в унтах, хромовых рукавицах, богатой меховой шапке. Спрашиваю, мол, в командировку в Тюмень прилетел? А он отвечает, что ещё никуда и не улетал, а только что вышел из больницы, куда попал после завершения литературного форума. И спешит на почтамт, где должен получить из своей заполярной организации денежный перевод на обратный билет.

Кончилась тюменская зима. Прозвенел капелями март. Превратились в парящие просторные лужи апреля бывшие зимние сугробы. Опять центр города. Улица Республика. И знакомый голос: «Здравствуйте!»

О-о, какая сумятица чувств, удивления, охватили тогда меня! Передо мной стоял «авиатор», только без прежнего богатого «прикида», а в потёртой «зековской» шапке, в такой же лагерной телогрейке серого цвета и порядком побитых кирзовых сапогах. Глазам не верю! Может, это сон?

А не прислали начальники деньги своему работнику в тот январский день. Не прислали и на второй. Первую ночь человек скоротал на железнодорожном вокзале. На вторую – подвернулись «добрые люди», предложили ночлег в «божеских условиях»: в готовом к открытию, но ещё не заселённом НИИ Гипротюменьнефтегаз.

Компания расположилась в отдельной комнате, возле батарей отопления, «накрыла поляну» с вермутом и портвейном, с ливерной колбасой и свежей буханкой хлеба. Выпили, побазарили, сморило. Наш «герой» – унты и шапку под голову, накрылся шубой, уснул. Утром «продрал глаза» – ни компании, ни шубы, ни шапки, ни унтов, ни рукавиц даже. Оставили человеку то, в чём он передо мной стоял на апрельском солнышке. Паспорт ещё оставили. Но последние рублишки из паспорта прихватили тоже!

И что в дальнейшем? По-современному это называется – забичевал. И продлилось сие бичевание до момента нашей новой встречи... Почему не пришёл со своей бедой в писательскую организацию? Постеснялся. Никак не мог через себя переступить!

На этот раз я не отпустил от себя бедолагу. Привёл его в наш Союз писателей. Наскребли денег в литфондовой кассе, купили билет на Полярный круг. Улетел. Больше этого человека я не встречал никогда. Стихов его в печати тоже не видел.

Другая история. Нет, не печальная, скорее, светлая, но тоже связанная с семинаром. Одна поэтесса из деревни прислала тетрадку стихов и заметила при этом, что когда-то, в студенческие времена, её стихи обсуждали в Тюмени при моём участии. Посмотрел новые вирши, вижу, человек «соображает» в поэтическом направлении. Началась переписка. Обмен посланиями продолжался больше года. И вот вижу: сложившаяся рукопись моей «подопечной» вытягивает уже на небольшую книжку! Собственными усилиями нашёл спонсора. И с согласия автора отдал её стихи в недорогое издательство.

Переписываемся по-прежнему, ждём выхода книжки!

И как-то в ранний утренний час, когда я уже устроился за печатной машинкой, слышу из квартирному коридора разговоры... Потом жена громко так зовёт меня и почему-то смеётся:

– Коля, нам тут молоко принесли, целых две трёхлитровых банки, не знаю, что и делать!

– Принесли, так покупай! – громко отвечаю.

– Так, денег не хотят брать, говорят, что бесплатно! – и опять смех звонкий. – Вот жизнь наступила, новая власть, видимо, решила нас побаловать! Ещё мешок картошки предлагают... Но у нас же своя уродилась неплохая...

«Достукал» клавишами фразу. Выхожу в коридор.

– Здравствуйте, Николай Васильевич... Мы вот тут с мужем в город приехали по делам, подвернули к вам на минутку... Молочка привезли, у нас его много, корова только что отелилась... Тёлочку принесла. Вы уж не обессудьте, возьмите, а то... ваша супруга...

– Простите, да кто вы будете-то? – спрашиваю незнакомую, немножко растерянную женщину в синем платочке.

– Вы меня не узнаете, – говорит. – Стихи вы мои издаёте, первую книжку мою, вот!

Тут и я рассмеялся:

– Наконец-то познакомились... Здравствуйте! А молоко, выходит, вроде гоночара... или за вредность производства?

– А что здесь плохого? Знаете, у нас корова отелилась...

Долго ещё мы от души удивлялись с женой Марией, когда «молочница» распрощалась с нами, деловито и по-хозяйски унося с собой порожние молочные банки – к поджидавшему её возле подъезда нашей девятиэтажки старенькому «москвичу».

Потом и сборник вышел. Затем второй и третий. Поэтессу приняли в Союз писателей. Хорошая и светлая у неё деревенская лирика. Успехов ей! В том числе и на родном подворье! Там уж давно, конечно, новорождённая та тёлочка выросла, коровкой стала, молочко даёт.

А вот этого стихотворца из Ханты-Мансийска, капитана речного катера – с нашивками-галунами на кителе, при фуражке с золотой «капустой» на околыше, знали многие. Он, бывший морской офицер, бравший в 1945 году Курильские острова, кавалер орденов, в том числе ордена Боевого Красного знамени, – Василий Андреевич Харитонов-Деткин, писал не просто стихи. Сочинял бесконечную

поэму про сибирского первопроходца Тлоркина, то есть «наследника» бойца Васи Тёркина: фронтового русского героя, созданного Александром Твардовским. Взяв за основу стихотворный размер, полюбившуюся многим на Руси интонацию «Книги про бойца», наш пиит изображал своего Тлоркина в главах «Тлоркин на Ямале», «Тлоркин в тайге», «Тлоркин на Самотлоре», ну и так далее. Автор всюду искал слушателей, находил и читал им свои пространные главы. Рассказывали очевидцы: вёл, например, свой катер по Конде или протокам Оби, вдруг замечал на берегу людей у костра, причаливал и устраивал читку «своего Тлоркина».

И ещё. Хороших поэтов прямо-таки боготворил. Однажды завернул к нему на борт земляк Андрей Тарханов. Поднимается по трапу. А на палубе выстроена вся катерная команда – четыре «штыка». И капитан посудины, выдраенной по этому случаю до блеска, командует: «Смирно! Равнение на выдающегося поэта Тарханова!»

Ну, подражал Харитонов-Деткин классику советской литературы. Фамилию своего литературного героя Василий Андреевич мыслил как собирательную, отражающую дружбу народов СССР, а затем и – России. ТЛОРКИН – это татарин, лезгин, осетин, русский, калмык, ингуш, наец.

Ну, попал Деткин под очарование классика! Да вот собственные строки его весьма сильно хромали в «художественно-поэтической плане». Критику и дельные советы по совершенствованию строк автор воспринимал недоверчиво и очень настороженно. И продолжал штурмовать газетные редакции в провинции, толстые и тонкие журналы в Москве. Добирался со своей рукописью и до высокого литературного начальства в правлениях СП СССР и России. Как-то заметил я речного капитана в Центральном Доме литераторов, где он угощал шампанским ушлых московских сочинителей, конечно, не скупившихся – при дармовом угощении – на щедрые похвалы провинциалу...

И что вы думаете? Издал Тлоркин (так автора и самого называли в народе!) ру-

копись отдельной книжкой. На собственные, правда, деньги.

Ладно. Не будем теперь придирааться ни к автору, ни к его многолетнему труду. Полагаю: труд этот заслужил право на жизнь. Со всеми его недостатками. Творил его человек редких качеств. Неутомимый. Дерзостный. Вдохновенный.

А вот земляка своего, окупёвца Сергея Борисовича Борисова, мне самому искреннее хотелось если уж не «вывести на широкую дорогу», то сделать его творчество известным и за пределами района. Сергей Борисов был первый «живой поэт», которого я знал с детских лет и видел в своём селе едва ль не каждый день. Фронтовик, орденоседец, а в Окупёво – слесарь совхозной МТМ, охотник, рыбак, как многие мужики в нашем селе. Но главное – художник, баснописец, лирик. А держался скромно. И печатался только в нашей «путёвке» – районной газете «Путь социализма».

Однажды я уговорил земляка-односельчанина приехать в Тюмень на литературный семинар – показаться. Приехал. Обычный с виду человек. Чернявый. С пытливым взором умных глаз. Плащ пастиший оставил в нижнем гардеробе Дома Советов. Пиджак простенький. Кирзовые сапоги. Полевая офицерская сумка через плечо. Посидел, послушал. Видимо, подивился мудрёным разговорам нашим. Для себя, похоже, ничего не взял. И, не заходя в областные редакции, отбыл в свои лесостепные дали, в Бердюжское село Окупёво – село поэтов.

А ведь стихи писал отменные:

*Той весной солнце скупо дарило лучи,
Мы ночами тогда хоронили бойцов.
Ту весну принесли не на крыльях грачи,
Той весной мы не слышали
песен скворцов.*

*Были песни другие тогда у весны,
Не лежала солдатская к песням душа.
Пели бомбы да танки, да щепки сосны,
Пели мины да пули в солдатских ушах.
Пела смерть, по броне*

*и по каскам стуча,
Мы кричали «Ура!»
перекошенным ртом.*

*Ту весну мы без песен несли на плечах,
А уж петь соловьями мы стали потом.*

ЗЕМЛЯ И НА НЕЙ ЧЕЛОВЕК

Поэт российский, русский, может быть кем угодно по рождению, по изначальной стезе-судьбе, по профессии – свидетельством тому имена в нашей русской литературе. Поэт в обыденной жизни может возвыситься до высокого гражданского или воинского поступка, но может и явить те черты, что в расхожем представлении «общечеловеческой» морали – осуждаемы. Вспомним, Пушкин, например, не подбирал эвфемизмы, говоря о поэте, когда «молчит его святая лира». Тогда: «И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».

И вдруг: «Но лишь божественный глагол / до слуха чуткого коснётся, / Душа поэта вострепнётся, / Как пробудившийся орёл...» Точней не скажешь. Нет, это не пространственно-созерцательные рассуждения, вынесенные в начало моих заметок о поэте Евгении Фёдоровиче Вдовенко, товарище, коллеге, которого в печальный июньский день 2002 года проводили мы, тюменцы, в последний путь. Просто я подбираюсь, ищу тропу к простым человеческим словам об ушедшем друге-поэте. Да, пройдено с ним немало совместных дорог, немало прочитано друг другу стихов за чашкой чая, за сигаретой, за дорожной кружкой-чаркой вина, перед публикой. Дружили мы и семьями, хотя люди были во многом разные, не только по возрасту, по опыту жизни и творчества, но и по отношению к каким-то «вещам», в оценках житейских ситуаций. Порой, как у всех бывает, набегали хмурые тучки на эту дружбу – до размолвок.

Бывало. Но пишу о главном, что имел этот человек в себе: нежное и одновременное ранимое и взрывное есенинское поле.

*Как мы жили, Коля, как мы жили,
Хоть и были деньгами бедны!
За любовь за нашу нас любили
Дочери России и сыны.*

*Ну а то, что было между нами –
Лишь цветенью летнему под стать,
Где мы дружно жили куренями,
Не боясь от времени отстать.
Молодость ушла в своё преданье,
Творчество нашло свои сердца,
Хоть не всё, конечно, мы издали,
Даже не прозрели до конца...
Главное, что нет уже вопроса,
Кто мы, подчиняемся кому?
Мы – два друга, два Великоросса,
Но народу служим одному.*

Стихи эти написаны Евгением Вдовенко в феврале 1994 года в посёлке Советский (ещё не городе!), где, перебравшись на жительство из Тюмени, создал он, может быть, свои главные книги. Служа поэзии, людям, любимой Отчизне.

Многое начиналось с нашего лица – Литературного института имени А.М. Горького, из которого студент-заочник, старший лейтенант ВДВ Вдовенко выпустился тремя годами раньше меня. Армейские и флотские студенты (на очном, понятно, их не могло быть) приметными фигурами были в нашем вузе. Выделяла и форма, и воинское братство. Служивым был и я, поступив туда, как говорил уже выше, в 1964 году, в год, когда наш дорогой Никита Сергеевич волевым порядком прикрыл очное отделение. (Получилось ненадолго, всего на год: не стало Хрущёва, и авторитетные писатели и правление Союза писателей СССР восстановили очное обучение.)

В бескозырке, морячок, я потянулся к своим. Скажем, к Игорю Пантюхову с Балтики, из Калининграда. Совсем недавно газета «Красная звезда» поместила фото, где зафиксирован был момент вручения на палубе крейсера писательского билета старшине-балтийцу. Редкое в ту пору событие. Запомнилось.

На третьем или уже на четвёртом курсе учился другой калининградец, недавний командир черноморской подлодки, капитан второго ранга Александр Николаевич Плотников. Земляком он оказался, из Сорокинского района, среднюю школу заканчивал в Ишиме, но подружился с ним много позднее. А тогда разве ж на смелился бы зелёный абитуриент, хоть и

старшина 2-й статьи из самого Главного штаба ВМФ, запросто подойти к такому большому чину! Надраенный, вымуштрованный до «невозможности», нёсший службу по охране самого главнокомандующего ВМФ СССР С. Горшкова, я способен был разве ж только вытянуться по струнке и перед студентом со столь большими звёздами на погонах. На наш курс поступили несколько «поручиков» – старлеев, правда, «занесло» и ефрейтора ВДВ из Закавказского военного округа Алёшу Кононца. Он служил срочную, как и я, но я ж – москвичом был, а он умудрялся дважды в году – по месяцу! – приезжать из части и жить в Москве, сдавая экзамены за очередной курс. За «высокий» ефрейторский чин и за находчивость мы даже выбрали Алёшу старостой курса, с чем он успешно справлялся.

Имея общих знакомых, приятелей, как выяснилось потом, с Евгением Вдовенко мы как-то разминулись в Литинституте. Могли б сойтись в «рубцовском кругу». Рубцов был у нас фигурой знаменитой, с ним многие общались, тянулись к нему. Вдовенко тоже с ним общался, посвящал ему свои строки.

Познакомились с Женей мы в Тюмени – в середине семидесятых. В писательской организации возник майор в лётной форме с эмблемами десантника. Поэты чаще всего сходятся легко. Через стихи. К тому ж, и «единственный в мире», как мы горделиво подчёркивали, объединял нас Литературный институт.

Оказалось, что в тюменских краях Вдовенко не впервые. Минувя писательскую организацию, пробыл в Тобольск, на берега Иртыша, Вагая. Его занимала судьба казачьего атамана Ермака, тема покорения Сибири. Поэт был по роду из кубанских казаков.

В первом томе «Избранного» поэта захожу сейчас те «ермаковские» стихи, что читал нам Женя, Евгений Фёдорович, за «рюмкой чая» в Бюро пропаганды художественной литературы на улице Ванцетти.

«Иртышская волна» помечена 1974 годом, а «Ермакова заводь» написана аж в 1970-м.

В поводу ли иду у судьбы?

Что сулит мне мечта дорогая?

*Дом заезжих дымит в две трубы,
Примостившись под боком Вагая.
Отряхнула тайга кедрачи,
И рябиной двory отрябили,
Припоздалые бродят грачи
По багрянцам осенней Сибири.
В рукава убегают река,
Островок огибая подковой...
Тут и кончился путь Ермака, –
Вот и заводь его – Ермакова.*

Кто помнит Тюменщину семидесятых годов прошлого века, тот обязательно отметит дух и атмосферу романтики, молодого задора, что пронизывал наш таёжный край. Притягивал он к себе и творческих людей, бывавших у нас не только на Всесоюзных Днях литературы, но и в одиночку. А такие «бывания» оказывались наиболее продуктивными.

Мы пробирались к нефтяникам, газовикам, геологам, «гостили» у строителей новых городов, посёлков, трасс. В местах жутко комариных, суровых, вздыбленных новизной дел.

Побывав в отпуске в Тюменских краях, и поэт Вдовенко «заболел» севером. Тем более, что «наклёвывалось» уже увольнение в запас. Службе воинской он посвятил почти 30 лет. Случайно ль стал офицером? Отец, погибший в Великую Отечественную, был майором, а в армии находился с самой Гражданской войны. Пойдя по стопам отца, в сорок четвёртом призванный на службу, Евгений Вдовенко немного не захватил последние бои в Германии: о победе он узнал в эшелоне, идущем на фронт. Потом – Харьковское танковое училище, позднее – знаменитое Рязанское воздушно-десантное.

Строевой офицер. Не интендант иль финансист в тёплом штабе. Каждодневно – занятия с солдатами, марши, стрельбы, парашютные прыжки. Больше трёхсот прыжков на счету Вдовенко. И он ещё пристрастился к музее. К лирике. В армии, если не пишешь правильно-уставные стихи, сие не очень поощряется. По себе знаю. Как-то командир нашего элитного батальона московских моряков поручил мне написать «хорошую строевую песню». Написал. Музыку сочинил главный

дирижер Отдельного образцового оркестра ВМФ. Оркестр этот дул в свои трубы за стеной нашего подразделения. Правильную песню мы сделали! Пели на парадных смотрах. И не более. «Неправильная» – дембельская, что позднее сочинил на мотив «Раскинулось море широко», обрела оглушительную популярность в батальоне. Но сколько доставила она мне и неприятных моментов. О-о-очень уж косились офицеры на сочинителя, а замполит реагировал и того суровее!.. Так что представляю, и лирику Вдовенко пришлось терпеть, крепить душу и сердце, а порой и конфликтовать с сослуживцами-начальниками.

Первый сборник поэта «Юность на посту» вышел в 1960 году. «Чисто военных» стихов в нём немного.

После изначальной встречи и знакомства в Тюмени возникла у нас плотная переписка, прерываемая временами метаниями-переездами Вдовенко. Сохранил я эти послания из разных мест: то краткие, открыточные, то пространные – на несколько страниц. «Здравствуй, Коля! 1000 лет молчания. Что у нас за дела, что теряем связь?! За стихи в сборнике спасибо. Если он гонорарный, то подскажи мой адрес (на открытке) – вот куда перебрался! (Открытка пришла из Донецка. – Н.Д.). А моя квартира теперь в Ясной Поляне на замке. Как живёте, мои хорошие? Всем низкий поклон. Узнай в Бюро, не смогли бы меня принять на пару недель, а то и больше? С Нового года, со 2-й половины января, я свободен, а пока «мучаюсь» над 2-мя книгами. И обе большие – на 8 и на 5 п.л. Если за коллективный есть гонорар, пусть его быстрее вышлют, – как всегда, не хватает. Обнимаю, жду ответ. 1. X1. 75 г. Е. Вдовенко».

С февраля 1976 года я стал работать директором Бюро пропаганды нашей писательской организации (четыре года нёс этот «груз»), появилась возможность приглашать для выступления поэтов и прозаиков из любых городов Союза. Не просто талантливых писателей, но и умеющих «держатъ» публику. Бюро – организация хозрасчётная, жила на заключении финансовых договоров, потому имела

возможность дать подзаработать на хлеб насущный неимущим пиитам. А таковыми были многие...

Строчки из письма от 22 июля 1976 года: «Дорогой Коля! Спасибо за весточку и за память! Я готов прилететь в августе, желательно, числа 20-го... У меня было много хлопот и забот над книгами, теперь с одной решено, она уходит в производство, и я стал свободнее...»

Военная косточка! Точность, аккуратность просматриваются в этих кратких посланиях: будь, мол, точен, нет времени на пустое, отвлечённое. Вот уж весточка перед самым прилётом в Тюмень, от 13.VIII.1976: «Получил оба твоих письма. Спасибо! 20-го вылечу из Москвы к тебе».

А договорились мы отправиться вместе в экзотические места – в Приобье – к газовикам и лесорубам, взяв за исходную точку посёлок Октябрьский. Да, мы стремились к тем местам нашей обширной Тюменщины, которые впоследствии изберёт для жительства поэт Вдовенко: надолго бросит там якорь!

Заканчивался август. Золотой на краски и дары месяц...

*Вот месяц, перед коим я в долгу,
А может быть,*

он сам мне должен что-то:

*Я в августе работать не могу –
Грибной сезон – какая тут работа!
Грибной сезон... Брусничная заря...*

Промежуточным пунктом был Ханты-Мансийск, где, сойдя с борта самолёта, отправились мы на пристань в Самарово. Речной трамвайчик или «Ракета» до Октябрьского ожидалась на следующее раннее утро. Предстояло скоротать как-то ночные часы. По доброй литинститутской традиции оккупировали мы на вечерней заре ресторанчик на дебаркадере – с котлетами и красным вином. С телефона-автомата я дал знать о нас местным стихотворцам. Вскоре появился Андрюша Тарханов с гостевавшим у него тюменским художником Толей Троянским. К их появлению на дверь ресторанчика повесили амбарный замок, но мы уютно расположились на бетонном ограждении при-

станской площади, которая как-то быстро истаяла от народа. Пообщавшись с нами, Тарханов с Троянским заспешили домой, оставив нас в сообществе с едва початой бутылки не плохого в ту пору «портвейна».

Приплёскивала в тишине иртышская вода. Пластались светом два буйных пристанских прожектора. Шелестели наши рифмы. И тут возникли откуда-то два парня в светлых рубашках, нагло встали за сигаретами. Закурить мы дали, но посоветовали на дальнейшее – «шагать своей дорогой».

Парни отошли. И мы, восстанавливая утром детали прошедшей ночи, вспомнили, что они не ушагали в улицу, а сразу «воткнулись» в пристанскую телефонную будку. Звонили. Явно, дали наводку. Не прошло и десяти минут, как пристань огласилась рёвом трёхколёсного «Урала», и перед нами возник милицейский наряд: три красных околыша. Двое ловко, отработано, соскочили с техники, подбежали к нам, мирно беседующим, выбрав в жертву меня – гражданского, беспогонного! – начали выкручивать руки.

– В чём дело? Вы что это бесчинствуете? – вскипел Вдовенко.

– Товарищ майор! – остановил я его. – Пусть! Мы ж ни в чём не провинились, разберёмся в отделении! – И я решительно шагнул к коляске мотоцикла.

– Не делай этого!..

Но мотор взревел, добровольцу болевым, удушающим приёмом заломили голову. И – понеслись. Перед дверьми «заведения», рассвирепев, я устроил мощное, отчаянное сопротивление, но был вбит тяжёлыми сапогами вовнутрь... О, наивный! Как не догадался сразу, что «стражи порядка» просто выполняли свой план по сбору ночных «клиентов»...

Берёзовый, рябиновый Ханты-Мансийск смотрел сны, а Женя – вот наказал гостя! – искал меня по городу. Под утро подвернувшийся таксист подвёз его к «моей» обители. Выпивающие в «предбаннике» медвытрезвителя сержанты опешили, уставясь на вошедшего майора-десантника.

– Немедленно отпустите поэта Денисова, у нас билеты на паром!

– У него нет денег...

(Деньги я оставил в сумке – в камере хранения).

– Заплачу, сколько надо.

На «Ракету» мы успели. На палубе, хмурые, расстроенные, но с восходящим солнышком ободряясь, возвращались к свету, шутили уже, вспомнив, как Рубцов, однажды попав в такую же милицейскую переделку, объяснялся потом с ректором Пименовым: «...в конце концов, быть может, я в гробу для Вас мерцаю! Я, Николай Михайлович Рубцов, возможность трезвой жизни – отрицаю».

Да, воистину, как написал один поэт: «Чем мне трудней как человеку, тем как поэту – легче мне».

Возвратились мы из поездки через две недели, «опозэив» множество коллективов трассовиков, газовиков и лесорубов, забираясь в такие буреломы, куда до нас вряд ли ступала нога стихотворца.

Вдовенко заводил множество знакомств, обменивался адресами. Если полистать его «Избранное», можно найти посвящения этим трассовым знакомцам. Замечу, поэт легко выдавал экспромты – ёмкие и пространные, не скупясь и на посвящения. Как-то даже упрекали его за сие: «Мол, всем сёстрам по серьгам?». Отмалчивался. Но, заподозрив нехороший оттенок от упрёка, посягательство на свободу, мог разжечь и скандал до небес!

Прохладной осенью 79-го года, когда уж он после Ясной Поляны основательно приземлился в Тюмени, получил приличную квартиру, потащил я его опять в глухие места – в Уватский район. До нас там никто из профессиональных стихотворцев не бывал.

Первый литературный вечер проходил в хорошо натопленном и полном публики районном Доме культуры. Я открыл вечер и сразу дал слово Вдовенко. Слушают его стихи час, слушают полтора. Аплодисменты. Ни единая душа не покидает жаркое помещение. Но я уже притомился и тоже жажду добраться до рифм. Пододвигаю Жене записку: «Пора закругляться, читашь почти два часа!» Он кивнул. И ещё с полчаса заливался соловьём!..

Следующий день выпал на воскресенье. Выходной. Местное начальство – второй секретарь райкома партии и начальник милиции, – оказавшись моими земляками из Бердюжья, повезли нас отдохнуть на природу. Пейзаж: поле, засыпанное первым снегом, старые берёзы. Невдалеке холодный, с плывущей шугой, Иртыш. Юра Журавлёв, майор, начальник милиции, одноклассник мой, прихватил с собой пистолет «Макарова» и две упаковки патронов. В конце отдыха мы учинили стрельбу на поражение ...неподвижно стоящего стеклянного «предмета». Мазали хозяева, мазал и я, хвалясь при этом, что на службе три года носил этого «Макарова» в чёрной флотской кобуре, не однажды пулял в тире Министерства обороны – под брусчаткой Красной площади...

Прицелился Вдовенко. И показал, что не зря 30 лет служил в армии. Попал в «предмет» с первого выстрела.

Наутро отправились мы на речном катере в дальний-предальний колхоз, где власти района запланировали несколько наших встреч с населением глухих деревенек.

Нахожу в одной из книг поэта такую строфу:

*Я бренной славой не раним,
Но рад, что – и не белая ворона –
Сегодня стал ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН
Родного мне СОВЕТСКОГО РАЙОНА!*

Город этот, повторюсь, стал надёжным пристанищем для поэта, его семьи. Второй родиной стал. После кочевой военной службы с постоянными переездами: то Средняя Азия, то Забайкалье, то Кубань, то Центральная Россия. Гарнизонная жизнь с вечно временным жильём. После увольнения в запас – недолгий приют в толстовской Ясной Поляне, где «в сообществе Толстого» написан сборник стихов «Яснополянские мелодии». «Сообщество», конечно, очень ответственное.

Как-то я, будучи в подмосковном Доме творчества «Переделкино», получил от Жени приглашение заглянуть к нему, втиснулся в тульскую электричку, затем в жутко переполненный вечерний автобус, сошёл в Ясной Поляне под скользящей в обла-

ках полной луной. Прилично поплутав по окрестностям, пока не встретил человека, спросил, где живут сотрудники музея-заповедника. И вскоре оказался в не обустроенной ещё, какой-то походной квартире Вдовенко. И не очень вовремя. Утром им с Галей предстояло ехать в Москву.

И всё же, Галина Васильевна – научный сотрудник – показала могилу Льва Николаевича, провела нас по ночной подлунной усадьбе и дубово-берёзовому парку...

Письмо из Советского: «...Коля! Посылаю тебе фото для стихотворной подборки в "Тюмени литературной". Не удивляйся, недавно мне дали казачьего полковника, потому погон – чистый...»

Постепенно вошёл он в Советском и в активную общественную деятельность. Организовал литобъединение для молодых, помогал готовить им первые книжки. Вёл уроки военного дела в школах. Стал первым атаманом Верхне-Кондинского казачества, почётным гражданином района, заслуженным работником культуры РФ.

А вначале? Приехав однажды в командировку в Советский, нашёл я поэта в сторожке строительной площадки. На утлой печурке пыхтел горячий чайник. На столике – черновики стихов. В окне, в отдалении, вздымались штабеля бетонных блоков, железной арматуры, нераспиленных сосновых кряжей.

– И что тут караулить? – подивился я. – Попробуй-ка уворовать такую тяжесть!

– Воруют! – сказал караульщик. – Чуть зазевайся только...

Живая, так сказать, жизнь рядом. Но вовсе не о ней, «живой», по прихоти души, по неким законам творчества, рождались на белом листе строки:

*Я люблю божий мир на рассвете,
Непорочный и чистый, как дети,
Как открывшийся солнцу бутон.
Боже! Что с нами станет потом?!*
*Взгромоздясь на свою волокушу,
День придёт и отмыкает душу
И подарит последний закат...
И пишу-то об этом я – к ночи.
Жизнь моя всё короче, короче...
Боже! Может, я в чём виноват?*

Жил на белом свете поэт. Как жил?

И вот сейчас ищу я это определительное слово – жизни, творчества. И нахожу: ОТВЕТСТВЕННО! К слову, к поэзии, к близким своим, к родному Отечеству. Не жалуясь на трудности. И что толку жаловаться? На Руси ведь всегда было нелегко. И особенно – в последние времена.

И всё же, как-то чаще в наших стихах, в разговорах-беседах звучали высокие понятия, которых прежде как бы не столь касались мы: Родина, Россия, Отечество. Да, обидно было нам за Державу. Захва-

ченную и порушенную негодьями. Они ещё позволяли нам гордиться величием и славой Старой Руси, Великой Победой над фашизмом, последовательно и беспощадно творя свои чёрные дела.

Государственники, патриоты – по сути, по убеждениям, по жизненному опыту! – оценивали мы – не с чистых небес, а из адовых смоляных штолен, навалившуюся на нас эту «живую жизнь» – с горькими интонациями. Известно ведь, что если мир даёт трещину, то трещина эта проходит через сердце поэта.

Бийскому Вестнику - 10 лет!

Десять лет – это много иль мало?

Десять лет – это только начало.

Десять лет – дата, все же, весенняя -

Подростковый период взросления!

Дорогой «Бийский Вестник»! Мы, ваши читатели и авторы из Пушкиногорья рады поздравить вас с одной десятой прожитого века!

Продержаться, особенно первые десять лет, журналу, сумев сохранить свое особенное творческое лицо – задача непростая, но вам с ней удастся успешно справиться. С ваших страниц веет самой разной географией нашей огромной страны. Рядом с именами зрелых литераторов, смело соседствуют имена молодых, никому неизвестных авторов. Вы открываете их читателям, радуя и качеством их произведений. Благодаря «Бийскому Вестнику» происходит переключка литературных голосов разных регионов России, и поэтому журнал всегда живой, звучный! Мы рады нашему сотрудничеству, всегда готовы его поддержать и продолжить. Желаем альманаху и всему профессиональному коллективу – долгих, по возможности бесконечных лет жизни, творческого горения, новых замечательных имен и произведений!

Пусть благие вести из «Бийского Вестника», радуя своего читателя, достигают самых отдаленных уголков России!

Наталья ЛАВРЕЦОВА

Михаил ТАРКОВСКИЙ

Михаил Александрович Тарковский – поэт, прозаик. Родился в 1958 году в Москве в известной творческой семье. Окончил МГПИ им. Ленина по специальности география и биология. После окончания работал на Енисейской биостанции (Туруханский р-н Красноярского края), с 1986 штатный охотник. Последние годы охотник-арендатор в с. Бахта Туруханского района Красноярского края. Автор повестей «Ветер», «Лерочка», «Енисей, отпусти», «Тойота-креста» и других книг. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе «Ясная Поляна (2010)».

ПУТЕШЕСТВИЕ РУССКОГО ХРАМА

Удивительным пространственным триптихом заиграло-обернулось возведение храма на Енисейском Севере. В одну повесть сложились планетарные прострелы: Карелия – Енисей – Алтай, еще раз напоминая нам, что пути Господни и судьбы чад его неисповедимы.

МЕЧТА

Все началось с идеи создания музея Енисейской традиции в нашем селе. Не переставая удивляться терпеливой и творческой душе наших предков, мы собрали замечательную коллекцию предметов промысла, выживания, быта. Но все до поры не ладилось, и стройка нового здания обернулась навязчивой провололочкой, будто чего-то главного не хватало для воплощения хорошей и своевременной задумки. Этим главным оказалась другая стройка, о которой и пойдет речь.

Мечта возвести Храм в родной Бахте давно и незримо стояла в душе, но от мыслей до дела пропасть лежала. Однако необходимость благого этого дела подступала все настойчивей.

После открытия русских границ в конце 20 века в Сибирь и самые отдаленные ее районы хлынула обильная душеловствующая шантрапа. Кого только здесь не перебивало, каких только фантазмагорических картин мы не насмотрелись: баптисты, зафрахтовавшие целую самоходочку и поднявшиеся аж по Под-

каменной Тунгуске, китайцы, поющие под гитару псалмы на английском языке, католический священник, ведущий проповеди в сельском клубе в промежутках между дискотеками, пятидесятники, прочно обосновавшиеся в Туруханском районе, заведшие своих приверженцев во многих поселках и охмурившие изрядное количество кетов – реликтовой коренной народности, численность которой вот уже век держится в пределах тысячи человек.

Однако ситуация, набрав критическую массу, изменилась, да и зараза безбожия, как оказалось, прилипла далеко не ко всем енисейцам. Православие, тихо тлевшее в потерянных душах, потихоньку вернулось – через родовую память, через беды-горести, через духовную зрелость поколения – то домашними молитвами одиноких женщин, то заездом так и не прижившейся странной пары, последователей опального Диомида. Вскоре открылся и молельный дом, где Благодичинный Отец Агафангел вел службы, прилетая на вертолете за 400 верст из Туруханска, где возродился монастырь.

Туруханский район – старинный промысловый край и обитель рыбаков-охотников. Огромная территория, раскинувшаяся на берегах таежного Енисея. Летом связь между поселками, или старинному станками, лишь пароходами по Енисею, зимой – по воздуху.

Есть что-то особое в истории Православия в таких углах. Старинным ду-

хом веет от архивных записей, повествующих о закладках станов духовных миссий... Поражают жития сибирских святых – они будто не удалены от нас условностью эпох и расстояний, а возникли словно вчера в понятном и близком пространстве, явились огромно из бытового почти поворота, подчеркнув и близость, и пропасть между обычной жизнью и подвигом.

...Дивные, тревожащие душу слова: «воеводский двор, съезжая изба, соборная церковь», и контраст между нечеловеческими морозными просторами, и тогдашним бытием – трудным, диким и пропитанным в ту пору лишь традициями «самоедов». Где человек буквально размазан по снеговым нагромождениям гор, тайги и тундряков, огромных, укрытых льдом, водных пространств, под тяжелейшим бытом, где полупрозрачным минералом сверкнет вдруг мясо дивной рыбыны, темно и благородно отольет орехом соболя жаркая ость... Промысловые будни селькупов и эвенков, долган и нганасан, какой-нибудь «ясашный остяк Ромашка Муксунов», живущий в мерзлой землянке, и вдруг с непоправимой упорностью: основание и жизнь монастыря или Архиерейского подворья, возведенного по всем правилам и невзирая на морозы да непогодь, на выстужающее безлюдье и набеги «воровской самояди». Дорогого стоит такой контраст...

Где как не здесь особенно видна историческая роль Православия для России! Когда синхронно с отрядами первопроходцев двигалась в Восточную Сибирь и на Дальний Восток Православная Церковь, и «крылатая птица Православия», по словам Святителя Макария, уже начала простирать пречистую свою сень над немислимыми и великими просторами... И очерк архангелогородских парусных кочей, идущих по Тазовской Губе закладывать Златокипящую Мангазею, неотрывно переплетен с корабельной статьей рубленых поморских церквей...

Мангазея, отзвенев на всю Сибирь, переедет с Таза в Старо-Туруханск на Турухане, а потом и на Енисей на устье несравненной Угрюм-Реки (Нижней

Тунгуски) в село Монастырское – нынешний Туруханск. Туда же переместят мощи первого Енисейского святого – Василия Мангазейского. По легенде, когда их везли по Турухану, цвели по его берегам дивные цветы.

Поморская седая жила не только корабельной походной нотой, купеческим корнем вживилась в полярный Анисей, но и навек влилась в здешний говор: «исть», «быват», «утка в море – хвост на угоре», «сивер» (направление ветра)... И даже в селе Ворогове, стоящем почти в полторатысячах верст от Карского моря, протока меж коренным берегом и селом зовется Шаром.

КАТЕПОК

Летом 2008 года священник из Красноярска Отец Даниил и настоятель Храма в селе Ярцево Отец Сергей на небольшом потрепанном катеришке положили начало паломничеству и миссионерству, точнее, возродили их на Енисее, пройдя от Красноярска до Туруханска. С ними была москвичка Елена Тростникова – замечательная православная женщина и автор целой серии религиозно-просветительских книг, которые следовало бы издавать массовыми тиражами и распространять бесплатно. Елена Викторовна – человек глубочайшей культуры, литературно одаренный и сугубо верующий. Еще и в таком дефицитном сочетании особая ценность ее книг.

Паломники посетили и нашу Бахту. Встретились мы посреди поселка. Познакомились, разговорились, зашли ко мне домой. После отправились на катер, и там долго сидели в тесном кубрике, где присоединились к нам и пожилой капитан, и матрос-мальчишка.

Словно огромные створы сошлись на берегах жизни, и от ощущения духовной и человеческой близости затрепетало-ожило в душе дорогое, сокровенное, словно с незнакомыми людьми ему доверчивей стало и свободней, чем в привычном и притертом кругу. Говорили о наблевшем, о судьбе Отечества, о

неравном противостоянии любимого, родного и того циничного, чуждого, что такой болью отзывается в сердце любого чувствующего русского. И который раз за день возвращалась главная тема: дальняя и будто заповедная мечта построить храм, и то, что пришло для этого время.

Так хорошо было с внезапными этими гостями, что не удержавшись, поделился я планами новой книги, прочитав строки из неготового еще стихотворения. Рассказал и о месте, подарившем эти строки – о самой крайней точке нашего Отечества, острове Танфильева на юго-востоке Курильской гряды...

Там на берегу Тихого Океана довелось мне испытать запредельное чувство Края с большой буквы, куда вмещается и край Родины, и край жизни, и край, над которым взвисла, как по-над пропастью, измученная человеческая душа.

Остров пустынен и гол. От южного охвостья до хоккайдского берега тут всего полторы мили. Именно здесь и стоит навсегда поразивший меня Православный крест из грубого железа. Туманы наплывают на него сизыми пластами, и бирюзово-синий прибой оливаает базальтовые глыбы, и они того же цвета, что на таежных речках, впадающих в Батюшку-Енисей... И к западу лежат за плечами острова-проливы, и бескрайний пласт суши, вздыбленный горами, с городами и поселками по берегам диких рек, и вот из туманного морока медленно появляется и сам Батюшка-Енисей, великий путь, соединяющий Монголию и Арктику, и делящий страну пополам. И образующий с непомерным Транссибом гигантский крест, простирающий руки к двум Океанам...

СИЛЬНО ДАЛЁКО К МОРЮ

Время пришло паломникам пускаться в путь, и настало прощанье. Напоследок Елена сказала слова, с которых все и началось:

«Ну, все, нам пора. А насчет храма – думай. И знай, что есть люди, которые

могут помочь со стройкой. Им не впервой. Приезжай в Москву – я тебя познакомлю со Светланой Покровской».

Светлана, представляющая Попечительский Совет Святителя Алексия, оказалась маленькой женщиной, чей молодой и беззащитный вид и детская улыбка никак не вязались с тем, что ее стараниями строились храмы по России и окрестностям. Не укладывались в голове размах задач, каждодневное нарастание-спад больших и малых вопросов и вопиюще хрупкий облик этой женщины. Однажды я долго не мог ей дозвониться – оказалось, она посреди бела дня потеряла сознание. На момент встречи у Светы и ее единомышленников шло возведение мощного храма в Таджикистане. Подвижническая деятельность этих небывалых людей, испытания, которые выпадают на их долю в непосильных этих стройках, – почти не вяжутся с нашим временем и достойны отдельного и глубокого повествования. В енисейском строительстве кроме Светы участвовало еще четыре человека. Да звучат в молитвах о здравии славные эти имена: Светлана, Антон, Елена, Никита, Игорь. К сожалению, нам так и не удалось повидаться с Еленой Тюриной из Петрозаводска, очень много сделавшей для стройки...

– Средства есть. Ну что – берешься? – сказал Светлана и добавила: – Только решай сейчас. Иначе деньги уйдут на другую стройку.

Не веря ушам, я спросил три дня на раздумья, за которые целую жизнь прожил. Обрушившееся на меня счастье обратилось одновременным смятением. Будто кто-то убеждал, что я духовно недостоин посланного послушания, что слишком много на себя беру и следует для начала обкатать волю на стройке музейного комплекса, да и вообще добрать внутреннего ладу.

Подготовку к стройке начали весной, когда в Бахту уже по воде приехал Виктор Иваныч Канаев, архитектор и православный человек из исчезающей уже породы русских, в которых глубочайшая культура сочетается с доскональным

знанием дела... Дальше он работал в Таджикистане.

Сначала речь шла о рубленом храме на мощном каменном цоколе и каменной колокольне, благо базальтовыми булыжниками завален весь бахтинский берег. Потом, опасаясь затянуть стройку и завязнуть в масштабном проекте, решили срубить обычную деревянную церковь.

А пока с Виктором Ивановичем искали место и изучали прозоры на храм – то с улиц поселка, то с фарватера... Заезжали на лодке, глушили мотор и, глядя на россыпь крыш с разных точек, представляли, как с проходящего судна будет глядеться острие колокольни. Чудное это дело – прокладывать прострелы для очей и будто расчищать дорогу в прошлое к тем, кто веками строил по Руси храмы, созидал знакомый облик русского пейзажа.

Было выбрано три места. Какое именно утвердить, обсуждалось на поселковом собрании. Много несуразностей происходило в тот день в клубном зальчике. Вроде бы все хотели одного, но то оказывалось, что церковь перекроет доступ ветра к метеоплощадке, то помешает ребятам гонять в футбол. Нашлась и пара противников, выступавших с такой яростью, что казалось, бесы вселились в людей, вполне разумных в обычной жизни.

Место выбрали. В конце июня, неожиданно студеном и по-морскому промозгло, его освятил Владыко Антоний, Архиепископ Красноярский и Енисейский, следовавший по Енисею паломническим рейсом на пассажирском теплоходе.

Потом работали над списком оборудования и материалов, запланировав завезти в первый год все необходимое для стройки, в частности, пилораму и цемент. Необыкновенно воодушевила подмога Енисейского Пароходства, предоставившего бесплатно судно с краном – в северных поселках нет ни причалов, ни специальной техники, и выгрузить что-либо на берег можно только судовым краном с хорошим выносом стрелы.

Одновременно работали над проектом храма. Строевой сосны в Бахте нет, здеш-

ние кедрины с прикорневыми дуплами тоже не шибко годятся для стройки, а главное, слаженной опытной бригады на месте не сыскать. Поэтому с самого начала было решено готовить сруб в более подходящем месте.

Еще в конце зимы я связался с алтайскими друзьями и вышел на бригаду, участвовавшую в стройке Свято-Троицкого Храма для Антарктиды. Мне рекомендовали человека из Усть-Коксы, который обещал переговорить с мужиками-строителями. Воодушевленный, я стал ждать ответа. Больно хороша была спайка: Алтай, Антрактида, Енисей. Да и Усть-Кокса с Уймонской долиной и крепчайшим старообрядством тоже о многом говорила, хотя сруб для Антарктиды и готовили не в Коксе, а в Кызыл-Озеке под Горно-Алтайском.

Из Алтайской затеи ничего не вышло: по поводу стройки на Енисее мужики сказали что-то вроде: «Сильно далёко к морю».

ВЕЛИКАЯ ГУБА

Света при всей женской хрупкости смотрела на вещи крепко и, чтоб не терять время, склонилась к синице в руке, то есть к типовому проекту, который сработают опытные люди на месте, где есть строевой лес. Хотя обсуждались разные варианты, включая цилиндровку из Канска. Бревна цилиндруются, то есть обтачиваются под один размер, выходя, будто из-под карандашной точилки. При этом нарушается заболонь, сокращая срок жизни строения. Да и выглядит сруб больно аккуратно-игрушечно, не то, что настоящий рубленый – с живой и неповторимой пластикой каждого ряда, с игрой бугристых утолщений, будто отлитых из сливочного масла и плавно обнимающих глазастые сучки.

Идет время, приближается осень, и вдруг Светлана сообщает ошеломляющую новость: сруб будут рубить не в Красноярье и даже не в Сибири, а в далекой Карелии – в поселке Великая Губа на берегу Онежского озера в прямой ви-

димости от знаменитых Кижей. Как? Почему? В такую даль? И как везти? – посыпались со всех сторон вопросы.

Зимой образовалась поездка в Москву и Великую Губу. Поездка удивительная – через Вологоду, через Феропонтов монастырь и дальше по северной какой-то соединительной дороге на Петрозаводск. Пустынная трасса в задумчивом коридоре инея... Серебряные березы, мачтовые высоченные сосны с картинными флагами редких крон... Русский Север, забытый за годы жизни в Сибири... В попутных музеях удивило, что экскурсоводы, с такой подробностью и проникновением в тему, к примеру, фресок Дионисия, не являются верующими.

В Губе нас встретил Владимир Александрович Аверьянов – именно его бригада работала над срубом храма для Бахты. Володю мы оценили сразу – не каждый организует такую артель, приобщит к делу парней, увлечет и обеспечит заработком. Посмотрели уже готовую церковь на берегу Онежского озера – именно ее взяли за образец бахтинской. Нашу, правда, было решено удлинить на полтора метра. Ее сруб еще только рос, и удивительно молодыми и какими-то оперившимися казались ходящие вокруг нижних венцов ребята.

Сосна карельская хороша – что и говорить! Да и парни знали дело. Многое из того, что мы увидели, было новым: паз «овалили» носком бензопилы, и он выходил ровнее, чем из-под тесла-пазовки. (Шины приходится менять – но зато паз какой и сколько сил сэкономишь и времени!) К плотницкому циркулю для разметки паза приматывали уровень – когда ведешь его по боку бревна, он норовит завалиться, гульнуть в руке, и черта сбивается. Здесь это исключалось.

Володя устроил экскурсию по Кижинскому музею деревянного зодчества. Виденный на картинках храм восхитил, так же как и стоящий рядом огромный поморского вида дом. Выяснилось, что большинство храмов здесь летние, так же как и большая часть помещений огромных домов – поди натопи такие хоромы! Семьи в старину были большие,

сыновья на зиму отправлялись в Петербург на отхожие промыслы, а летом возвращались и жили в многочисленных светелках, помогая батю с покосом и прочими работами.

И просто заворожала ветряная мельница: она вращалась на оси и ее подобно огромному флюгеру подстраивали под ветер. За здоровенную вагу, как за ручку, ее поворачивал конь. Какое совершенство... Слияние назначения и красоты замысла... И что-то былинное... И связь с ветрами-пространствами... Задувающий северо-запад, фыркание коня... Со скрипом разворачивающаяся мельница... Будто орудие или сказочная избушка...

А Онега!? Равнина, снежная гладь озера и нитка дальнего берега... И на каждом мысу рубленая церковка или часовенка, как стебелек, как луковка. И мысли: Как же было все здесь пропитано Православием! До такой степени оно вписалось в пространство и так стало частью местности, что казалось, сама земля карельская выпрастала эти стебли-луковки, как побеги березок. И вопиюще безбожной гляделась окрестная жизнь на этом поредевшем фоне – ясно было, что от этой деревянной поросли осталась малая часть.

СТРОЙКА

Весной еще по снегу в Бахту приехала часть бригады – налаживать пиломатериал и готовиться к заливке фундамента. Карельцы не могли и представить себе наши условия, никакие рассказы не убеждали, и в их головах не укладывалось, что здесь земля оттаивает к середине июня, и что камни и гравий не взять с берега, пока в Енисее не спадет весенняя вода.

Собирать сруб на месте должна была та же бригада, что и рубила. К весне выяснилось, что ребята взбрыкнули: заломили за сборку новую цену, а иначе, дескать, не поедем. Светлане с Володей пришлось уступить. Вскоре сруб был готов и загружен на четыре фуры.

Встречал я дальнобоев на подъезде к Красноярску, на площадке у гостиницы, где те ночевали. Сонные вылезали они из высоких кабин, отпаиваясь чаем из термосов, – стартовать надо было ранним утром, чтобы до пробок пробраться на причал грузового порта. Фуры шли парами – первая отрывалась на сутки и когда пришла в Красноярск, вторая только подходила к Новосибирску. («Ну те-то... артисты, не торопятся, едут, фотают. Еще и удочки с собой прихватили») Первые собранные, деловые, сразу озаботились обратным грузом, вторые все смотрели по сторонам, дивились новым местам, останавливались.

Первая упряжка благополучно разгрузилась в порту. Следующим утром я снова подъехал на площадку мотеля «808-й километр» и, идя сквозь ряды магистральных тягачей, искал карельские номера. Вдруг я увидел огромный синий капотник, утянутый и зеркально-гладкий «вольвяк-американец». Из него, стрясая остатки сна, вылез крепчайший лыбящийся парняга, лучащий такую радость жизни, такое счастье от того, что он везет за тридевять земель сруб храма, что вот-вот увидит Енисей и сопки за ним... На вопрос «сколь кляч» у его агрегата, резанул сочно с той же улыбицей: «Шестьсот бразильских кобыл!» И была в этом всем удивительная какая-то жизненная какофония... Так же на бодряке, с восторженной улыбкой на полном лице, водила участвовал в разгрузке – стащив с огромного кузова тент, помогал портовским стропальщикам и, стоя на платформе, подцепляя ящик с куполом, покрикивал крановщику: «Ну-ка набей чутка!» Позже оказалось, что у него на протяжении всей разгрузки буквально отламывалась спина.

И вот храм сложен штабелями на площадке и ждет погрузки на судно. Все это происходит под контролем Гендиректора Енисейского речного пароходства Александра Борисовича Иванова и его заместителя Андрея Васильевича Яковлева. Александр Борисович – редчайший

для нашего времени человек, буквально горящий созиданием. Побольше бы таких на Енисейском меридиане!

И вот уже берег Бахты и ровно полсуток разгрузочных работ. Рейсы аварийной машины и еле живого трактора между крановой самоходкой «Краснодар» и стройплощадкой в поселке, где среди травки высится сложный угловатый фундамент.

Самым главным было упросить капитана не торопиться и дать возможность грузить бревна в телегу, а не на берег, чтоб потом не корячить их вручную в ту же телегу. Последнее могло бы растянуться на неделю, в течение которой мог заштормить Енисей и побить бревна.

Начальник ЖКХ Халимон дал трактор, но наотрез запретил разгружать в «камнях», где только что «разулся» свежевзятый тракторист Серега. Халимон орал, срываясь: «Пускай пристаёт ниже, "под коргой!"» Пароход стоял у «камней», и с него орал капитан, что не пойдет под коргу, где пробьется, и что «выгружайте на хрен здесь, пока ветер не пошел!» В ходе нервного этого ора удалось уговорить Иванаыча разрешить разгружать у камней.

Всю белую северную ночь возили толстенные бревна, ящики с луковками куполов в свежей чешуе осинового лемеха. День отсыпались – важнейший этап был позади. Путь на фурах из Карелии, погрузка в Красноярске – все пошло бы насмарку, если бы хоть что-то сорвалось в Бахте.

Началась стройка, в течение которой каждый день происходило что-нибудь непредвиденное. И вот случилось то, что никак не вязалось ни с высокой задачей, ни с целой цепочкой серьезных и ответственных людей, участвующих в деле: карельские ребята запили.

Насколько представлялась стройка храма неким священнодействием, делом вдумчивым и требующим особого внутреннего состояния самих строителей – настолько жестким и земным оказалось все в жизни. Нет... – думалось, – видимо, только в книгах бывают артели

бородатых трудовых здоровяков, крестящихся перед каждым подъемом бревна. А в городах-то и вовсе таджики работают на стройках Православных храмов, и это оказывается организационно и финансово проще, чем наших мужиков нанимать. А разве неверующие экскурсоводы в монастырях – не из того же ряда?!

А, главное, парни-то вроде хорошие! И все какие-то трудные, каждый с историей... Один после войны. И не отправишь его обратно, потому что он главный в бригаде по высотным работам, и без него не завершить верх, включая установку крестов.

Странные ребята... Вырвались из своей Карелии и будто потерялись. Перепугались по прилету в Красноярск (с их же слов) пустяка какого-то, что пришлось с вещами на такси ехать в город из аэропорта. Еще что-то... И все переспрашивают: «Ну что, как мы срубили? Красиво?» Красиво...

Дом, куда их поселили, – и без того не гостиница, а тут и вовсе превратился в шалман, и пошли по деревне разговоры, упреки...

А для работы каждый день важен, и надо до осени кровь из носу управиться. А там поди поползай под дождями по скользким доскам... Да и начнутся, как обычно – новые неувязки, то сыр, то заморозки... А время-то не ждет. И зима дальше... Сейчас по прошествии времени все как-то проще видится, будто и страшного ничего не было – ведь решилось же все. Решилось...

Утро. Звонит Иваныч: «Ты это... разберись со своими...»

Опохмелка на ступенях храма, куда еще и наших бахтинских ребят втянуло. Морды бить в разгаре благого дела? Да и слушают ребята только Володю из Великой Губы, потому что зависят от него с потрохами. Выгнать в шею? Наши не сработают так, слишком тут своя особая технология...

Трудное, бессонное время. И вдруг приходит по почте пакет...

АЛТАЙСКАЯ ПОВЕСТЬ

У меня хорошая память на имена-адреса, а тут как отшибло, будто специально отвел кто внимание – не могу вспомнить, откуда бандеролька.

В руках я держал фильм «Алтайская повесть». История человека, который, будучи преуспевающим советским фотографом из Москвы, решил посвятить остаток жизни воссозданию Храма Иоанна Богослова в Чемале на Алтае. Имя этого человека – Виктор Николаевич Павлов.

В 1849 году великий подвижник архимандрит Макарий основал Чемальский стан Алтайской духовной миссии. В этом же году был построен Храм Иоанна Богослова, а в 1915-м его перенесли на остров Патмос, что высится посреди Катунь огромным каменным утесом. Здесь же находился скит Иоанна Богослова. Название остров получил в честь греческого острова Патмос, где молился когда-то святой апостол Иоанн Богослов. Храм был разрушен в двадцатые годы.

Фотографом Виктор Николаевич объездил всю Сибирь и Дальний Восток, но могучее излучение алтайской земли навсегда остановило его бесконечный фотоаргиз. Увидев то бирюзовую, то млечно-синюю Катунь в скалах, ее трепетную плоть вокруг удивительного острова-волнореза и проникшись историей Чемальского стана и судьбой Святителя Макария, Виктор Николаевич решил здесь остаться, чтобы возродить Храм и Скит.

В течение десяти лет Павлов с женой Гаянэ (в крещении Галина) работали над стройкой, продав все что возможно – квартиру в столице, необыкновенно дорогой фотоаппарат «хассельблат» (это название мне почему-то особенно тогда запомнилось). С первых же лет их подвижничества на них обрушились испытания: им сожгли дом, сожгли машинёшку, на которой Павлов приехал из-за Урала. Поначалу Виктор Николаевич перебрался в Чемал один, а потом, понимая, что в одиночку не сдюжит, написал жене: «Не могу – приезжай!» И Галина Степановна приехала.

Павлов построил подвесной мост между коренным берегом и островом. Возродил скит. Открыл и вел с женой воскресную Православную школу. Храм был завершен в 2010 году и освящен 10 января 2011-го года. Стояли морозы, но Епископ Барнаульский и Алтайский Антоний сказал, что если и пятьдесят градусов будет – все равно приедет на освящение. (Звучит символично, потому что храм в Бахте до сих пор не прошел полное освящение.)

Особо запомнились последние кадры фильма: идет служба в Храме Иоанна Богослова. Худощавое изможденное лицо Павлова вдруг беспомощно морщится, и он, заплакав, вжимается в плечо Отца Максима.

В Храме Иоанна Богослова на острове Патмос Виктор Николаевич и Галина Степановна вскоре обвенчались. Даже представить трудно, что происходило в их душах в эти невыносимые минуты.

Так трепетно, слезно, крепко на сердце стало от этой истории, что и добавлять ничего не хочется.

Храм Исповедников и Новомучеников Российских в селе Бахта Туруханского района собрали в срок. 23 сентября 2010 года его освятили Отец Агафангел и Отец Александр. Погода выдалась той неяркой ясности, когда осеннее солнышко будто изнутри наливает тихим золотом притихшую тайгу. Наутро после освящения выпал снег, будто шла всю ночь незримая работа и укладывалось в жизненных дальях великое событие. К утру полностью сменились краски и напиталась просторная окрестность меловым сияньем, пресветлым осенним серебрецом.

Потом началась жизнь прихода, где неожиданно открылся каждый человек маленьким откровением. Постоянно живущего батюшки в селе нет. Отец Александр, родившийся в Бахте, настоятельствует в Бору, а у нас бывает наездами, поэтому каждый день в Храме читает молитвы кто-то из прихожан – составлено целое расписание. Храм до сих пор не прошел полного освящения, хотя все зависящее от нас сделано. Нын-

че осенью привезли колокола. Сгружали уже по снегу с обледенелого парохода. Колокола подарил бывший ученик бахтинской школы.

Антон и Светлана заканчивают стройку Храма в Читинской области в Чесу.

Год спустя я поехал в Чемал. По морозцу... По Чуйскому тракту... Накануне Крещенья. Подъезжал к Чемалу в темноте, и через стекло, чуть зарастающее с угла морозным туманом, видел лишь то, что освещали фары – родной облик Сибирской зимней дороги, куски породы, кусты. Огромные горы были скрыты тьмой и стояли незримо, как тайна, которую надо заслужить ночью тревог и раздумий.

Утром по хрусткому снегу, по седой улице мимо вертикальных дымков над трубами, поехал на Патмос. По-алтайски богатый, рослый и стройный сосняк спускался к скалистому угору Катуня. Неподалеку от часовни я увидел свежую могилу с венками. «Виктор Николаевич Павлов» – прочитал я на табличке.

– Будет первая молитва и все отойдет как страшный сон, – сказала по телефону Светлана в разгар строечных неурядиц и уже другим голосом спросила: – Ну и что, как Она... красивая?

– ... Красивая...

Правда, красивая... Наша церковь... Особенно когда отошли в прошлое все неувязки и тяжкие открытья. И встала еще более непосильная задача – работа храма, стройка храма внутри каждого, борьба с новыми искушениями... С душевным успокоением, наступающим по завершении большого дела... И попытки осознать происходящее на сизых от снега просторах Отечества... Вглядеться мудро и смиренно, как наставляли Святые Отцы. Осознать, какое достояние нам завещано, какая земля, выстоявшая в иноземных нашествиях, улитая кровью наших старших братьев и учителей, омоленная и живая их делами...

Снова вспоминаю зарождение стройки, и встает из Тихоокеанских туманов еще один старший брат – крест из грубого железа на острове Танфильева...

Когда-то поразивший своей сторожевой правдой, рабочей силой ржавого железа, невидимо участвовал он и в нашем общении на парходике, уткнувшись в каменистый бок Енисея, в разговоре, двинувшем-пошевевившем страшное противостояние на один стебелек колокольни... Енисей-Батюшка серебрился тогда особенно спокойно, огромным крестом лёжа на груди России, дясь жилисто и протяжно по всем ее румбам.

Вот гудким плечом отзывается пролет Енисей-Кижичи... И встает северная Русь, поморские селенья с теремами, Онега с побегими церковок-часовенок... И четыре фуры, груженные светлым грузом, прокоптив солярой через Камень-Урал, надают ходу по Ишимским степям да солончакам... И Русский Север желтой сосновой плотью, смуглыми глазками сучков вбирает кряжистое начало Восточной Сибири, сизое варево Енисейских вод. И, повторяя корабельный образ поморской церкви, идут севморпу-

тем парусные кочи закладывать мангазейский кремль-детинец...

Еще один луч переложил Енисейский Крест, и встает-возвращается снежными горбами-громадами Святой Алтай, уже раз замаячив, поманив Антарктидским храмом, возвращается Чемальской историей, чудо-островом, небывалой судьбой человека и Храма. И снова проходят перед глазами завершающие кадры фильма: изможденный, седой и лохматый человек говорит негромко и твердо, зная, что земных дней ему отведено немного: «Что сказать людям... которые остаются... здесь, на земле? Любите Бога... Бог есть... И самое главное – чтобы в душе Храм был... построен»...

И снова, как у Есенина: «Милые мои хорошие!» Как же научиться не опаздывать? Как научиться быть благодарным за содеянное добро?

Правда... Когда научусь помнить? Буду внимательным к людям, событиям, знакам небесным? Как узнаю теперь, кто послал диск?

Бийскому Вестнику - 10 лет!

Представительство русских писателей Белоруссии в Санкт-Петербурге и редакция журнала «Новая Немигалитературная» наградили редакцию альманаха «Бийский Вестник» литературной премией имени Вениамина Блаженного «за высокий уровень художественных произведений и большой вклад в сближение литератур России и Белоруссии».

Андрей КОЛЕСНИКОВ

Андрей Алексеевич Колесников – кандидат исторических наук, литератор.

Живёт в г. Барнауле

ИЗ КОГОРТЫ ИНТЕЛЛИГЕНТОВ

Трагедия XX века

Интеллигенция и «Октябрь»... Тема большая, сложная, трагическая... Размышлять о ней можно бесконечно. Но вот что не подлежит сомнению: мировосприятие, мироощущение интеллигента, воспитанного на общечеловеческих ценностях, его «родовые» душевные свойства в период революции вошли в соприкосновение с безудержным хамством, откровенным глумлением народной вольницы. Разбушевавшаяся стихия корёжила все, что русскому интеллигенту было дорого, чему он трепетно, подвижнически служил. Да, взбунтовавшаяся масса пыталась и созидать «новое» – мучительно, «со скрежетом»... Но именно страсть к разрушению определяла тогда характер поступков «трудящегося и эксплуатируемого народа». Испытать всё это безумие низов довелось и бийскому учителю Александру Феликсовичу Урнису.

I

Родился наш герой в 1888 г. в г. Луга Санкт-Петербургской губернии в семье служащего. Судя по всему, получил достойное образование – ведь стал хорошим учителем математики. Известно, что до 1914 г. и в последующие несколько лет жил Урнис в городе Боровичи Новгородской губернии, где не просто учительствовал, а возглавлял ещё и местный учительский союз. Есть сведения о том, что Александр Феликсович работал и в Риге, но в какой период – не выяснено...

После «пролетарской революции» 1917 г. судьба привела Урниса на Алтай, в уездный город Бийск... Здесь с сентября 1918 г. до осени 1919 г. – в течение полного учебного года – он преподавал математику и физику в мужской гимназии, зарекомендовав себя отличным педаго-

гом. К тому же, с июля 1918 г. много сил и энергии Александр Феликсович отдавал работе в системе народных университетов: сначала в должности преподавателя Алтайского народного университета, затем – как член правления Бийского общества народных университетов, председатель комитета преподавателей, а с конца апреля 1919 г. – занимая высокий пост председателя правления общества.

Сибирь уже прочно вошла в орбиту Гражданской войны, когда в конце марта 1919 г. учителя Урниса попытались мобилизовать в ряды «белого воинства». В серой шинели, правда, оказался он не сразу: поначалу генеральный штаб предоставил отсрочку, и Александр Феликсович продолжил преподавательскую и общественную деятельность. Фактически в белую армию Урнис попал в сентябре – по указу А.В. Колчака от 9 августа 1919 г. Педагога направили рядовым в 52-й пехотный Сибирский полк, но вскоре было принято решение использовать образованного, уважаемого человека «по наклонности».

Поздней осенью 1919 г., когда колчакская власть агонизировала, Урниса направили в осведомительное отделение штаба Омского военного округа по Бийскому району и назначили ответственным редактором газеты «Народный листок». Издание выходило в Бийске и публиковало чисто военно-политические материалы ярко выраженной «контрреволюционной» направленности. Отнюдь не страдавший оголтелой политической нетерпимостью, Александр Феликсович лишь добросовестно отредактировал тридцать номеров этого местного офицера. Совершенно ясно, что отказаться он не мог, так как это была служба по мобилизации, предусматривавшая безупречное исполнение строгих военных обязанностей.

2

С окончательным падением колчаковского правления «редактор поневоле» вернулся в родную гимназию. Однако заниматься любимым делом пришлось недолго: новая власть развернула гонения на всех, кто в той или иной мере сотрудничал с белыми. Не был, разумеется, исключением и такой «контрик», как Урнис. Формальным поводом для его ареста послужило письмо 11 января 1920 г. в Бийскую следственную комиссию от руководства местного латышского общества, оскорблённого нападениями «Народного листка» на латышей (общезвестно, что многие их соотечественники ревностно служили «красному режиму»). Вот – с некоторыми сокращениями – текст этого политического доноса:

<...>

«Ввиду того, что бывш[ий] ответственный редактор Бийской газеты «Народный листок» гр[ажданин] Урнис чуть ни в каждом номере газеты допустил по смутительной ст[атье] о латышах, что латыши виновные при наступлении большевиков, что латыши проделывают изуверства жестокости над пленными белой армии, что латыши *янычары большевиков* (курсив мой. – А.К.) и т.д.

<...>

Благодаря этому латыши от местной власти и буржуев страдали много морально и материально и можно было ожидать, что будет погром латышей.

Просим привлечь гр[ажданина] Урниса за возмущение против латышей, тем более, что Урнис как жилец гор[ода]Риги не мог не з[н]ать характер латышского народа, что латыш трудолюбец, а не *хищный животник* (курсив мой. – А.К.)»

В доказательство «преступного деяния» латыши предоставили «дознавателям» четыре номера злосчастной газеты (кстати, похожей по размеру более на листовку...).

Так попал Александр Феликсович в поле «цепкого зрения» красных. Его «взяли» 12 января 1920 г., а 15-го заключили в Бийскую тюрьму.

Началось следствие...

Факт «изъятия» уважаемого в городе человека вызвал в бийском обществе ощутимый резонанс, если не переполох. Прежде всего, в сложном положении оказалась мужская гимназия, т.к. «повисло в воздухе» преподавание самой математики. В протоколе заседания педагогического совета от 13 января 1920 указывалось, что «<...> в текущем учебном году при сложившихся неблагоприятных обстоятельствах, математика, один из самых важных предметов гимназического преподавания, не могла проводиться при нормальном количестве уроков, а арест Урниса поведёт к совершенному прекращению занятий по этому предмету в старших классах <...> ». А посему члены педсовета высказались за обращение к следственной комиссии с просьбой об освобождении Александра Феликсовича под поручительство. В тот же день директор гимназии Михаил Иванович Поляков направил официальное письмо-ходатайство. Вот только могли ли «красные следователи» принять близко к сердцу горести гимназии? Ведь там учились «не наши»...

Вскоре подобные письма в адрес следственной комиссии «полетели» от общества потребителей «Бийский кооператив», правления Бийского общества народных университетов и – по решению общего собрания – от председателя исполкома уездного союза работников просвещения К. Соколовского. Так, члены «университетского правления» писали (это полный текст):

«Правление Бийского общества народных университетов с 1-го июля 1918 года видело в Александре Феликсовиче Урнисе высоко полезного работника, ранее в качестве преподавателя Алтайского народного университета, затем в качестве члена правления, председателя коллектива преподавателей, а с конца апреля 1919 года – председателя правления.

Всегда А.Ф. Урнис являлся в глазах своих сотрудников искренним поборником идеи народного просвещения и идейным работником Общества.

Не допуская мысли, что А.Ф. Урнис мог служить бывшей военной власти по своей доброй воле и по убеждению, и объясняя состояние его ответственным редактором газеты "Народный листок" лишь невольным исполнением военного приказа, со стороны его, как призванного по мобилизации на военную службу, мы убеждены в том, что он, Урнис, в данное время может не за страх, а за совесть поработать и внести своей энергией и умом большой вклад в дело просвещения родного народа, почему и берём на себя смелость ходатайствовать пред следственной комиссией о скорейшем освобождении его, Урниса, из тюрьмы».

Увы, привычно попирая даже «нормы» тогдашнего советского законодательства, расследование дела непомерно затягивалось. Предоставим слово самому Александру Феликсовичу, который 17 апреля 1920 г. в «политбюро при уездной советской рабоче-крестьянской милиции» общал:

« <...> Пробыл я в тюрьме до 17 февраля (1920 г. – А.К.); 17 февраля я был отправлен в тюремную больницу, где последовательно хворал сыпным и возвратным тифами. До сих пор я нахожусь в больнице, так как болезнь моя осложнилась на лёгкие и сердце.

Согласно декрету Совета Народных Комиссаров обвинение должно быть предъявлено в течение 48 часов с момента ареста и следствие закончено в 30 дней. Между тем я точно не знаю, в чём я обвиняюсь. Знаю лишь со слов жены, что мне ставится в вину полуторамесячное редакторство военной газеты "Народный листок", жена об этом узнала в следственной комиссии.

Прежде всего, обращаю ваше внимание, товарищи члены политбюро, на то, что мне вовремя не было предъявлено обвинение.

Кроме того, мне совершенно неизвестно закончено ли следствие по моему делу. Если только считать следствие законченным без допроса обвиняемого, то, конечно, тогда его можно считать законченным (ирония явно к месту. – А.К.)».

Далее Урнис пытается толковать «товарищам», что хотя он давно лоялен к советской власти, уйти из «Народного листка» не имел никакой реальной возможности.

2 апреля 1920 г. Александра Феликсовича, правда, вызвали в здание тюрьмы на допрос. Однако после очередного приступа возвратного тифа арестант был настолько слаб, что покинуть больницу решительно отказался. Допросил его уполномоченный Алтайской губернской ЧК... летом. Чисто формальное действие, оставившее чухлые строчки на двух листах следственного дела. Всё-то «дознателям» было ясно... Впрочем, из протокола допроса исследователь может узнать, что А.Ф. Урнис, оказывается, был женат и имел пятилетнюю дочь, а жил по ул. Троицкой, 62.

И вот наступил он – этот «судьбоносный» день. 5 сентября 1920 г. коллегия Бийской уездной ЧК приняла постановление, которое – в главном – гласило:

«Дознанием установлено: гр[ажданин] Урнис в 1919 году служил у Колчака в 52 Сибирском полку, откуда был переведён в редакцию [газеты] "Народный листок". Будучи редактором, употреблял все свои силы защитить буржуазию и угодить Колчаку. Составлял разного рода статьи против Советской власти и распускал в "Народном листке" разную пропаганду против Красной армии и Советской власти, чем вызвал среди тёмных крестьян страх и злость и недоверие к Советской власти, что указано в прилагаемом деле обвиняемого материала, – газетой "Народный листок" его выпуска и личного составления статей».

На основании вышесказанного, за составление статей ложных против Советской власти, за пропаганду, агитацию и приверженство Колчаку, гр[ажданина] Урнис подвергнуть в Бийское уездное место заключений с применением принудительных работ на всё время гражданской войны».

20 сентября 1920 г. идентичное постановление приняла коллегия Алтайской губернской ЧК. Убеждён, что такое в отношении «заядлой контры» относительно мягкое решение напрямую связано с

чёткой позицией замечательных бийских интеллигентов, не спасовавших перед зарвавшимся хамом. А ведь защитники рисковали потерять не только свободу, но и саму жизнь. Впрочем, истинно честный, порядочный и деликатный человек на моей отчине всегда был – по меньшей мере – «неудобным» для власти...

«На всё время гражданской войны»... Сколько же Урнис в действительности

протомился в бийском «узилище»? Вышел ли на свободу этот весьма некрепкого здоровья человек? Ответа пока нет. Но для нас принципиально значимо, что в заключении прокуратуры Алтайского края о реабилитации Александра Феликсовича Урниса от 25 декабря 1996 г. подчёркнуто: «Вина <...> в совершении насильственных действий против власти и населения не доказана».

Бийскому Вестнику - 10 лет!

Благотворительный Фонд Святителя Николая Чудотворца (Москва) наградил альманах «Бийский Вестник» Почётной грамотой «в благодарность за труды милосердия во славу Земли и народа Российского».

Медальями Ордена Святителя Николая Чудотворца «за заслуги в просветительстве и благотворительности» награждены:

- Буланичев Виктор Васильевич – главный редактор,
- Соловьёва Светлана Владимировна – зам. главного редактора,
- Буланичев Дионис Викторович – ответственный секретарь.

Игорь ТОПОРОВ

Игорь Германович Топоров – внук известного советского писателя, просветителя и публициста А.М. Топорова – родился в 1954 г. Окончил Николаевский кораблестроительный институт имени адмирала С.О. Макарова. И.Г. Топоров популяризатор жизни и творчества своего деда А.М. Топорова. Автор книги «Адриан Топоров. Воспоминания о деде» (2010 г.), а также большого количества статей и исследований в различных литературных сборниках и периодических изданиях России, Казахстана, Украины. Живёт в г. Николаеве.

ДРУЖБА, РОЖДЁННАЯ В СИБИРИ

В наши дни, слава Богу, уходит в прошлое повсеместное наше желание пачкать грязью без разбору всё написанное литераторами в советские годы. Так, чаще и чаще слышим мы добрые слова в адрес замечательного писателя-сибиряка Ефима Николаевича Пермитина (1896–1971).

Занимаясь архивом известного литератора и просветителя А.М. Топорова (1891–1984), я наткнулся на весьма любопытные материалы, рассказывающие о его многолетней дружбе с Е.Н. Пермитиным. В книге «Воспоминания»¹ сам Адриан Митрофанович так писал об их первой встрече:

«В зимний морозный день 1928 года я был в новосибирской квартире В.Я. Зазубрина² на Журиной улице. Нашу беседу прервал вошедший в комнату раскрасневшийся на холоде кряжистый блондин с острыми, светлыми и "жадными" глазами. Пышная барсучья доха делала его похожим на матёрого сибирского зверобоя.

Это был писатель Ефим Николаевич Пермитин. Уже в первых сказанных им фразах чувствовалась большая и ничуть не израсходованная душевная сила. Живой, образный язык этого сына сибирских гор, лесов и рек, пересыпанный блестками простонародной речи, сразу внушал мысль, что передо мной ядрёный литературный талант.

С тех пор я особенно внимательно следил за литературным ростом Е.Н. Пермитина».

Здесь необходимо рассказать о главном литературном труде А.М. Топорова – легендарной книге «Крестьяне о писателях». В течение 12 лет этот подвижник культуры ежевечерне (!) читал полуграмотным и неграмотным вовсе крестьянам алтайской коммуны «Майское утро» литературные произведения классиков и советских писателей. Их высказывания он записывал и свёл в книгу «Крестьяне о писателях», впервые изданную в Москве в 1930 г. Аналога ей не было и нет нигде в мире. Восторженные отзывы о книге написали в разные годы М. Горький, А. Твардовский, С. Залыгин, М. Исаковский, К. Чуковский, Н. Рубакин, В. Сухомлинский... Знаменитый писатель В. Вересаев особо отмечал критиков-крестьян: «Весьма, весьма оригинально! И как сильно говорят! Вот уж доподлинно: проглоти перо – так не скажешь!»

Ещё в момент первой их встречи А.М. Топоров решил, что будет непременно читать все крупные произведения Е.Н. Пермитина своим коммунарам, так объясняя это желание в упомянутых выше мемуарах:

«С тех пор я особенно внимательно следил за литературным ростом Е.Н. Пермитина... Алтайские пейзажи Пермитина написаны рукою беспредельно влюбленного в них сибиряка... А какое богатство живописного народного язы-

1 А.М. Топоров. Воспоминания. Барнаул, Алтайское книжное издательство, 1970, С. 92-98.

2 Зазубрин В.Я. (1895 - 1937) - советский сибирский писатель, автор знаменитого романа «Два мира».

ка! Я не могу читать его произведения залпом, я их с м а к у ю».

Так появилась на свет божий глава из книги «Крестьяне о писателях»¹, в которой разбиралось одно из первых произведений Е.Н. Пермитина «Капкан». Коммунары полностью разделили восторженное отношение своего учителя к творчеству Ефима Николаевича. Приведу строки из отзывов:

«Всё тут хорошо. К концу всё интереснее пишет Пермитин. Даже запах тюремного белья чую... Редко такие писатели нынче попадают, которые бы так хорошо знали сибирскую деревню, как Пермитин. До тонкости он всё деревенское знает. И понравилось мне ещё в романе то, что после чтения его воспоминания прошлого нагоняются. Я даже деда своего видела во сне после этого романа...»

И ещё один характерный крестьянский отклик:

«"Капкан" прочёл с удовольствием, да ещё поговорил, что он мал. Подлиннее бы его написать. Неумётная книга...»

И, наконец, традиционное примечание А.М. Топорова в конце главы о Пермитине, как об одном из самых любимых писателей коммунаров: *«...зная по многолетнему опыту литературные вкусы крестьян, я убеждён, что произведения Е.Н. Пермитина в любой широкой массовой аудитории получат наивысшую оценку...»*

Симпатия литераторов была обоюдной. Ефим Николаевич Пермитин не успел, к сожалению, написать своей мемуарной книги, хотя ему всегда хотелось рассказать о друзьях-товарищах, встреченных на литературном и житейском пути. Но в одном из первых его писем А.М.Топорову от 24 мая 1930 года² читаем:

«Уважаемый А.М.!

Вчера на книжном базаре встретил и купил Вашу книгу "Крестьяне о писателях" – прочёл в ночь. Прекрасная, нужная книга. Полезная писателю, присяжным

критикам и огромной армии культработников, работающих в деревне с книгой...»

А дальше – почти тридцатилетний перерыв в отношениях этих талантливых людей. Только заступничество Михаила Шолохова перед самим Иосифом Сталиным вытасило в 1945 году из многолетней ссылки Е.Н. Пермитина. А.М. Топоров с его неумным характером и острым языком лучшего селькора Сибири также сполна познал «сталинские академии», как он называл своё пребывание в 6-ти тюрьмах и 2-х пересыльных лагерях печально знаменитого ГУЛАГа. Оказавшись после многих лет лишений и страданий в украинском городе Николаеве, Адриан Митрофанович ещё долго ожидал амнистии, будучи лишён права на учительский труд и литературную деятельность.

В эти нелёгкие для него времена первым, кто подставил ему дружеское плечо, был Е.Н. Пермитин. Вот как пишет об этом в своих «Воспоминаниях» А.М. Топоров:

«...В Николаеве я узнал от старых краеведов уточнённую версию о том, как А.М. Горький после избиения его до полусмерти 15 июля 1891 года в деревне Кандыбовке (см. его рассказ «Вывод» и примечание к нему) попал на излечение в хирургический корпус Николаевской городской больницы.

Тут молодой путешественник Алексей Пешков лежал в одной палате рядом с одесским босьяком-контрабандистом, который рассказал ему историю, послужившую сюжетным остовом "Челкаша".

Мне показалось интересным опубликовать малоизвестные сведения о лечении А.М. Горького в Николаеве и приложить фотоснимок того хирургического корпуса, в котором была спасена жизнь великого пролетарского писателя и где зародился замысел "Челкаша". Узнав, что Ефим Николаевич состоит членом редколлегии газеты "Литература и жизнь", я обратился к нему с просьбой посодействовать в такой публикации. Он радостно ухватился за интересную информацию. Заметка была напечатана в номере от 11 февраля 1959 года.

1 А.М. Топоров. Крестьяне о писателях. М.: Советская Россия, 1967. С. 211-218.

2 А.М. Топоров. Крестьяне о писателях. М.: Советская Россия, 1967. С. 425-426.

Переписка с Ефимом Николаевичем с тех пор возобновилась и стала регулярной. С дружеской заботливостью он следит за каждым моим литературным "опусом", постоянно давая разумные, благожелательные советы. И потому наш эпистолярный переклик составляет теперь уже пухлый том. А осенью 1960 года состоялась в Москве и наша встреча (в его квартире и на даче у реки Десна). Писатель и вся его семья приняли меня, как желанного родного человека. Они, как говорится, не знали, куда меня посадить, чем накормить-напоить и спать уложить! Гостил я у Ефима Николаевича более трех недель».

Повторюсь: речь идет об отношении писателя знаменитого и процветающего с человеком, в тот момент практически раздавленным в сталинских жерновах. Впрочем, для Е.Н. Пермитина этот поступок не был чем-либо из ряда вон выходящим. Тот же А.М. Топоров вспоминал:

«У Ефима Николаевича известное писательское имя. Поэтому не удивительно, что к нему постоянно обращаются с просьбой о той или иной помощи.

При мне Ефиму Николаевичу пришёл пакет, а в нём письмо и рассказ "Бедовая" пензенского писателя Г.Н. Федотова. Это очень талантливый человек, но тяжёлая болезнь приковала его к постели. Ефим Николаевич сию же минуту начал звонить в редакцию газеты "Литература и жизнь" и настоятельно просить о напечатании "Бедовой", так как рассказ этот в самом деле хорош, а автор его крайне нуждался в моральной и материальной поддержке. Ефим Николаевич

снабдил рассказ своей похвальной рецензией и направил пакет со мною в редакцию. Вскоре рассказ был напечатан.

Заступничеством Е.Н. Пермитина пользовались многие литераторы: сибиряки, уральцы, молдаване, казахи...»

Именно он первый громко и убедительно заговорил в издательских кругах Москвы и Новосибирска о необходимости переиздания книги А.М. Топорова «Крестыяне о писателях». Её второе, замечательно выполненное издание увидело свет в Новосибирске в 1963 году после более чем 30-летнего перерыва. В те дни Адриан Митрофанович Топоров сочинил множество надписей на собственных книгах, с ребяческой радостью раздаривая их и седым сверстникам, и юным читателям. Но первые автографы отправились в Москву – А.В. Твардовскому и Е.Н. Пермитину.

А в феврале 1979 года уже сам Адриан Митрофанович получил в подарок посмертный четырёхтомник произведений Ефима Пермитина с дарственной надписью, сделанной его сыном Юрием Ефимовичем¹:

«Замечательному и верному другу нашей семьи – человеку большой совести, доброго сердца и гражданского мужества собрание сочинений моего незабвенного отца на добрую память».

Так подошла к неизбежному, увы, концу дружба двух прекрасных творческих людей, начавшаяся в Сибири в далекие 20-е годы минувшего столетия и длившаяся без малого полвека.

¹ Ю.Е. Пермитин (род. 1925 г.) - известный российский ихтиолог, исследователь, путешественник.

Герман ТОПОРОВ, Игорь ТОПОРОВ

Герман Адрианович Топоров – сын писателя и педагога А.М. Топорова – родился в с. Верх-Жилино (ныне Косихинский район Алтайского края). Детские годы провёл в коммуне «Майское утро». В 1941 году ушёл добровольцем на фронт, дважды ранен во время боёв по обороне Москвы. Награждён орденом Славы III степени, рядом других орденов и медалей. Г.А Топоров. — автор множества стихотворений и стихотворных произведений крупной формы. После смерти отца А.М. Топорова занимался систематизацией архива и популяризацией творческого наследия писателя. В 1991 году подготовил рукопись книги о нём «О чём рассказал архив». Впервые она была опубликована в 2007 году в журнале «Сибирские огни», далее издавалась в Николаеве и Белгороде. Отдельные главы из повести в 1991 - 2012 годах публиковались в различных журналах и газетах Украины и России.

В ПОЛЕ ЕГО ТЯГОТЕНИЯ

В этом году исполняется 145 лет со дня рождения Алексея Максимовича Горького. Его имя сегодня – предмет многочисленных и противоречивых дискуссий. Если подсчитать количество упоминаний имени Горького в современных работах историков русской литературы, он по-прежнему остается ключевой фигурой процесса развития культуры начала XX века. Эти факты только подчеркивают величие Горького, как литератора и как человека. И Бог – судья тем, кто видит в нём исключительно «буревестника революции» или певца сталинских строек и лагерей. Не жили они в то сложное время.

Не суди, да не судим будешь...

Читающая и думающая публика всё чаще вспоминает А.М. Горького, персонажей его пьес, героев ранних гуманистических рассказов. Люди цитируют его высказывания из писем, афоризмы, даже не зная, кому они принадлежат. Историки, к сожалению, не вспоминают энергичную работу Горького в послеоктябрьской России по спасению деятелей культуры, коллег-писателей от голодной смерти и расстрелов, благодарно воспринятую Е. Замятиным, А. Ремизовым, В. Ходасевичем и многими другими, организацию издательства «Всемирная литература», открытие в Петрограде

«Дома учёных» и «Дома искусств». Этим людям куда важнее, например, то, что в 1918 году А.М. Горький посылал деньги нищенствовавшему в Сергиевом Посаде В. Розанову, что именно он в немалой степени продлил земное существование А. Блоку и А. Грину...

А летом 1984 года в городе Николаеве, что на Украине, тихо скончался писатель и педагог Божьей милостью Адриан Топоров¹. На тот момент – хотя бы и в силу его весьма преклонного возраста – мало кто из наших соотечественников уже мог похвастаться некоей историей личных взаимоотношений с А.М. Горьким.

Об их так и не состоявшейся, увы, встрече – наш рассказ...

Вернёмся в 30-е годы... А. Топоров, живший в Очёре, что неподалёку от Перми, решал в это время одну из самых насущных своих проблем. Подступился к ней он ещё в 1928 году, и связана она была пусть с косвенной, но неизменно благожелательной поддержкой со стороны Максима Горького.

В «пролеткультовско-рапповско-лефовской» атмосфере тех лет, может быть, и не

¹ Топоров Адриан Митрофанович (1891-1984) - известный советский писатель, публицист и просветитель, автор легендарной книги «Крестьяне о писателях».

состоялось бы рождение его знаменитой книги «Крестьяне о писателях», не придай гласности тогдашний редактор журнала «Сибирские огни» В. Зазубрин обращённые к нему в письме слова А.М. Горького:

«Сорренто, 17 марта 1928 г.

Уважаемый Владимир Яковлевич!

...Затем я очень прошу Вас: пошлите мне Вашу книгу "Два мира", интереснейшую беседу слушателей о ней я читал, захлебываясь от удовольствия. Первый номер "Сибирских огней" очень интересен».

А немного позже, в том же году, А.М. Горький в предисловии к пятому изданию «Двух миров» напишет:

«...Эта книга была прочитана в Сибири перед собраниями рабочих и крестьян. Суждения, собранные о ней, стенографически записаны и были опубликованы в журнале "Сибирские огни". Это весьма ценные суждения, это подлинный "глас народа"»...

Есть такой термин – «поле тяготения». С тех двух отзывов А.М. Горького о крестьянской критике, где бы ни находился Алексей Максимович: в Москве, Крыму, Сорренто, снова в Москве – инициатор и организатор уникального опыта в коммуне «Майское утро» А. Топоров всегда был в его «поле тяготения».

Адриан Митрофанович не раз утверждал впоследствии, что только благодаря одобрительным словам великого писателя он дерзнул в 1929 году послать в Госиздат, в Москву, все три тома собранных им отзывов коммунаров о произведениях литературы. И в 1930 году книга «Крестьяне о писателях» увидела свет.

Была в ней явная странность. Книгу составили отзывы о произведениях советских писателей и поэтов того времени. Почему же крестьянская критика умолчала о А.М. Горьком? Она не умолчала. Её не было только в первой изданной книге – всего лишь части трёхтомной рукописи «Крестьяне о писателях». В двух неизданных томах были отзывы коммунаров о классиках русской и мировой литературы. К ним и был отнесён А.М. Горький. К со-

жалению, в 1930 году эти два тома были законсервированы Госиздатом. Но разве не могли его работники извлечь из неизданных рукописей отзывы о произведениях А.М. Горького? Могли, но, видимо, не захотели: «неистовые ревнителю» так называемой пролетарской литературы в те годы мало считались и с авторитетом самого Горького.

Архивная переписка позволяет сделать вывод, что судьба первого опыта крестьянской критики оставалась и позже в поле зрения А.М. Горького. Вот серия выдержек из писем того времени:

Заведующий редакцией журнала «Литературная учёба» Ц. Вольпе – А. Топорову:

«28 января 1930 г.

...Редактор нашего журнала Максим Горький, заинтересовавшись Вашими статьями о том, как и что читает современная деревня, просит Вас принять участие в работе "Литературной учёбы"».

Писатель В. Зазубрин – А. Топорову:

«21 ноября 1933 г.

...Кое-что я сделал. А именно: доложил о Вас Алексею Максимовичу. Он считает, что Вас надо издать. Он вернётся из Крыма в январе, и тогда я вручу ему книгу, мною подобранную»...

«Москва, 27 января 1934 г.

...О Вашей книге я разговаривал с Алексеем Максимовичем дважды. В первый раз он одобрил идею её издания вообще, во второй раз подошёл к делу более конкретно. Он требует, чтобы книга давала не только диалектологический материал, но и говорила о широте кругозора коммунаров. Он говорит, что 2-я книга будет им поддержана, если в неё Вы включите материалы по разбору Толстого Льва, Гёте, Гейне, Ибсена и русских классиков, надо, конечно, и самого его включить. Присылайте мне эти материалы, и книга пойдёт»...

Всё складывалось прекрасно. В то же время А. Топоров понимал, что требования А.М. Горького предопределяют новый, весьма трудоёмкий объем работы. Теперь уже нельзя было уповать на издание находящихся в Госиздате

второго и третьего томов крестьянской критики, состоящих только из отзывов о произведениях русской и иностранной литературы. По существу, основное требование А.М. Горького сводилось к дополнению книги глубокой и кропотливой исследовательской работой по изучению читательских интересов сибирских крестьян до и после создания коммуны «Майское утро», влияния на их критические оценки образцов классической литературы, наконец, к систематизации в соответствии со сказанным всех неизданных отзывов. Так, во всяком случае, воспринял всё Адриан Митрофанович.

Два с половиной года шла изнурительная работа. И в каких враждебных условиях: его два раза выгоняли и восстанавливали на работе, выбрасывали из квартиры вместе с женой и двумя детьми-школьниками. Да ещё и учёба в Пермском педагогическом институте. Правда, её-то вскоре ради главного дела жизни пришлось бросить, под угрозой была подготовка к изданию второй книги «Крестьяне о писателях», теперь уже почти готовой, заново скомпонованной, дополненной авторскими исследованиями и перепечатанной в четырёх экземплярах, – по весу не меньше пуда! К тому же вынашивалось в последние месяцы и созрело решение расстаться с недружелюбным Очёром, перебраться в Москву или её окрестности. И это было важно, было правильно.

Но последовал непредвиденный удар.

Адриан Митрофанович вознамерился доложить о готовой по существу к изданию второй книге «Крестьян» лично А.М. Горькому и попутно хлопотать перед Наркомпросом о переводе на московские земли. К тому же доброжелательно настроенные друзья писали, что Алексей Максимович хотел бы видеть А. Топорова во главе вновь создаваемого литературного журнала для крестьянства.

Однако в середине июня 1936 года А. Топоров вернулся из Москвы разочарованным и объявил семье:

– Всё, решил я – чем чёрт не шутит! – прорваться к Алексею Максимовичу, рассказать о второй книге. Зазубрина в Москве не было. К сожалению!.. Созвонился с другим моим мудрым наставником – Викентием Викентьевичем Вересаевым, спросил совета. Тот своим рокошущим басом (даже в трубке затрещало) грохнул в ухо: «А что-о-о! Дело-о-о! Ждите: я позволю Петру Петровичу Крючкову¹». Где-то через час опять грохочет: «Договорился. Горький согласен. Завтра, в первой половине дня. Я тоже подъеду».

Не мог я ни есть, ни спать, ни найти себе места... Утром в приёмной встретились с Вересаевым. Просидели часа два. Потом появился Крючков и скороговоркой бросил: «Извините, уважаемые, Алексей Максимович принять вас не сможет, у него врач». И сразу же исчез за дверью. Вересаев, помню, буркнул: «Неужели так плохо?»

Всё это рассказал семье Адриан Митрофанович. А через неделю, когда включили за ужином радио, в комнату хлынула долго не прекращавшаяся траурная музыка. В перерыве диктор сообщил: «Страна понесла тяжёлую утрату – скончался Алексей Максимович Горький»...

Это было 18 июня 1936 года...

А чуть позже – в печально знаменитом 1937-м – именно благожелательное отношение к А. Топорову А.М. Горького, его единомышленников и друзей – В. Зазубрина, В. Вересаева, Н. Рубакина² и других члены коллегии Свердловского областного суда на Урале взяли на учёт, в том числе как доказательство его виновности. «Закатали» А.М. Топорова на долгие годы в тюрьмы и лагеря ГУЛАГа.

Но это, как говорится, уже совсем другая история...

¹ Крючков Пётр Петрович (1889-1938) - секретарь А.М. Горького.

² Рубакин Николай Александрович (1862-1946) - русский книговед, библиограф, популяризатор науки и писатель.

Здравствуйте, уважаемая редакция «Бийского вестника»! Меня зовут Ручинская Нина Ивановна. Всю жизнь я проработала фельдшером в сельской участковой больнице. В молодости я пробовала писать стихи, но потом забросила: работа, дети, хозяйство – времени на всё не хватало. Сейчас, на пенсии, когда у меня появилось свободное время, я вспомнила о былом увлечении. Пишется легко, я получаю от этого удовольствие, но наверное, в силу моего возраста, лучше получаются публицистические, а не лирические стихи.

Люблю я круговерть из снежной вьюги
И хоровод снежинок у окна.
Они, как закадычные подруги,
Следят, чтобы была я не одна.

Мне весело от этой свистопляски...
Торопятся снежинки ветер обогнать.
Запеть хочу от снежно-белой краски
И радостно куда-то зашагать.

Пурга танцует вальс и танго,
Как будто хочет что-то подсказать.
Не существует для природы ранга,
Все выходите счастье поискать.

И даже воробьи такой погоде рады –
Щебечут и пускаются неловко в пляс.
Оденьтесь в лучшие свои наряды,
Года бегут, не упускайте этот звёздный час!

Выйду на крылечко, посмотрю на небо –
Синева лазурная, тишина кругом...
На душе спокойно – будет много хлеба.
Что прошло – всё в сердце, в узелке тугом.

Развязать бы узел, выбросить ошибки.
Хлеб сейчас не главное, важнее – тишина.
Доброты добавить, пусть плывёт, как рыбки
В дальние просторы, там, где глубина.

Только сами люди пусть определятся:
Что важнее в жизни – буря? Тишина?
Очень важно нам не ошибиться.
Забрались высоко, такая крутизна...

Вечность не поможет всё исправить,
Свою судьбу решаем только мы.
И, быть может, если нам её поправить,
Высокая волна не доберётся до кормы.

Черёмуха в белом наряде –
Чужачка в степном краю,
Свои белоснежные пряди
Рассыпала, словно в раю.

Знакомо и ей одиночество,
И сколько судьбу ни моли,
Ей речка шепнула пророчество,
Что жить ей придётся вдали.

Но как величаво раскинулась,
Какой аромат разнесла...
А то, что тоска так надвинулась,
Привыкла, всё молча снесла.

Заплачет лишь в пору дождливую,
Свой цвет осыпая с себя.
Увидеть бы родину милую,
Сказать, что люблю я тебя...

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Кружит и вьётся зимняя позёмка,
Стучит в окошко, навевая грусть.
Узор серебряный наносит тонко,
А мысли кружевом плетутся пусть.

Разгулялась вьюга не на шутку –
Замела дороги и дома.
Слышу, как она играет в дудку,
Только с мыслями не справлюсь я сама.

Ах, мысли, мысли, что-то не даёт покоя,
Как одинокий странник, мечутся они.
Пурга стихает, только ветер, воя,
Ворошит прошлое, гася полузабытые огни.

Нина РУЧИНСКАЯ

*Предлагаем нашим читателям стихи ветерана педагогического труда
из города Бийска Валентина Петровича Цуркана.*

ПУТИ–ДОРОГИ

Что-то небо нынче стало серым.
Зато клёны пламенем горят.
И виски давно уж побелели.
Зато внуки душу веселят.

Занавески небо приоткрыли.
Брызнула оттуда синева.
И надежда чайкой белокрылой
Снова в путь-дорогу позвала.

Небо звёздное стучится
Голой веткой мне в окно.
Я влюбился. Мне не спится.
Это было так давно.

В полдень солнце засияло.
Расшалилася капель.
Вот и всё любимым стало.
И звенит весны свирель.

Стелется метелица
С неба на крыльцо.
В снежном вальсе вижу я
Милое лицо.

Кудри золотистые,
Синие глаза,
Поцелуи жаркие...
– Я люблю, – сказал.

Унеслась метелица
Синие глаза.
Под лампадой светятся
Лики-образа.

Валентин ЦУРКАН

СОДЕРЖАНИЕ

Проза. Поэзия

В СЛУЖЕНИИ РУССКОМУ СЛОВУ.

<i>Наши гости – поэты журнала «Новая Немига литературная»</i>	5
Глеб АРТХАНОВ. <i>Стихи</i>	7
Татьяна ЛЕЙКО. <i>Стихи</i>	10
Юрий ФАТНЕВ. <i>Стихи</i>	12
Вячеслав БОНДАРЕНКО. <i>Стихи</i>	16
Анна ВАСИЛЬЕВА. <i>Стихи</i>	19
Елена АГИНА. <i>Стихи</i>	22
Валентина ПОЛИКАНИНА. <i>Стихи</i>	25
Юрий САПОЖКОВ. <i>Стихи</i>	27
Мария МАЛИНОВСКАЯ. <i>Стихи</i>	29
Елена КРИКЛИВЕЦ. <i>Стихи</i>	32
Александр НОВОСЕЛЬЦЕВ. <i>Прямая речь (окончание)</i>	34
Ирина НАБАТНИКОВА. <i>Стихи</i>	49
Сергей КУЗИЧКИН. <i>Сны Пиноккио</i>	51
Светлана ЛЕОНТЬЕВА. <i>Стихи</i>	74
Борис СЕЛЕЗНЁВ. <i>Стихи</i>	77
Ярослав КАУРОВ. <i>Стихи</i>	80
Юрий ПАХОМОВ. <i>Зимней ночью, летним днем. Маленькая повесть</i>	83
Сергей ШИЛКИН. <i>Стихи</i>	103
Сергей ТЕЛЕВНОЙ. <i>Фундамент для дома на взгорке</i>	110
Виктор ШАРАВЬЕВ. <i>Стихи</i>	123

Сретение

Станислав МИНАКОВ. <i>Серафим, Александр, Николай. Русское «Цельное дуновение»</i>	125
--	-----

Мастерская

Людмила ЛИХАЦКАЯ. <i>Юбилейная встреча</i>	132
Борис РОМАНОВ. <i>«И долго думал он о Боге...» Сергей Клычков и народная вера</i>	141
Юрий АРХИПОВ. <i>Георгий Иванов</i>	150

Золотые имена России

Владимир ЦВЕТКОВ. Избранничество Минина.....	153
Юрий СИДОРОВ. Неистовый Стасов.....	159

Очерк. Публицистика

Николай КОНЯЕВ. Ритмы первых строк и строек.....	169
Николай ДЕНИСОВ. В чистом поле.....	173
Михаил ТАРКОВСКИЙ. Путешествие русского храма.....	187

Трагедия XX века

Андрей КОЛЕСНИКОВ. Из когорты интеллигентов.....	196
--	-----

Наследие

Игорь ТОПОРОВ. Дружба, рождённая в Сибири.....	200
Герман ТОПОРОВ, Игорь ТОПОРОВ. В поле его тяготения.....	203

Из редакционной почты

Нина РУЧИНЦЕВА. <i>Стихи</i>	206
Валентин ЦУРКАН. <i>Стихи</i>	208

Поздравления альманаху.....	104, 131, 168, 186, 195, 199
-----------------------------	------------------------------

Бийский Вестник

+12 No. 2 (38) 2013

Литературно-художественный, научный
и историко-просветительский альманах

издаётся с 2003 года
выходит 4 раза в год

цена свободная

Издатель: Издательский Дом «Бия»

Редактор-корректор
Светлана Соловьёва

Компьютерная вёрстка
Дионис Буланичев

Учредители:

Администрация г. Бийска Алтайского края,
Отделение АКОО «Демидовский фонд» в городе Бийске,
Бийский технологический институт Алтайского государственного
технического университета имени И.И. Ползунова

Альманах «Бийский Вестник» издаётся на средства Учредителей и издателя

*В альманахе использованы фотографии
Юрия Верещагина, Геннадия Нечаева, фондов Бийского краеведческого музея
им. В.В. Бианки и личного фонда Т.В. Скубневской.
Автор фото на первой странице обложки – Юрий Верещагин.*

Сдано в набор 19.01.2013. Подписано в печать 25.01.2013.

Напечатано 20.02.2013

Формат 70/108/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 18,8. Тираж 1200 экз.

Адрес редакции: 659300, Россия, г. Бийск, ул. Ленина, 246-71 (а/я 172).

Факс (3854) 33-25-50, т. 32-91-14.

«Бийский Вестник» в Интернете: pressa.ru, adl-22.ru

Эл. почта: BiyaVestnik@mail.ru

Отпечатано в ООО «Издательство «Формат»
659305, г. Бийск, пер. Муромцевский, 2

*“... Остров Букачуский радением
Петра Великого поставленный явил
городу Бийску начало ...”*



Участники праздника, посвященного
юбилею «Бийского Вестника»

фото Геннадия Нечаева

*Бийск основан по именовану Указу
царя Петра в 1709 году*